Е. В. ДЯГИЛЕВА

СЕМЕЙНАЯ ЗАПИСЬ О ДЯГИЛЕВЫХ



СЕМЕЙНАЯ ЗАПИСЬ О ДЯГИЛЕВЫХ









Дягилевы: Павел Павлович и Елена Валерьяновна; их дети: Валентин (стоит слева), Юрий (сидит в центре), Сергей (сидит справа). Фото середины 1880-х гг.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ДЯГИЛЕВСКИЙ ФОНД

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. В. ДЯГИЛЕВА

СЕМЕЙНАЯ ЗАПИСЬ О ДЯГИЛЕВЫХ

Издание подготовили
Е. С. ДЯГИЛЕВА и Т. Г. ИВАНОВА



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЕРМЬ
1998

Образ Е. В. Дягилевой, мачехи «великого импресарио» С. П. Дягилева, который всегда ее считал настоящей матерью, неизменно в уважительных тонах рисуется в хорошо известных читателю воспоминаниях А. Н. Бенуа, С. Лифаря, в книге А. Тырковой, посвященной А. П. Философовой, и в других изданиях, отражающих культурную жизнь России 1870-х — начала XX столетия. Настоящая книга впервые знакомит читателя с мемуарами этой незаурядной женщины, хранящимися в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Воспоминания охватывают период с 1830-х гг. по конец 1870-х гг. Автор живым и увлекательным языком рассказывает о жизни нескольких поколений рода Дягилевых. Здесь детально описывается семейный быт Панаевых, Литке, Гирсов и других фамилий, оставивших заметный след в истории России. Значительное место в воспоминаниях Е. В. Дягилевой занимает культурная и общественная жизнь этой эпохи. На страницах книги встречаются имена выдающегося русского писателя И. С. Тургенева, известных певиц Полины Левицкой и Александры Панаевой-Карцовой (сестры мемуаристки), видного общественного деятеля В. А. Панаева (ее отца), зачинательницы женского движения в России А. П. Философовой (ее золовки), военного дипломата и писателя П. Д. Паренсова (мужа другой ее золовки) и др. Публикуемая «Семейная запись о Дягилевых», вне сомнений, займет достойное место в ряду уже известных читателю образцов мемуарного жанра.

Ответственный редактор
Т. Г. ИВАНОВА

На первом форзаце: интерьеры большого пермского дома — кабинет Павла Павловича Дягилева, кабинет Елены Валерьяновны Дягилевой.

На втором форзаце: интерьеры большого пермского дома — коридор на половине Елены Валерьяновны Дягилевой, столовая (на заднем плане — денщик Григорий).

Фото 1880-х гг.

ISBN 5-86007-113-2

ОТ РЕДАКТОРА

Предлагаемая вниманию читателей книга является воспоминаниями Елены Валерьяновны Дягилевой (1852—1919) — женщины, имя которой хорошо известно всем, кто интересуется русской культурой начала XX века и, в частности, таким ярким феноменом, как Сергей Павлович Дягилев. Е. В. Дягилева была мачехой «великого импресарио», — но это чисто формальное определение родства: на самом деле она была его любящей матерью и добрым другом.

Воспоминания, озаглавленные автором «Семейная запись о Дягилевых», писались ею в 1902—1914 гг. и остались незаконченными. Повествование доведено лишь до 1878 года, тем не менее и в незавершенном виде оно представляет огромный интерес. Е. В. Дягилева задумала свои мемуары в четырех частях. Часть I, названная ею «До меня», написана по семейным преданиям, рассказам мужа, Павла Павловича Дягилева, и свекрови Анны Ивановны; эта часть охватывает период с 1830-х по 1874 год. Часть II («Петербург») посвящена событиям, свидетелем которых была уже сама мемуаристка. В этой части она собиралась довести повествование до 1879 года. К сожалению, рассказ прерывается на 1878 годе. Вместо ненаписанной III части («Пермь») мемуаристка оставила нам лишь краткую «Летопись» событий за 1879—1890 гг.; IV часть — «По миру» (1891—1913) — также дана в форме летописи.

Архив Дягилевых (публикуемые мемуары, подготовительные материалы к ним, семейная переписка, фотографии и т. д.), бережно собранный Еленой Валерьяновной, поступил в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 12 ноября 1918 г. от Дмитрия Владимировича Философова, племянника ее мужа, спутника ранних начинаний С. П. Дягилева. В настоящее время дягилевские материалы составляют фонд 102 в Рукописном отделе Пушкинского Дома.

О существовании воспоминаний Е. В. Дягилевой широким слоям русского образованного общества стало известно уже в середине 1910-х годов. С позволения Дягилевых А. В. Тыркова, автор книги

об Анне Павловне Философовой (сестра Павла Павловича Дягилева), в первой главе своей монографии, где говорится о Павле Дмитриевиче и Анне Ивановне Дягилевых (родители П. П. Дягилева), цитирует большие куски из мемуаров Елены Валерьяновны.[1] Ариадна Тыркова воспоминания Е. В. Дягилевой неизменно называет «талантливыми и подлинно сердечными»[2], подмечая «тонкое и вдумчивое изображение»[3] в них разных представителей этой незаурядной семьи.

Из книги А. В. Тырковой фрагмент, повествующий о Павле Дмитриевиче Дягилеве, целиком перекочевал в монографию С. Лифаря «Дягилев и с Дягилевым», которая очень скромным тиражом была издана в Париже в 1939 году.[4] Сергей Лифарь, многолетний спутник С. П. Дягилева по жизни, хорошо знавший его нежное отношение к мачехе, свидетельствует, что семья Дягилевых любила первую жену Павла Павловича Дягилева, Евгению Николаевну Евреинову (мать Сергея Павловича) и «искренно оплакивала ее смерть, и еще больше полюбила его вторую жену — Е. В. Панаеву, которая как-то особенно подошла к дягилевской семье, привязалась к ней всем своим прекрасным сердцем и слилась с нею: умная, чуткая, сердечная Елена Валерьяновна скоро стала общей любимицей Дягилевых».[5]

В советской России и блестящее имя С. П. Дягилева, и более скромная фигура его мачехи были надолго забыты. Лишь в 1972 г. Г. И. Мурыгин обратился к рукописи Е. В. Дягилевой. В журнале «Русская литература» им был опубликован фрагмент, где автор мемуаров рассказывает о своей встрече с И. С. Тургеневым.[6]

Впоследствии многие исследователи обращались к тексту Елены Валерьяновны. Однако не всегда это обращение оказывалось плодотворным и корректным. Так, А. Б. Ласкин в недавно изданной документальной повести «Неизвестные Дягилевы или конец цитаты»[7] в своем вольном пересказе мемуаров Е. В. Дягилевой искажает многие факты и зачастую вводит читателя в заблуждение. Например, в повести говорится о том, что П. П. Дягилев, нарядившись кучером, «буквально выкрал» (с. 23) Евгению Николаевну Евреинову и увез ее под венец, причем свадьба их состоялась в 1869 г. (с. 48). На самом деле кучерский наряд П. П. Дягилева, как явствует из текста мемуаров, был всего лишь способом дерзкого кавалергарда втайне от предмета его воздыханий хоть на десять-пятнадцать минут оказаться рядом с любимой девушкой. Венчались же Павел Павлович и Евгения Николаевна 19 мая 1871 г. в церкви Захария и Елисаветы Кавалергардского полка, получив на то специальное разрешение великого князя Николая Николаевича, так как жениху не хватало нескольких дней до двадцатитрехлетия (брачный ценз для военных). В другом месте своей документальной повести А. Б. Ласкин называет няню Дуню — важное лицо в дягилевской семье — бывшей крепостной Дягилевых (с. 24). На самом же деле Авдотья Александровна была из дворовых другого семейства — Евреиновых. Она одевала Евгению Николаевну в день свадьбы, она же стала няней осиротевшего Сережи Дягилева, а затем Линчика и Юрия — де-

тей Е. В. Дягилевой. При родах Евгении Николаевны, бывших в Селищенках 19 марта 1872 г., няня Дуня, вопреки повествованию А. Б. Ласкина, не присутствовала. Она появилась рядом с Павлом Павловичем чуть позднее, когда стало ясно, что роды прошли неблагополучно — Евгения Николаевна заболела.

Есть в документальной повести А. Б. Ласкина и ошибки почти анекдотические. Писатель рисует Александру Валерьяновну Панаеву-Карцову, известную певицу (сестру Е. В. Дягилевой), а рядом с нею П. И. Чайковского, который, покоренный ее талантом, посвящает ей романс «Бедный конь», получивший тут же шутливое наименование «Тпруська» (с. 87—88). Весь этот эпизод родился из следующего фрагмента воспоминаний: «И мы (Павел Павлович и Елена Валерьяновна. — *Т. И.*) участвовали в этом концерте <...> Поленька пел партию Собинина в трио „Не томи, родимый", а я арию Вани „Бедный конь". (У Дягилевых она называется „бедная тпруська")» (с. 141). Речь, как видим, идет не о А. В. Карцовой, а о самой Е. В. Дягилевой, и не о романсе П. И. Чайковского, а об арии из оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).

Искажает А. Б. Ласкин и обстоятельства написания Е. В. Дягилевой ее воспоминаний. Согласно книге «Неизвестные Дягилевы», Елена Валерьяновна занялась мемуарами в память о покойном муже (с. 68). На самом же деле все было не так. Свои записки Е. В. Дягилева писала в 1902—1906 гг. (первая часть) и в 1907—1914 гг. (вторая, незаконченная, часть), когда Павел Павлович был еще рядом с нею. Прерваны они как раз и были постигшим ее горем — смертью мужа в июле 1914 г. Красочно нарисованная А. Б. Ласкиным картина того, как мемуаристка, стараясь не думать о трагедии Первой мировой войны, погружается в своих воспоминаниях в прошлое и отрывается от настоящего, не соответствует истине. После смерти мужа Е. В. Дягилева так и не смогла собраться с силами и продолжить свое повествование. В своем небрежении к точным фактам А. Б. Ласкин идет и дальше. Даже год и месяц смерти автора воспоминаний, которые послужили одним из краеугольных камней для его книги, им искажаются. Читателю сообщается, что Елена Валерьяновна умерла в октябре 1918 г., — на самом же деле она скончалась 6 июня 1919 года.

Мы не будем множить примеры других неточностей в книге «Неизвестные Дягилевы». Публикуемые мемуары Елены Валерьяновны все скажут сами за себя. Введение их в научный оборот, несомненно, не только поможет понять истоки феномена Сергея Дягилева, но и познакомит читателя с этой замечательной семьей и обогатит наше представление о культурной атмосфере России 1870-х годов.

В центре публикуемых мемуаров находится не знаменитый впоследствии пасынок Елены Валерьяновны, которому в 1878 году было всего лишь шесть лет, а Дягилевы в целом и родственные им семьи. Ценность записок состоит в том, что они рисуют нам обыденную жизнь здоровой культурной русской дворянской семьи — семьи по-настоящему аристократической. Аристократизм Дягилевых сказывал-

ся отнюдь не в том, что в молодости Павел Павлович был блестящим кавалергардом, постоянным помощником великого князя Николая Николаевича в дирижировании балами во дворце. Этой семье был свойствен подлинный, не дешевый аристократизм, такой, как его понимал толстовский герой Константин Левин: «Я считаю аристократом себя и людей подобных мне, которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования (дарованье и ум — это другое дело), и которые никогда ни перед кем не подличали, никогда ни в ком не нуждались, жили, как жили мой отец, мой дед». Мысль об этих «трех-четырех» поколениях, которые предшествовали Сергею Дягилеву и Дмитрию Философову, его двоюродному брату, — цвету «серебряного века» русской культуры — все время присутствует в воспоминаниях Е. В. Дягилевой.

Дмитрий Васильевич Дягилев, дед Павла Павловича, был не чужд литературе, публиковался в журнале «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Его сын Павел Дмитриевич жертвовал деньги на монастыри и был известным меценатом в Перми: в свое время он выделил крупную сумму на строительство оперного театра. Женился Павел Дмитриевич на девице из рода Сульменевых. Анна Ивановна была дочерью человека, достойно служившего России, — вице-адмирала Ивана Саввича Сульменева. Мать же Анны Ивановны — Наталья Петровна — приходилась родной сестрой Федору Петровичу Литке, знаменитому мореплавателю, географу, одному из основателей Русского географического общества («дядюшка Литке» или «дедушка Литке», как его именует мемуаристка).

Сама Елена Валерьяновна происходила из не менее интересной семьи. Ее девичья фамилия Панаева. Знаменитый соредактор Н. А. Некрасова по журналу «Современник» Иван Иванович Панаев приходился ей двоюродным дядей. Ипполит Александрович Панаев, родной дядя мемуаристки, был надежнейшим секретарем «Современника»; его перу принадлежит популярный в свое время роман «Бедная девушка». Валерьян Александрович Панаев, отец Е. В. Дягилевой, знавал А. И. Герцена, поклонником которого оставался до конца своих дней; он оставил интереснейшие воспоминания, опубликованные в журнале «Русская старина». Тяга к перу, как видим, Еленой Валерьяновной унаследована от Панаевых.

Оба семейства — и Дягилевы, и Панаевы — увлекались музыкой. Иван Павлович Дягилев («Жанушка»), брат Павла Павловича, организовал в Перми музыкальный кружок, бывший центром притяжения всех образованных людей города. Троюродный брат молодых Дягилевых, Александр Александрович Гирс («Сашка Гирс»), как и сам Павел Павлович, прекрасно пел; женат же он был на профессиональной певице Полине Сергеевне Левицкой. Хорошим голосом обладала и Елена Валерьяновна, охотно участвовавшая в любительских концертах. Родная же ее сестра, Александра Панаева-Карцова («Татуся»), ученица Полины Виардо, как мы уже говорили, оставила значимый след в истории русского оперного искусства.

В своих воспоминаниях Е. В. Дягилева нигде не ставит себя в центре повествования. Ее память направлена на других, а не на собственное «я». Мемуары отличаются искренней доброжелательностью ко всем тем, с кем столкнула судьба эту женщину. Она находит добрые слова и для свекра Павла Дмитриевича Дягилева, в своих религиозных увлечениях безответственно подрывающего благосостояние собственных детей, и для жестковатой и чуть деспотичной свекрови — Анны Ивановны. Автору симпатична легкая, покладистая ее золовка Юленька Паренсова. С уважением говорит Елена Валерьяновна о другой своей золовке — знаменитой Анне Павловне Философовой («Ноночке»), известной деятельнице женского движения в России. Не бросает она камня и в грешную Таленьку Антипову (Наталью Павловну Дягилеву) — еще одну сестру П. П. Дягилева.

Самое удивительное в публикуемых записках — это, пожалуй, отношение автора мемуаров к другим женщинам, которые были в жизни ее мужа. Под пером Е. В. Дягилевой вырастает по-сестрински чистый образ Евгении Николаевны Евреиновой, первой жены Павла Павловича, которую ей самой не довелось знать. Ни тени мелочной ревности и недоброжелательности нет у нее к Марии Долгоруковой (Герценвитц). И даже о Гейбович, даме полусвета, с которой у Павла Павловича Дягилева был роман незадолго до встречи с Еленой Валерьяновной, мемуаристка говорит только доброе.

Воспоминания Е. В. Дягилевой привлекательны еще одной своей чертой. Они создавались не по памяти (многое из описываемого мемуаристка просто не могла помнить — это события, происходившие задолго до ее вхождения в семью мужа), а на основании документов (главным образом, семейных писем). Письма эти, целиком и в отрывках, рассыпаны по всему тексту ее повествования, придавая воспоминаниям достоверность и объективность. Механизм создания мемуаров хорошо прослеживается на материале их незавершенных частей: III («Пермь») и IV («По миру»). Давая хронологическую канву событий, о которых планировалось рассказать, Е. В. Дягилева на полях везде делает ссылки на конкретные страницы двух своих тетрадок, куда она аккуратно копировала письма многочисленных членов своей разветвленной семьи, послужившие основой ее повествования. Автора «Семейной записи о Дягилевых» можно с полным правом назвать летописцем этого замечательного дворянского рода.

Воспоминания Елены Валерьяновны Дягилевой подготовлены к изданию другой Еленой Дягилевой — ее родной правнучкой. «Красное колесо», прокатившееся по России в XX веке, всей своей тяжестью сказалось и на Дягилевых. Не смог вернуться в Россию Сергей Павлович Дягилев, вынужденно избравший эмиграцию. Он закончит свой земной путь 19 августа 1929 года в Италии. И в том же августе на севере России, на Соловках, будет расстрелян его брат — профессор военной истории Валентин Павлович («Линчик»), старший сын Елены Валерьяновны (на тех же Соловках чудом от расстрела спасется никому неизвестный молодой человек — Дмитрий Сергеевич Лихачев). Через арест и ссылку в среднеазиатских пус-

тынях пройдет и Юрий Дягилев, младший из сыновей Елены Валерьяновны (где-то рядом с ним, оказавшийся не по своей воле в казахстанских степях, будет тосковать по зеленым полям России бывший капитан Красной Армии Александр Солженицын). 1937 год исковеркает жизнь студента Ленинградской консерватории Сергея Валентиновича Дягилева, внука Е. В. Дягилевой (это о нем в своей «Летописи» под 1911 годом она сделала запись: «У Линчика и Сашеньки родился третий сын, Сергей, 25 февраля»). Сергею Валентиновичу довелось в первый раз увидеть свою дочь Елену лишь в 1947 г., когда ей исполнилось десять лет. Его жене Милице Владимировне Степановой-Дягилевой, будучи беременной своим первенцом, пришлось пережить арест мужа. Затем была немецкая оккупация в Новгороде, отправка вместе с маленьким ребенком на работы в «третий рейх». В мае 1945 г. перед нею встал выбор: остаться в Европе, где были живы еще люди, для которых имя Дягилевых было гарантией доброжелательного внимания и заботы по отношению к ней и ее дочери, или вернуться в Россию, имея лишь призрачную надежду, что муж ее, может быть, жив. Она выбрала Россию. Судьба оказалась благосклонной к Милице Владимировне, дав ей возможность соединиться с Сергеем Валентиновичем в норильской ссылке.

Воспоминания Е. В. Дягилевой насквозь пронизаны «мыслью семейной» (любимейшей мыслью Л. Н. Толстого). Научный аппарат к этому изданию подчинен той же идее. Помимо традиционных комментариев, книга содержит также Родословные таблицы и пояснения к ним. Эти таблицы, подготовленные Еленой Сергеевной Дягилевой, помогут читателю разобраться в сложных родственных взаимоотношениях Дягилевых, Литке, Гирсов, Сульменевых, Панаевых, Мельгуновых и других. В пояснениях читатель найдет краткие биографические сведения как о наиболее значимых персонажах публикуемых воспоминаний, так и о ныне живущих Дягилевых. Книга содержит также фотографии, которые были когда-то любовно подобраны самой Е. В. Дягилевой, думавшей об издании своих мемуаров.

Маятник истории качнулся в другую сторону. Россия учится уважать свое прошлое. Эту книгу мы хотим видеть нашим маленьким вкладом в становление этого нелегкого процесса.

Т. Г. Иванова

---

[1] *Тыркова А. В.* Анна Павловна Философова и ее время. Пг., 1915. С. 5—12; см. также с. 233—235.

[2] Там же. С. 4.

[3] Там же. С. 6.

[4] См. современное издание: *Лифарь С.* Дягилев. СПб., 1993. С. 15—18.

[5] Там же. С. 20.

[6] Воспоминания Е. В. Панаевой-Дягилевой о Тургеневе / Публ. Г. И. Мурыгина // Русская литература. 1972. № 4. С. 121—123.

[7] *Ласкин А. Б.* Неизвестные Дягилевы или конец цитаты. СПб., 1994.

СЕМЕЙНАЯ ЗАПИСЬ О ДЯГИЛЕВЫХ

Вместо предисловия

Тетрадь белой атласистой бумаги и хорошо отточенный карандаш были для меня в детстве источником величайшего наслаждения. Получив их от отца, сестры и я садились рисовать. У каждой из нас был свой излюбленный сюжет. Моим любимым было изображение громадной семьи, члены которой, начиная с бабушки и кончая грудным ребенком, размещались в разнообразных позах на балконе, тоже громадных размеров: он всегда расстилался по всему листу бумаги. Позже — в течение жизни — мне пришлось не только увидать наяву балкон моей мечты, но и войти самой в состав расположившейся на нем громадной семьи.

Семья эта — семья моего мужа, а балкон находился в Бикбарде,[1] родовом ее именьи. Никогда и нигде, кроме своего воображенья, я не видела такого балкона, как бикбардинский. Настоящие террасы, сооруженные из земли и камня, на которых разбиваются цветники, устраиваются фонтаны, — те, конечно, больше, шире, может быть, и лучше. (Как для кого.) Наш же балкон был обыкновенный: российский, деревянный, с колоннами, под крышей; тянулся вдоль всего южного фасада одноэтажного деревянного дома и даже дальше фасада, так как кончался большой ротондой, целиком выступавшей за угол дома и за решетку сада на дорогу, идущую вдоль оврага. За оврагом — завод, деревня и безбрежная, как море, лесная даль. На ротонде пили обыкновенно вечерний чай, смотрели на закат солнца... Часть балкона, с противоположного от ротонды конца, служила летом столовой, и в ней свободно садилось за стол до пятидесяти человек. В другой части, смежной с ротондой, стояли диваны, кресла и табуреты, обитые старинным глянцевитым ситцем. Стена утопала в зелени растений, которыми она была вся сплошь сверху донизу заставлена. По перилам между колоннами тянулась пестрая нитка душистых летних цветов. Большие деревья сада примыкали вплоть к балкону. Широкая, усыпанная песком и обсаженная цветами аллея шагов в семьдесят длины вела прямо от него к северному входу церкви. Церковь же вся спряталась в темный густой сад, од-

ной только папертью своей выглядывая на ту же дорогу по краю оврага, на которую выступала ротонда. Песнопенье и возгласы дьякона совершенно ясно доносились до балкона, когда церковная дверь была открыта во время службы.

Я полюбила настоящий балкон [2] как любила когда-то его изображение на бумаге, а настоящую семью во сто раз больше, чем семью моей фантазии. По желанию моего меньшого сына [3] приступаю к записи всего, что я о ней знаю, но раньше, чем начать рассказ, хочу в виде вступления набросать опять рисунок моего детства, маленький эскиз семьи, о которой дальше собираюсь говорить пространно.

Прямое потомство хозяев Бикбарды состояло из четырех сыновей и четырех дочерей,[4] вместе с их женами, мужьями и детьми это составляло до пятидесяти человек. Вообразим себе один из тех случаев, когда они, если не все целиком, то хоть почти все в сборе, что случалось нередко. Действие происходит на милом бикбардинском балконе, действующие лица — Дягилевы и какой-нибудь совершенно посторонний человек, приехавший в Бикбарду, предположим, в первый раз по делу и неожиданно попавший в семью помещика. Его приглашают остаться... Он соглашается... Идут на балкон. Издали уже доносятся до него гул голосов и взрывы хохота... Все громче, громче, и вот ошеломленный гость останавливается среди шумной пестрой толпы, которая, по-видимому, безгранично веселится. Нарядные дамы, дети, штатские, военные, студенты, гимназисты, беготня, возня, поцелуи направо, поцелуи налево мелькают в его вытаращенных глазах...

Он старается догадаться, чему тут радуются — свадьбе ли? именинам? крестинам? чьему-нибудь возвращению из далекого путешествия? Одним словом, он перебирает в уме все классические счастливые события, какие может придумать, и извиняется за свой неподходящий костюм, объясняя, что не ожидал попасть на праздник в такое многолюдное общество.

Ему отвечают со смехом, что сегодня будни, и что единственный здесь гость — он сам, все остальные только свои...

Озадаченный, он пятится назад, чтобы не попасть под ноги скачущему верхом на стуле молодому офицеру или под руку высокому штатскому, неистово дирижирующему воображаемым оркестром, который сам же он изображает, распевая какую-то увертюру с непогрешимой верностью. В сторону, в сторону... Скорее... А то несется мимо ватага детей, стремглав, как лавина с гор, спускается в сад и там рассыпается в разные стороны, преобразившись в курьерские поезда, в тройки, с гикающими на татарский лад ямщиками: ай ты тама-а! Гость растерянно озирается на все стороны, старается разобрать, что говорят кругом, но ничего не может уловить, хотя все говорят по-русски. Он изнемогает от усилий понять смысл того, что

видит и слышит, но тщетно. «Сумбур, ерунда, водоворот...» — мысленно твердит он, глядя на хозяев дома.

Почти все, кто потом становились друзьями и даже восторженными поклонниками семьи, проходили через нечто подобное при первом знакомстве с Дягилевыми in corpore [5] и сознавались, что от первого нырка в эту стихию делалось жутко. Наш гость как раз нырнул... Ему жутко... Жутко. Зато после нырка совершается поворот. Никто не прилагает к этому старанья, никто не «занимает» его, не ухаживает за ним, но понемногу он начинает сам собой приходить в себя, может быть, под влияньем благодушной атмосферы, обнимающей его со всех сторон. Он различает уже дюжины добрых глаз, дюжины ласковых улыбок, обращенных, между прочим, и к нему, и замечает какое-то ненатянутое, широкое, почти бессознательное гостеприимство, уже исключительно относящееся к нему. Он сам невольно посылает улыбки направо и налево. Ему стало ловко, приятно; беспричинное веселье прокрадывается к нему. Он чувствует уже его приближенье.

Он наблюдает окружающее с возрастающим интересом, и ему бросается в глаза сходство всех этих лиц между собой. Мужские, женские, детские, красивые, некрасивые — все они явно принадлежат одному корню, на всех общий родовой отпечаток.

Одна из самых определенных и знаменательных черт этого отпечатка — рот. Начиная с обворожительного и кончая некрасивым — это все видоизмененья одного рисунка, с пухлой нижней губой чувственного характера.

За сим — посадка прекрасных густых, тяжелых волос всевозможных оттенков: от светло-русого до вороньего крыла включительно; они обрамляют лоб характерными линиями, одинаковыми у всех.

Некоторую странность представляют глаза этой веселой семьи. Есть голубые, карие, черные, зеленоватые, и формы разные, но выраженье у большинства — грустное.

Наклонность к полноте по выходе из юношеского возраста, полноте несомненно русского свойства, составляет тоже в разных степенях одну из принадлежностей дягилевских фигур. Все это и масса других мелочей, которых не перечесть, придают им известный air de famille,[6] бросающийся в глаза. Это не то сходство, которое делает иногда одного брата дубликатом другого; их никогда никто не принимал друг за друга, но зато каждому из них приходилось неоднократно натыкаться в обществе ли, на железной дороге ли, где хотите, на знакомых кому-нибудь из сестер или братьев, но ему лично совершенно неизвестных людей, которые прямо подходили с вопросом: «Не из Дягилевых ли вы?»

Особенности физиономии выделяют их не менее, чем веселая непринужденность, благодаря которой, они всегда и везде кажутся, как дома. Наконец, своеобразная манера выражаться, присущая всем большим семьям, между членами которых образуется, с помощью им одним известных словечек и выражений, точно франкмасонство.

Скоро и этот семейный жаргон, казавшийся гостю таким странным, перестает смущать его. Он уже отличает в нем не одни доморощенные остроты. Между ними мелькают цитаты, очень забавно и кстати внесенные в домашний обиход с полок библиотеки. Слова Тургенева, Толстого, Гоголя в особенности витают в этой толпе, как старые любимые друзья.

Но вот из залы раздались звуки фортепьяно. Говор, крики, смех, движенье... Замирают... Всякий спешит к какому-нибудь месту... Даже дети приближаются на цыпочках и осторожно садятся... Воцаряется тишина, казавшаяся за минуту еще недостижимой. Все превращается в слух... Семья-музыкантша, в которой маленькие мальчики, гуляя, насвистывают квинтет Шумана или симфонию Бетховена, приступила к священнодействию.

Посторонний опять ошеломлен таким внезапным переходом, но на этот раз он уже доверчиво поддается настроению своих хозяев. Семейный концерт развертывается в грандиозную программу, какую, говоря по правде, редко можно услыхать в любительском кругу. Особенно, когда свояченица* одного из Дягилевых, известная певица, гостит в Бикбарде. Кто не восхищался в Петербурге и за границей прелестью ее чудного голоса и чарами ее пенья? Но навряд ли кто-нибудь так очаровывался и так понимал неописуемую для того, кто сам не слыхал его, гениальную художественность ее исполненья, как Дягилевы.

Она поет, поет без устали, напротив, все с новой силой, с новым увлечением, а кругом восторг растет, растет, накапливается, как гроза. Гость тоже уступает ему шаг за шагом: смотрит — все кругом ускоренно переводят дыхание... Сердце и у него начинает усиленно биться... У всех на глазах блеснули слезы... Туман застилает и его глаза... Со всех лиц исчезает все обыденное, будничное... Он чувствует, что и с него скользит и скатывается всякая условность... И вдруг неожиданно горячая, непреодолимая симпатия набегает на него, как громадная белогривая волна, подхватывает его и уносит прямо в объятья этого большого сложного тела, клокочущего жизнью. Он готов броситься «всех целовать и всем говорить ты...»

Последние слова принадлежат одному нашему знакомому, Р. Т. Мевесу, который недавно попал к нам, когда у нас собрались некоторые родственники. Он никогда их раньше не видал и знал из всей семьи только мужа и меня. Он был вообще далеко не молчалив, но тут он долго сидел молча и смотрел. Наконец вскочил и закричал, смеясь: «Я вижу: здесь все целуются и все говорят друг другу ты. Мне завидно... Я тоже хочу...»[7]

---

* Александра Валерьяновна Панаева, впоследствии замужем за Георгием Павловичем Карцовым.

Часть первая

ДО МЕНЯ

(от 1830-х гг. до 1874 г.)

Начата: в Петергофе 1 декабря 1902 г.
Окончена: в Одессе 24 ноября 1906 г.[1]

1

Кто прав, кто виноват, судить не нам.
Крылов.[1]

Когда в 1874 году я вышла замуж за Павла Павловича Дягилева, я застала семью моего мужа распавшейся на две половины в лице ее старших представителей. Отец жил в Перми, мать в Петербурге. Съезжались они только летом в своем именьи, и то не всегда. Разделение это произошло давно. Несмотря на все, что я слышала о нем от самой Анны Ивановны, матери моего мужа, и от многих других членов семьи, я никогда не могла себе уяснить настоящей причины, разлучившей двух людей, долго проживших вместе в любви и согласии. Оба они, Павел Дмитриевич, мой свекор, и Анна Ивановна, моя свекровь, неоднократно говорили мне, что в первые десять лет своей супружеской жизни они пользовались безоблачным счастьем.

Властный характер жены, религиозная мания мужа — вот общепринятое между всеми, знавшими их, объяснение их разлада. Далеко не удовлетворительное объяснение. Коротко и неясно.

Уж одни воззренья их на брак (у обоих очень строгие) воспрепятствовали бы им разойтись только по несходству характеров и вкусов. Ведь известно же, что живя почти врозь более двадцати пяти лет, они строго хранили свою супружескую верность. Ни до, ни после разлада никто никогда не слыхал и намека на постороннюю любовь с той или другой стороны, следовательно, главной помехи к примиренью между ними не существовало. Что же разлучило их так безвозвратно? Никто наверное не знает. Строить предположения, конечно, не возбраняется, и многие из них, может быть, близки к истине, но все-таки они остаются одними предположениями; а чем глубже заглядываешь в эту интимную драму, тем больше находишь в ней тем для раздумья.

Началом драмы Анна Ивановна считала следующий эпизод, случившийся, как она сама определяла, «в год свадьбы Ноночки»[2] — старшей их дочери Анны, вышедшей замуж в 1855 году за Владимира Дмитриевича Философова, одного из лучших людей на свете.

Эпизод произошел в Петергофе. Нанята была большая великолепная дача, бывшая Рубинштейна и поныне существующая. Вся семья переехала туда на лето, начиная с молодых Философовых и кончая грудным ребенком Юленькой,[3] меньшой из всех детей. Кроме девятерых своих детей было еще пятеро Быковых (сироты, оставшиеся после старшей сестры Анны Ивановны и выросшие все на попечении Павла Дмитриевича). Тут же гостили двое сыновей графа Федора Петровича Литке — двоюродные братья[4] Анны Ивановны, но по годам сверстники ее детей.

Костя и Никс Литке потеряли мать очень рано, а отец их, известный мореплаватель и воспитатель великого князя Константина Николаевича,[5] постоянно поручал их заботам своей племянницы Анны Ивановны, которую очень любил.

Гувернеры, гувернантки и бонны увеличивали многочисленность компании. Анна Ивановна всегда очень подчеркивала в этом рассказе, как много было у нее народу на руках, чтобы дать полное понятие о своем затруднительном положении, когда в одно прекрасное утро Павел Дмитриевич уехал в город в казначейство за деньгами и не вернулся ни на следующий, ни на третий, ни на четвертый день. Зная, что он должен был получить порядочную сумму денег, ей приходила мысль, не ограбили ли его, не убили ли?

Ждала она, ждала... Нет как нет мужа. Тогда она отправилась в город, что по тем временам составляло настоящее маленькое путешествие, и узнала у себя дома от дворника, что барин, действительно, приезжал, но что к нему пришел какой-то рыжий хромой монах, с которым он и уехал неизвестно куда.

Павел Дмитриевич вернулся в Петергоф только через две недели — без гроша денег, похудевший, побледневший и мрачный. Где он был и что он делал, добиться от него было невозможно.

Случай этот, бесспорно, отмечает известную эпоху в семейной хронике, но чтобы он был началом драмы — в этом я сильно сомневаюсь. Не был ли он наоборот, концом, «разрешением» первого ее периода, тайного и, может быть, самого тяжкого. Чтобы разразиться таким резким поступком, как исчезновение из дому на две недели солидного отца семейства с «каким-то неизвестным монахом», настроение должно было копиться долгое время. Свидетельство о «безоблачном счастье», длившемся только десять лет, тоже указывает на то, что машина стала развинчиваться задолго до этого события, во время которого старшая дочь, Ноночка Философова, была уже восемнадцатилетней красавицей. Несомненно, однако, что все разыгралось на религиозной почве. «И как подумаешь, — восклицала Анна Ивановна, — что „Отче-то наш“ я же его выучила». Она преувеличивала в пылу негодованья, но Павел Дмитриевич сам не отрицал, что был многим обязан жене в религиозном отношении. Он даже с

чувством вспоминал, как бывало в первые годы женитьбы он еще лежит в постели, потягивается, а она, смотришь, потихоньку встала, шнурует корсет, торопится к обедне. «Она же привлекла меня под покров Богородицы, раньше я Богородице не молился», — говорил он мне не раз.

Наконец, Павел Дмитриевич заболел или, по крайней мере, состояние его признано было за психическую болезнь. Выразилась она тем, что он никого не хотел видеть, даже детей, одну только жену допускал к себе. Анна Ивановна говорила мне, что это было ужасное время. Они проводили целые дни в изнурительных скитаньях по Петербургу. А бессонные ночи в беспрерывном шаганьи взад и вперед по комнатам, причем Павел Дмитриевич требовал, чтобы не умолкая играл орган, тот самый, который мы все помним в бикбардинской зале. Пароксизмы волненья доходили у него до неистовства. Анна Ивановна заставала его иногда в забытьи, распростертого на полу перед образами в позе распятого. Несколько раз в исступленьи он принимался глотать перламутровые иерусалимские крестики и образки, изломав их на кусочки. Она вытаскивала их у него изо рта.

Такое бурное состояние продолжалось недолго, но следы его остались неизгладимыми навсегда. Прежний Павел Дмитриевич — полный, веселый, немного сибарит, большой меломан, любитель выездов, приемов, театров, маскарадов — исчез, как не бывал. Явился новый Павел Дмитриевич — аскет; и с аскетом-то Анна Ивановна не хотела примириться до конца его дней. Она порывисто и гордо, как все, что она делала, открыла страстную борьбу, а он упорно и столь же страстно отстаивал новый путь, на который вступил. Ни тот, ни другой не уступал ни пяди.

Положение обострилось еще денежным вопросом, который так «удачно» всегда подвертывается в семейные распри. По-моему, все более и более прибывающие за последние года средства явились здесь новым поводом раздора. Благодаря им Павел Дмитриевич делал громадные взносы в монастыри (я не знаю, существует ли хоть один, в котором не нашлось бы крупного его пожертвования), строил церкви, учреждал странноприимные дома для монашек и монахов, одним словом, раздавал направо и налево.

Дмитрий Иванович Фомин, старый управляющий Дягилевых, вспоминал как-то, что было время, когда Павел Дмитриевич, желая оказать кому-нибудь денежную помощь, открывал ящик стола, не глядя брал горсть денег и подавал просителю. «И сколько в ящике-то у него было, и того он не знал».

Мамаша кипела негодованьем, глядя на все это. Скупой назвать ее было нельзя. Правда, она экономила на самых мелочах, но эта черта именно присуща людям расточительным, к числу которых она, по-моему, несомненно принадлежала, хотя очень удивилась бы, если бы ей кто-нибудь решился это сказать. Возмущала ее не чрезмерность расходов мужа, потому что сама она тратила громадные суммы, а то, на что он производил эти расходы. Духовенство сделалось ее кошмаром, предметом ее ненависти, так как в нем нашлись вы-

могатели, которые злоупотребляли возбужденным настроением Павла Дмитриевича.

Примером остроты, какой достигали именно денежные стычки, служит следующий анекдот. Павел Дмитриевич и Анна Ивановна обыкновенно присутствовали со всей семьей на богослужениях в Сергиевском соборе на Литейной.[6] Однажды, когда они стояли там рядом и к ним подошли с тарелочным сбором, Павел Дмитриевич положил на тарелку тысячерублевый билет.[7] Анна Ивановна, не долго думая, взяла эту тысячу рублей назад с тарелки и положила их себе в карман, а на тарелку вместо них опустила один рубль. Мужу же она объявила, что поедет к митрополиту, расскажет ему все и спросит его — богоугодное ли это дело разорять своих детей.

«И представь себе, милочка моя, он поверил мне, поверил», — прибавляла она, рассказывая мне этот факт. Признаюсь, и я бы поверила; если, вспоминая, она волновалась, как будто все это случилось вчера, я воображаю, в каком она была состоянии, когда это происходило.

Изобилие денег дало наконец возможность свободно жить на два дома, что и породило отчужденность, которая выросла между ними, как стена.

Значительное преуспеянье материального состоянья Павла Дмитриевича началось с тех пор, как он вышел в отставку. Шел он по службе успешно. Сначала в министерстве государственных имуществ при графе Киселеве,[8] потом в министерстве финансов при Вронченко,[9] но смерть его бывшего опекуна и родственника, некоего Сведомского,[10] управлявшего его именьем, побудила его пожертвовать службой, чтобы заняться своими делами. Принялся он за это со свойственной ему необычайной энергией.

Бикбарда, именье с небольшим винокуренным заводом, доставшееся ему от матери [11] в Пермской губернии, было им в скором времени поставлено так, что оно сделалось источником больших доходов. Павел Дмитриевич курил на расширенном им заводе спирт и поставлял его прямо в казну, но никогда не был, как некоторые предполагали, «откупщиком», то есть монополистом винного дела в известном районе.

Между прочим, предполагал это и Лесков, описавший в одном из рассказов своих «Мелочей архиерейской жизни» дягилевскую семью. В этом рассказе много неверного, как по отношению к самому архиерею Неофиту, так и по отношению к Павлу Дмитриевичу.[12] Лесковского помещика нельзя даже назвать карикатурой на последнего, так как первое условие карикатуры — сходство. Тут же не схвачено ни комического и никакого другого сходства. Это, конечно, неудивительно, так как Лесков не знал Павла Дмитриевича и составил о нем повесть по рассказам, плохо им усвоенным.

Точно тем же грешен Лесков перед Неофитом. Он слыхал о нем два-три анекдота и составил по ним облик архиерея, каким Неофит никогда не был. Его разъезды по епархии с якобы одним «Сэмэном» на запятках — чистейшая выдумка. Неофит ездил всегда с целой

свитой духовенства, а в Бикбарду даже со всем своим архиерейским хором, о нашествиях которого сохранились легенды. После него на огороде не оставалось ни одной морковки, ни одного огурца, ни одной ягодки — все было опустошено.

Сначала и Анна Ивановна, очевидно, увлеклась идеей заняться имением, потому что через год после выхода Павла Дмитриевича в отставку предпринято было переселение семьи в Пермскую губернию.

Вскоре после Пасхи из Петербурга двинулся караван дормезов,[13] колясок и тарантасов, получив напутственное благословение от дедушки Ивана Саввича Сульменева, отца Анны Ивановны, которого она боготворила. Ему не суждено было больше увидать на земле семью дочери: он был уже очень стар, но еще на службе генерал-аудитором Морского суда. Потеряв незадолго перед тем свою жену Наталью Петровну (рожденную Литке), он сразу стал слабеть и скончался сам осенью 1851 года. Он похоронен на Царскосельском кладбище деревни Кузьминой.

По поводу его смерти Анна Ивановна рассказывала мне следующее: ничего не зная о том, что происходило в это время с ее отцом за две тысячи верст, она сидела в Бикбарде на балконе с четырехлетним сыном своим Павлом на руках. Вдруг мальчик показал ей ручкой наверх. Она подумала, что он смотрит на стаю птиц, которая вилась около церковного креста, но он сказал: «Смотрите, мамаша, там гроб стоит». Анна Ивановна рассердилась, потому что видела в этих словах какой-то отблеск мистического настроения мужа и, несмотря на страх, напавший на нее, и на полученное вскоре извещенье о смерти отца в день виденья мальчика, она никогда не хотела сознать его связи со случившимся и объяснила все дело случайностью.

Путешествие продолжалось целый месяц. Анна Ивановна очень любила рассказывать о нем, но особенно интересного оно ничего не представляет. Как все путешествия того времени, оно совершалось с дневками, ночевками, с живыми курами в корзинах, привязанных к кузовам экипажей и т. д. Первый приезд господ в Бикбарду ожидался со страхом и нетерпеньем. Там шла спешная перестройка старого барского помещения под наблюдением Дмитрия Ивановича Фомина. Главная забота была угодить Анне Ивановне, что вполне удалось. Она с первой же минуты полюбила Бикбарду так же, как и вся семья.

После приятно проведенного там лета переехали на зиму в Пермь, где был для этого куплен дом, так как прежний дягилевский дом, принадлежавший родителям Павла Дмитриевича, был давно продан. Переехали... Устроились... Но только на одну зиму.

Насколько Анна Ивановна возлюбила Бикбарду, настолько она возненавидела Пермь. «Кроме арестантов в кандалах, милочка моя, никого не видно», — говорила она.

Под предлогом воспитанья детей караван через год вернулся обратно в Петербург, но сам Павел Дмитриевич с тех пор остался в

Перми, сначала одной только ногой, правда; другой он еще стоял в Петербурге, тем более, что он попал во второй призыв [14] депутатов по освобождению крестьян. Но когда освобождение осуществилось, он уже окончательно поселился в Перми и опять-таки с энергией, присущей ему, весь предался приведению в исполнение реформ, за которые стоял горой. Первый из семьи, кто присоединился к отцу на житье в Пермь, был старший сын его Иван.

2

Im wunderschönen Monat Mai
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Heine.[1]

Родился Иван Павлович 1838 года 3 июля, годом позже старшей сестры своей Анны, и назван в честь деда Ивана Саввича.

Никто из остальных детей не получил такого тщательного образования, как он. Очевидно, что когда он рос, заботам Павла Дмитриевича и Анны Ивановны о воспитаньи их детей не мешали еще никакие семейные передряги. В то время в Петербурге славился Коммерческий пансион Штиглица,[2] основанный на каких-то особых началах и устроенный по последнему слову педагогии. Директором был англичанин, и все велось там на английский лад. Затея эта просуществовала недолго, но Жанушка [3] Дягилев успел окончить там свое среднее образование.

Кроме того было дано самое широкое развитие его недюжинным, как у всех Дягилевых, музыкальным способностям, так что, когда в восемнадцать лет он поступил на камеральный [4] факультет Петербургского университета, это был, по свидетельству всех родных и знакомых, милый, развитой, интересный и симпатичнейший юноша.

Студенческие его годы были счастливейшими в жизни. Все ему кругом улыбалось, все его любили, ласкали, принимали с распростертыми объятиями. Его же самого больше всего манило в музыкальные сферы. Он был недурной виолончелист, ученик известных Карла Шуберта [5] и Зейферта.[6] Не знаю уж, благодаря ли им или иначе, но у Жанушки сложились связи в музыкальном мире. Знаменитый впоследствии струнный квартет, состоящий из Альбрехта,[7] Зейферта, Пикеля [8] и Вейхмана,[9] в начале своего существования собирался постоянно у Жанушки.

Дягилевы жили тогда в своем доме на Фурштатской.[10] В бельэтаже помещались Павел Дмитриевич, Анна Ивановна с дочерьми, а все четыре сына с гувернером занимали квартиру в нижнем этаже. Спальня двух меньших мальчиков (моего мужа и брата его Николая) была рядом с кабинетом старшего их брата, и они помнят, как они засыпали под звуки квартета, игравшего в кабинете. Присутствовать на этих собраниях им еще не позволялось... Их укладывали, но они долго не спали, прислушиваясь к чудной музыке. Жанушкины вечера казались им недосягаемым блаженством, и жизнь его вообще — жизнью волшебного принца.

Кокушка [11] рассказывал, что долго его мечтой было иметь такую «эгоистку» с серым рысаком, как у Жанушки, и, главное, сидеть самому на этой «эгоистке» таким франтом, как Жанушка, с такой же коротенькой, модной в то время, тросточкой в руках.

Да и сам принц, я думаю, не далек был от того, чтобы чувствовать себя в волшебном царстве, когда он витал в таких сферах, например, как салон Антона Рубинштейна.[12] Существует известная гравюра в память вечеров, происходивших тогда на небольшой квартире Рубинштейна. Все избранные, имевшие счастье бывать на этих вечерах, до сих пор с особенным восторгом вспоминают о них. Сам Антон Григорьевич изображен на гравюре сидящим за роялем. Около него — струнный квартет, а кругом теснятся постоянные посетители, разные музыкальные знаменитости и известные меломаны того времени, а между ними сзади, почти у самых дверей, выглядывает голова студентика, без усов, с длинным носом и с модной прической. Это и есть Жанушка Дягилев, воздвигающий в груди своей алтарь «великому Антону», как он любил называть Рубинштейна. Пока студент склонялся только перед этим алтарем, все шло хорошо, но как водится с сотворения мира, настало и но...

Старшая сестра [13] Жанушки блистала в это время в свете, где не она, а ей воздвигали алтари множество ее поклонников. Она была удивительно хороша собой. До сих пор, в шестьдесят пять лет, она так красива, что легко верится в очаровательный портрет ее работы Робильяра,[14] писанный в эту пору ее молодости.

На пороге 60-х годов прошедшего столетия она только что начинала увлекаться зачатками той деятельности, которая сделала имя ее таким популярным и дала ей известность в России и за границей.

Но пока светские успехи ее гремели громче. Она была так богата этими успехами, что нашла возможность поделится ими и стала вывозить племянницу своего мужа, молодую девушку, тоже замечательной красоты. Их появленье вдвоем производило всегда настоящий фурор.

Марья Николаевна Рокотова,[15] или Маценка, была сирота и жила у Философовых. Жанушка, разумеется, бывал у сестры и, разумеется, влюбился в Маценку.

Помещаю здесь стихи, посвященные Маценке писателем графом Соллогубом, гораздо позже, правда, но они послужат тут как бы ее

портретом, тем более что не осталось ни одного, который давал бы понятие об ее красоте.

Пермитянка

Недалеко от Самары
Выдается в Волгу мыс,
Где приезжие татары
Продают степной кумыс.
Там больных толпится летом
Слабогрудая семья,
Там им пенится Ахметом
Конномлечная струя.
Там явилася недавно
Перми стройная краса,
И по-своему исправно
Совершает чудеса.
Кто увидит, тот расскажет,
Что и как она творит.
Отвернется — так накажет,
Улыбнется — подарит;
А посмотрит, скажет слово, —
Ею все так смущены,
Что больному вдруг здорово,
А здоровые больны.

(Граф Владимир Соллогуб.
Самара, 11 августа 1865 г.) [16]

«Отвернется — так накажет, улыбнется — подарит». Так красавица Маценка поступала и с Жанушкой, чередуя «наказанья» и «подарки», и он, «здоровый», стал «больным».

Маленьким его братьям чаще приходилось теперь засыпать под звуки его подавленных рыданий, доносившихся к ним из-за стены, чем под чарующие звуки квартета.

К тому же и родители Жанушки, мать в особенности, не хотели и слышать о подобном браке для своего первенца. По их мнению, жениться ему было вообще слишком рано, а кроме того они находили, что и невеста была неподходящая ни годами, ни характером, ни здоровьем, так как происходила из болезненной семьи. В препятствиях, помехах и осложнениях недостатка не было.

За всеми этими невзгодами Жанушка не кончил университета. Но как — вот что любопытно. Он отлично держал экзамены до предпоследнего включительно, на котором получил, как и на всех предыдущих, пятерку, а на самый последний взял да вовсе не пошел. Павел Дмитриевич узнал об этом только впоследствии, и то не от сына, а в университете же, чуть ли не когда ездил туда доставать Жанушкины же бумаги. Но в то время никто этого не подозревал.

Случилось оно, если не ошибаюсь, так. Маценка как-то раз особенно приветливо «улыбнулась» Жанушке и «подарила» ему наконец согласие быть его женой. Родители же продолжали противиться, и все мольбы вырвали у них только, в виде уступки, требование разлуки на год для «испытанья». Жанушка должен был, окончив университет, тотчас же ехать в Бикбарду мировым посредником. Такое решение давало хоть надежду впереди... Но вдруг Маценка опять отвернулась. Они повздорили будто из-за того, что она поехала в маскарад против его желанья.

Я думаю, что ссора эта и была причиной, по которой Жанушка махнул рукой на свой последний экзамен и стал торопиться в Пермь.

Наступил день отъезда, вещи уложены; Жанушка в мрачном отчаянии. Когда к обеду собрались семья и друзья проводить отъезжающего и когда Философовы приехали одни, без Маценки, всем стало ясно, что на этот раз разрыв между влюбленными окончательный.

У Жанушки исчезла последняя надежда на примиренье; у матери его разгорелась полная надежда на то, что вся эта история так и канет в воду. Она потребовала с Ноночки честного слова, что та не будет говорить с братом о Маценке, не будет стараться помирить их. Ноночка дала слово, но Анна Ивановна была убеждена до конца своих дней, что она изменила ему. Ноночка же говорит, что виновником все-таки состоявшегося примиренья была не она, а муж сестры ее Мариши [17] Георгий Данилович Корибут-Кубитович.

Анна Ивановна его очень не любила, и он платил ей тем же. Она его называла Марком Волоховым,[18] а он ее Анной Грозной. Они буквально никогда ни в чем не сходились. Так вышло и тут: он отнесся с полным сочувствием к горю Жанушки. Выразил ли он это сочувствие, взяв на себя какую-нибудь инициативу, или ограничился тем, что оказал только поддержку, но факт тот, что после обеда они вместе укатили тайком к Поцелуеву мосту, где жили Философовы.

Маценка сидела в одиночестве. Сначала она заупрямилась, не хотела принять Жанушку, хотя сама страстно желала примиренья. Но потом, уступая якобы красноречию Георгия Даниловича, она согласилась «простить» виновного. Помирились, поплакали и простились, но уже не навеки — только на временную разлуку.

Дома не успели хватиться Жанушки, как он уже вернулся и стал спешить на железную дорогу. Он так и уехал, не сказав матери ни слова о случившемся. С отцом он был, очевидно, откровеннее в этом случае, о чем свидетельствует одно место в письме, посланном им Павлу Дмитриевичу в Пермь на первых порах пребывания своего в Бикбарде.

Привожу письмо это целиком, потому что оно дает понятие о первоначальной жизни Жанушки в деревне и, кроме того, имеет интерес в области истории быта.

29 ноября 1861 г.
Бикбарда.

Милый мой, многоуважаемый папаша, намек Ваш в письме к Дмитрию Ивановичу [19] *насчет бедного мирового посредника меня немного огорчил. В доказательство того, что я о Вас думаю, посылаю Вам целую тетрадь моего писания о предполагаемом заведении сельского хозяйства. Не знаю, как Вы взглянете на это дело; пора нам начинать делать и не ограничиваться мечтами на словах. Можно совершенно точно определить работы. От Вас теперь зависит. Дела мои, слова Богу, идут совершенно хорошо. В участке все тихо. Я был в Камбарке и нашел, против моего ожидания, все в спокойствии. В Михайловском заводе был мною собран сход, они жаловались на управляющего. Я потребовал от него письменного объяснения, воображаю, чего он понапишет; говорят, поставил всю контору на ноги. В голицынских имениях все спокойно. Крестьяне сначала пошумели, потом увидели, что раскладка гораздо менее прежнего; они немедленно ее приняли. Реслейновские крестьяне платят оброк помаленьку, почему я не настаиваю, скажу вам лично. Что же касается до вашутинских, то управление успокоилось; крестьяне же, действительно, народ скверный. Они с большими недоимками, и не исполняют и те работы, которые должны исполнять, несмотря на облегчение. Скажу Вам несколько слов о Нератовской грамоте. Крестьяне весьма дельно рассуждают. Я у них был на днях, и толковали мы с ними от десяти часов до четырех с половиной. Хотя они и не подписали, но видно, что они делом заинтересованы и постоянно ко мне ходят за объяснением. Не смею, лучше сказать, боюсь надеяться очень, но кажется, они подпишут. Народ-то дельный. Много спасиба скажу нашему становому. Он был со мною и всеми силами помогал мне. Вообще он человек хороший. До сих пор, ежели я и прибегал к нему, то все дело кончалось у нас без всяких наказаний. Во всяком случае мне только остается благодарить Бога за мою обстановку, я бы погневил Его, ежели бы жаловался на что-либо. Я привыкаю, видимо, к крестьянам, и они ко мне. Встретив меня сначала как начальника, они, видимо, переменяют со мною обращение и объясняются, как с добрым знакомым, приходя иногда просить советы. Поставив себе за цель служить им, я делаю, сколько силы позволяют. На днях только, отправившись в Марьинскую волость в семь часов утра, я возвратился домой в четыре. Так как это был третий день моей подобной поездки, то, возвратившись домой, я насилу добрался до постели, не помня, как разделся и заснул. Но благодаря моему крепкому здоровью через несколько часов встал и был опять готов на какую угодно работу. Все было бы хорошо, ежели бы у меня на душе было бы полегче. Да и тут, благодаря Бога, я утешен был на днях письмом моей прекрасной Шурушки*. Многое скажу Вам,*

* Мариши.

добрый мой старик, на днях, когда приеду к Вам; с радостью бы обнял Вас подчас, когда уже очень станет грустно. Мой добрый друг Дмитрий Иванович всячески старается меня утешать. Мы с ним живем душа в душу. Сегодня поутру ходили по хозяйству и осматривали работу. Хочу поговорить с Вами, не позволите ли списаться с Петербургом, как бы отправить кулье на Лондонскую выставку. Он очень хорош, да спирт бы тоже не мешало бы. На днях приеду в Пермь; очень буду рад видеть Вас. Прекрасный Вы мой старик, скучно Вам должно быть одним. Постараюсь Вас немного развлечь. Дай Вам Бог здоровия, благословите Вашего посредника и молитесь за него. Вашими молитвами только и живу. Не знаю, как благодарить Бога, при всей грустной обстановке я еще довольно счастлив, что Вы и могли заключить из моего письма. Что-то скажет еще время? Много на него надеюсь. До свидания, будьте здоровы, любите Вашего сына, глубоко Вас уважающего.

Ив. Дягилев.

С матерью же Жанушка объяснился только через год в письме следующего содержания.

16 ноября 1862 г.
Пермь.

С грустью и скорбию принялся я за это письмо, многоуважаемая мамаша. Папаша прочитал мне несколько писем Ваших, в которых ясно я усмотрел, как глубоко огорчил Вас; умоляю выслушать меня, мои извинения не будут долги. Когда я расстался с Вами, тяжким камнем залегла у меня на душе тайна, которую я скрывал от Вас, от матери. Сомневаюсь, впрочем, что Вы с Вашим материнским чувством не предугадывали ее. Простите меня, мамаша, я не решался начать разговор. Я боялся встретить от Вас тот же грустный и тяжелый отказ, который год тому назад так тяжело было мне перенести и который по сию пору ясно еще представляется глазам моим. Я боялся не за себя, но за Марию Николаевну; я боялся услышать от Вас, от матери моей, что-либо о ней. Еще раз простите за мое недоверие. Не подумайте, ради Бога, что я думаю оправдываться. Не с тем начал я письмо это. Повторяю, опять со скорбию прихожу к Вам, не оттолкните меня. Успокойте меня, не имеющего ни одной минуты покою. Письма Ваши ободрили меня. Вы пишете, что несмотря на все, Ваши молитвы за меня так же теплы, как и в день моего рожденья. Мамочка, пощадите меня; не лишайте меня Вашего благословения в настоящую минуту. Мне невыносимо тяжело; положение мое так долго остается невыясненным. Неужели Вы останетесь холодны к просьбам моим. Сделав раз ошибку, сделав тайну от Вас в деле, в котором Вы первые должны были принимать участие, я не решался писать к Вам; это не была непокорность, как Вы выражаете это в письмах Ваших. Я просил моего отца написать к Вам; я думаю, что его письмо примется

Вами скорее, чем мое. Не карайте меня за этот проступок. Опять прошу, не отвергайте меня. Скажу Вам с полною откровенностью. Я люблю Марию Николаевну. Я глубоко уважаю ее. Мне тяжело мое настоящее положение. Мысль, что Вы можете не благословить, меня ужасает. Неужели это может быть. Мамаша, умоляю Вас, на коленях прошу, благословите меня. Неужели мое испытание не убедило Вас, что я действительно люблю Марию Николаевну. Все единственные мечты мои были, что Вы полюбите ее, как дочь Вашу. Не дай Бог, чтобы Вы что-либо имели против нее. Лучше было бы мне совершенно не существовать, чем мучиться всю жизнь. Не любите меня, любите только ее, это для меня будет все на свете. Бог никогда не посылает испытаний сверх сил наших. Я твердо надеюсь на Его помощь. Неужели не примите Вы моего раскаяния, хотя позднего. Вы пишете папаше, что Философовы и Корибут признали меня неправым. Уж не оправдываться ли хотите Вы перед сыном Вашим. Я сам вижу, что виноват перед Вами; но в душе скажу — мои намерения не были преступны. Жду письма Вашего, жду благословения Вашего, оно должно обновить меня и открыть дорогу в будущем. Я много скорблю и много молюсь; неужели мои молитвы не будут услышаны. Мамаша, мамаша, ради самого Бога, не отклоняйтесь от меня. Много впереди в жизни моей, чем я могу доказать, что поведение мое не есть непокорность Вам, а одно заблуждение. Умоляю Вас, полюбите, благословите и примите Марию Николаевну, как дочь Вашу. Не отравляйте жизнь мою. Еще раз умоляю, благословите Вашего сына.

Ив. Дягилев.

Через месяц Жанушка опять пишет матери:

7 декабря 1862 г.
Бикбарда.

Милая мамаша. Садясь писать Вам в эту минуту, я более, чем когда-либо, смущен. Я бы мог быть совершенно счастлив. Папаша приехал из Перми и благословил меня. В эту минуту, когда мне, кажется, оставалось бы мне только благодарить Вас, я должен еще раз просить Вас благословить меня. Милая мамаша, в эту минуту особенно тяжело мне. Я не имею от Вас никакого известия. Я уже успел получить из Петербурга поздравительное письмо; от Вас еще — ни слова. Неужели поступком моим, в котором я еще ничего не вижу безнравственного, я мог так огорчить Вас. Не буду извиняться, буду просить Вас, умолять полюбить мою будущую жену...

И так далее еще две страницы в том же духе. Вот еще один документ, который не лишний в истории первого романа Жанушки.

9 сентября 1861 г.

Многоуважаемая Анна Ивановна, много думала я, что мне делать и как мне выйти из моего страшного и безвыходного положения и, наконец, решилась обратиться к Вам и умолять Вас именем моей Матери, которой у меня, к несчастью, нет, выслушать меня. Положение мое ужасное, невыносимое... Любя так горячо Ноночку и Владимира,[20] *а равно и всех Вас, меня мучает, что я невольным образом поселяю раздор в семье, которая мне так дорога... Несколько раз хотела я уехать, и только по настоятельной просьбе Ноночки и Владимира остаюсь... Да, наконец, вспомните, что мне некуда головы приклонить, я сирота, одна в целом мире, без приюта, без помощи... Сжальтесь надо мной, будьте снисходительны, дайте мне хоть какой-нибудь совет, скажите, что делать... Бог видит, как искренно и горячо люблю я Вашего сына. Неужели Вы меня можете в этом упрекнуть; но, несмотря на это, на всю мою беспредельную любовь к нему, я отказываюсь от счастья быть его женою только потому, что Вы этого требуете... Одного умоляю Вас, не отталкивайте меня, дайте мне совет, я на все буду согласна... Ожидая от Вас с нетерпением ответа, остаюсь всей душою любящая Вас*

М. Рокотова.

Какие детали в течении романа Жанушки и Маценки вызвали это письмо, какие были его ближайшие результаты, последовал ли ответ — ничего этого не знаю. Этот, в настоящую минуту сорокалетний пожелтевший листок почтовой бумаги, старательно исписанный изящным, вычурным почерком немецкого типа, попал ко мне вместе с массою других семейных писем, отданных мне Анной Ивановной. Весною 1863 года Жанушка и Маценка были наконец повенчаны. Кончился длинный пролог к их супружеской жизни. Молодые уехали тотчас же в Бикбарду, где их ждал домик мирового посредника — новенький, светленький, облитый солнцем, с белыми стенами и с белыми полами. Как Жанушка любил этот дом!

3

Идет гудет Зеленый Шум.

Некрасов.[1]

Почти одновременно с Жанушкиной совершились в семье еще две свадьбы: его сестер Мариши и Таленьки.[2] Мариша двумя годами моложе его, Таленька двумя годами моложе Мариши.

Свадьбе Мариши предшествовал тоже бурный роман, который протек острее и короче Жанушкиного. Мы видели выше, что Георгий Данилович Корибут-Кубитович уже в качестве зятя принимал участие в перипетиях Жанушкиного романа. Вообще он был очень популярен в семье, несмотря на то, что Анна Ивановна терпеть его не могла.

Это был капитан Генерального штаба, высокий, худой, с длинными баками, небрежно одетый. Состоянья он не имел, но происхожденья был отличного, так как Корибуты ведут свою родословную, если не ошибаюсь, от литовских королей. Он был очень способен, умен, с оттенком сарказма в уме, и веселого характера. Встретил он Маришу в воскресных школах, которые были тогда в большом ходу и которыми оба они увлекались. Мариша совсем не была красива, но очень симпатична и очень умна. Она росла со старшим братом и много позаимствовала серьезного из его образования; потом путешествовала с матерью и очень развилась. Молодые люди сначала понравились друг другу, а потом пришла и любовь. Вот выдержка из одного письма Мариши,[3] в котором она рассказывает мне об этом гораздо позже.

Знаешь ли, Леля, какой сегодня день? Сегодня день моей свадьбы. Как сравнительно мало времени прошло с тех пор, всего семнадцать лет, а уже целая жизнь прожита, и как уже давно прожита <...> Кстати, хочешь я тебе расскажу, как мне муж сделал предложение? Тебе понравится, а за неимением новостей, вытащу из заветного уголка древность, но она еще не покрыта пылью и не

заросла травой забвенья. В конце концов, пожалуй: «on peut rester cent à respirer la même rose».[4] *Слушай же. Он так свыкся с мыслью, что женится непременно только на мне и что это непременно должно быть, что раз в разговоре сказал: «Когда мы будем...» Хотел сказать «женаты», но остановился, посмотрел на меня серьезным, любящим взглядом и взволнованным голосом спросил: «Да?» Я тоже уже так давно сроднилась с ним, что, ни минуты не думая, отвечала ему: «Да, да». Все так в одну секунду и порешили.*

Но родители отнеслись к этому иначе и вместо «да, да» твердо объявили «нет, нет и нет». Главное препятствие заключалось, конечно, в антипатии Анны Ивановны к жениху, но и Павел Дмитриевич оказал тут тоже серьезное сопротивление, так как Корибут был ему отрекомендован человеком неверующим, с новым тогда прозваньем «нигилиста».

Ему отказали от дому. Но молодежь стояла за него. Шестнадцатилетний Мишенька [5] и гувернер меньших, Евлампий Алексеевич Лебедев (известный географ), который и сам, кажется, безнадежно вздыхал по Марише, вооружились общими силами помогать Георгию Даниловичу.

Маленькие Поленька [6] и Кокушка не отставали в горячем сочувствии влюбленным, которые могли, благодаря этому, видеться иногда внизу на квартире у мальчиков. Но свиданья эти были редки, торопливы, под страхом быть пойманными врасплох, и бедная Мариша затосковала, да так затосковала, что стала бледнеть, худеть, чахнуть. Вступился за нее Владимир Дмитриевич Философов, которого мамаша уважала и советы которого она принимала во вниманье. Он указал Анне Ивановне на ужасное состояние Мариши; Анна Ивановна испугалась, написала Павлу Дмитриевичу. Тот приехал из Перми, и решено было после совещаний с докторами и с духовниками — уступить.

Павел Дмитриевич потребовал от Корибута, чтобы он говел и причастился. Это было исполнено им на Страстной неделе, а на Пасху благословили жениха и невесту.

При этом произошел случай, который оставил сильное впечатление на всех присутствующих. Дело было перед Светлой заутреней. Все собрались в зале. Мариша и Георгий Данилович опустились на колени перед родителями. Анна Ивановна взяла образ, осенила им их головы, и вдруг он из ее рук грохнулся на пол, а она с плачем убежала в свою комнату. Нечаянно ли она уронила образ или бросила его в порыве отчаянья?.. Предание сохранило обе версии, сильно склоняясь, надо сознаться, к последней. Несмотря на это, однако, муж мой помнит, что час спустя, взглянув на сестру в церкви, он был поражен переменой, которая произошла в ней так быстро. Она была неузнаваема; слабость, которая приковывала ее целыми днями к креслу, как рукой сняло. Она стояла сильная, бодрая, лицо ее сияло счастьем.

Свадьба состоялась. Молодые Корибуты поселились в деревянном флигеле дягилевского дома тут же на Фурштатской, а дом этот Мариша получила в приданое вместо 25 000 рублей, которые Павел Дмитриевич давал за каждой дочерью. Вышло это потому, что у него в ту минуту не случилось свободных 25 000.

Таленькина свадьба обошлась без скандала, и говорят, что это был единственный из браков ее детей, который пришелся Анне Ивановне по вкусу. Жених — Александр Иванович Антипов — был горный инженер, молодой, красивый, солидный, аккуратный, но с самого начала не завоевал симпатий молодежи в семье. Даже мальчики, которых он задобривал апельсинами и яблоками, подсунутыми к ним под подушки, оказались неподкупными и отвечали на эти любезности одной суровостью.

Таленька, маленькая кокетливая блондинка, была, говорят, очень мила в молодости, несмотря на отсутствие настоящей красоты, как у старшей сестры; jolie laide,[7] что называется. Вышла она замуж беззаботно, без любви и без ненависти к своему нареченному.

Через год после свадьбы он получил место в Перми, где Павел Дмитриевич устроил их, конечно, у себя в доме. Таким образом было положено основание двум семейным группам, которые от времени до времени обменивались между собой членами, но держались одна — около Анны Ивановны в Петербурге, другая — около Павла Дмитриевича в Перми. По этому случаю Павел Дмитриевич нашел необходимым увеличить пермский дом, и воздвигнутая по его собственному плану пристройка оказалась вдвое больше первоначального корпуса.

Тут, то есть в 1864 году, совершилось второе переселение Анны Ивановны в Пермь. На этот раз в Петербурге были оставлены три меньших сына с гувернером под главным присмотром Мариши Корибут, а сама Анна Ивановна с меньшой дочерью, девятилетней Юленькой, присоединилась к пермской группе. Там жили в мире и согласии обе молодые женщины. Маценька и Таленька подружились, и все шло очень гладко, преимущественно благодаря удобному, приятному характеру Таленьки.

В одном из своих писем к матери Жанушка говорит о ней, что это «воплощенный ангел». В письмах Маценки Таленькино имя постоянно тоже мелькает и всегда в самом дружелюбном тоне. То она исполняет обязанность акушерки при неожиданном появлении на свет первого ребенка у Маценки и снабжает новорожденную Маню всем необходимым от своей девочки, так как приданое ожидавшейся позднее Мани Дягилевой не было еще готово; то посылает няньку свою помогать Маценке, так как той не везет с няньками: одна хуже другой попадаются; то готовит сама пасху, причем вспоминает, как это делает всегда мамаша, и т. д. и т. д.

Присутствие в Перми Талюшки, конечно, играло большую роль в решении Анны Ивановны переселиться туда. Полная жизни, неисчерпаемого веселья и неотразимого юмора, она долго была любимицей матери.

Помимо семьи, принявшей Анну Ивановну с распростертыми объятиями, и все пермское общество единодушно устремилось показать товар лицом. Почет, уважение, вниманье, даже баловство — все было пущено в ход, чтобы привлечь сердце Анны Ивановны к Перми, но оно не лежало к ней, и ничего не подействовало.

И в этот раз, как в 1851 году, Анна Ивановна не могла побороть отвращенья своего к Перми и выдержала только одну зиму. Она вздохнула свободно, лишь когда очутилась опять в Петербурге. А там уже надвигались новые бури.

На очереди по старшинству Мишенька; с него и началась новая серия событий. Он был второй сын, но пятый в числе детей Павла Дмитриевича и Анны Ивановны. В 1865 году ему как раз минуло двадцать один год. Его карточка, снятая тогда в костюме abbé poudré,[8] одно загляденье. Я его не видала в натуре подобным красавцем, но даже таким, каким я знала его, он был одним из красивейших образчиков дягилевского типа.

Начал он с того, конечно, что влюбился. Предмет его любви была мадемуазель Погребова, племянница городского головы, — очень красивая и милая девушка, между прочим, громадного для женщины роста, как и Мишенька сам, которого мы называли «добрый великан». Роман этот был неудачный, несмотря на взаимность мадемуазель Погребовой и на поддержку Корибута, который особенно любил Мишеньку. Анна Ивановна отнеслась к любви сына несочувственно, все сошло на нет и кончилось тем, что мадемуазель Погребову выдали замуж за Лаврова, который потом в чине генерала был убит в кампании 1877 года.[9]

Когда Мишенька вернулся с этой свадьбы, он принес Анне Ивановне клочок вуали невесты и цветок из ее венка, прося ее спрятать эти вещи и, уткнув голову в колени матери, разрыдался.

После этого он закутил вовсю. Дома отнеслись к нему со строгостью, которая ничему не помогла, наоборот. Чем строже его принимали, тем глубже он погружался в кутежи. Дружба Георгия Даниловича выразилась тут во всей своей силе. Он выручал его постоянно и не раз платил его долги, ожидая, что тот образумится: побесится, побесится и перестанет. Но Мишенька не переставал. Великану, очевидно, понадобился гигантский разгул. Река вышла из берегов и залила все кругом.

Между тем случилось нечто очень неприятное. Мишенька был принят как свой в доме начальника Азиатского департамента Стремоухова.[10] Молодой Стремоухов был товарищ Мишеньки по университету, но главное, — по кутежам. Как-то летом они готовились вместе к переэкзаменовке на квартире у Стремоуховых, семья которых жила на даче. Вдруг у старика Стремоухова из петербургского его кабинета пропадает несколько билетов внутреннего займа... Подымается переполох, но молодой Стремоухов спешит остановить его, шепнув отцу, что подозренья его падают на товарища его Дягилева, которого он умоляет пощадить, не разглашая о пропаже. Старик

Стремоухов исполнил просьбу сына, но чуть ли не имел по этому поводу разговор с Павлом Дмитриевичем.

Говорят, что Павел Дмитриевич не усомнился в сыне, хотя и был против него ожесточен. Страшно ожесточен. Дошло до того, что родители разыскивали Мишеньку с помощью полиции: он пропадал неделями, а кто и знал, где он находился, не выдавал его. Кредиторы его стали осаждать Павла Дмитриевича, который наконец вышел из себя и решил прибегнуть к модному тогда средству усмиренья сыновей — сослать его в Ташкент. С глаз долой... Подальше... В тартарары буйную хмельную разгулявшуюся голову. По мненью многих членов семьи, это была роковая ошибка. Если что-нибудь могло спасти этого мягкого, баснословно доброго человека из вихря, который закрутил его, то, конечно уж, не то чуждое ему разношерстное общество, в которое он попал в Ташкенте и которое уже по тому одному не могло оградить его от беспорядочной жизни, что само не знало другого развлеченья, как разливанное море.

Таким образом оторванный от семьи, от всего близкого, от той сферы, в которой он родился и вырос, провел он целых пять лет. Он уже год как судействовал в Ташкенте, когда с ним произошел там один из ряду вон выходящий случай. Туда прибыл, тоже сосланный отцом, молодой Стремоухов. В один прекрасный вечер — не знаю в клубе ли, в частном ли доме, но только при большом обществе — он вдруг бросился Мишеньке в ноги, громко при всех просил его прощенья за то, что оклеветал его с целью отвести подозренья отца от себя и сознался, что билеты взял он сам. Перед отъездом из Петербурга в «ссылку» он и отцу сознался во всем, а тот, конечно, поспешил немедленно сообщить об этом Павлу Дмитриевичу.

4

Оденется с зарею
Роскошною красою
Цветок любви весны,
И вдруг порывом бури
Под самый свод лазури
Листки разнесены.

Песнь Баяна
из «Руслана и Людмилы».[1]

В числе провожавших Мишеньку в Ташкент на вокзале Николаевской железной дороги находился совсем молоденький кавалергард. Прощаясь с отъезжающим, он его обнял и в большом смущении сунул ему в руку золотой хронометр, который ему недавно подарил отец.

Этот кавалергард был один из меньших братьев Мишеньки, произведенный год тому назад в офицеры. Несмотря на это, он оставался дома на положении мальчика, которому приходилось обращаться к родителям за каждой пятирублевкой, потому-то он ничем иным не мог оказать поддержку брату, как отдав ему единственную принадлежавшую ему ценную вещь.

Считала ли Анна Ивановна, что пример двух старших сыновей указывал на необходимость подтянуть третьего заранее, пока он еще не выбился из ее рук, или же он просто по своей натуре не соответствовал ее складу, но она относилась к нему еще строже, чем к другим. Он успел уже снискать ее большое неудовольствие, когда по возвращении ее из Перми (в 1865 году) стал проситься в военную службу. Он учился тогда в Первой петербургской гимназии — не особенно ретиво, но ежегодно переходил из класса в класс, и потому желание его оставить гимназию взяло Анну Ивановну врасплох. Эту затею она приписала влиянию Георгия Даниловича Корибута, в чем не ошиблась. Мальчик оставался целый год на попечении Мариши, и попав в совершенно новую для него военную среду, невольно под-

дался ей, тем более что Георгий Данилович, к которому он был очень привязан, поддержал и, может быть, даже поощрил эту зарождавшуюся склонность. Таким образом, Корибут, как будто фатально, опять сыграл большую роль в судьбе еще одного из детей Анны Ивановны, и опять в столкновении с ее волей. Нехотя, но она уступила и определила осенью 1865 года сына своего Павла в Юнкерское кавалерийское училище.

Там царствовал в это время эскадронный командир, барон Штакельберг. «Свирепый наш барон», — пелось о нем в юнкерской песне.

Пехоты враг непримиримый,
Учил он лихо эскадрон,
Во гневе был неумолимый.

Под такой ферулой немного вяловатый, застенчивый мальчик домашнего воспитанья скоро подтянулся, выровнялся, сделался хорошим ездоком и получил военную складку. Он никогда не поминал лихом своего сурового, первого на военном поприще, начальника, но сознается, что во все два года пребыванья в школе он один только раз видел улыбку под его рыжими усами. Событие это произошло перед самым почти производством, когда Анна Ивановна приехала в школу посоветоваться с начальством сына по поводу выхода его в Кавалергардский полк.[2] Увидав, как полковник расшаркивается, звякает шпорами и французит перед его матерью, юнкера вдруг озарила в первый раз мысль, что их барон такой же человек, как всякий другой, что он раздевается, ложится спать, ездит в гости и что он вовсе не прямо родился эскадронным командиром посереди манежа.

Товарищами своими в школе юнкер Дягилев был любим, как и вообще все братья Дягилевы везде и всегда, но ближе других он сошелся с юнкером Баралевским, о котором не лишнее сказать здесь несколько слов, так как дружба с ним не ограничилась школьными отношениями, а продолжалась всю жизнь.

Михаил Баралевский был во всем противоположностию Павлу Дягилеву. Маленький, худенький, исполнен торжественной важностью, которая часто почему-то встречается у людей очень маленького роста, обидчивый до крайности, заносчивый и вечно несчастный, он с юношеских лет пленился веселым, красивым, беззаботным, простым и кротким товарищем. Чувство это проявлялось главным образом в болезненном, упорном стремлении быть во всем отражением друга, стремлении подчас комичном, но которое не покидало Баралевского во всю его жизнь. В 1867 году приятели были произведены в офицеры: один в кавалергарды, другой в петергофские уланы. Анна Ивановна жила тогда на Фурштатской, но уже не в своем доме, отданном Марише в приданое, а нанимала квартиру в особняке под № 17, впоследствии купленном моим отцом. Теперь на его месте возвышается многоэтажный домино под № 25. Единственную остававшуюся еще дома дочь Юленьку [3] она отдала в институт,[4] а с нею

жили три сына: Мишенька — студент, Поленька — кавалергард и Кокушка, кончающий гимназию.

Первый год офицерства был, конечно, самым безоблачным в жизни Поленьки Дягилева. Он веселился беззаботно, по-детски, и к большим успехам своим в обществе относился тоже по-детски бессознательно. Он танцевал без устали и много пел, так как у него оказался прелестный тенор. Сестры подсмеивались над ним, что он сделает себе карьеру танцами, потому что великий князь Николай Николаевич,[5] дирижировавший всегда на балах во дворце, выбирал его в число своих помощников.

Так прошел год. Как-то раз летом он обедал в Царском Селе у Неклюдовых. Анна Степановна Неклюдова была институтская подруга Анны Ивановны, а муж ее, Михаил Михайлович, единоутробный брат Владимира Дмитриевича Философова. Неклюдовская и дягилевская молодежь дружили с детства, так что между обеими семьями издавна существовали родственные отношения.

После обеда против дачи Неклюдовых вспыхнул пожар. Один из сыновей хозяев дома, «желтый» кирасир, и его гость бросились туда. Перебегая через улицу к объятому пламенем дому, Поленька Дягилев не подозревал, что бежит навстречу своей судьбе.

У забора соседней с горящим домом дачи сбежались ее жильцы, и межу ними стояла молодая девушка, на которую Алексей Неклюдов обратил вниманье своего товарища. Он давно уже бредил барышней, жившей на даче против них, и обрадовался случаю показать ее наконец Дягилеву, как бы исполняя этим роль, которая отведена была ему судьбой в начинающихся событиях, и как бы слепо повинуясь подсказыванью невидимого суфлера. В эту самую минуту и барышня взглянула на них.

Есть одна старушка, которая, когда рассказывает об этой встрече, сравнивает ее с окружающей картиной: «На пожаре увидались, сами вспыхнули пожаром, и судьба им вышла, как пожар», — говорит обыкновенно, вздыхая, старушка Авдотья Александровна,[6] о которой еще много речи впереди.

Долго стояла молодая девушка у забора, не сводя глаз с фигуры Поленьки, мелькавшей в клубах дыма. С этого часа нить ее жизни таинственно сплелась с нитью его жизни и вошла в историю дягилевской семьи.

Вот кто была эта девушка.

В Петербурге проживала некто госпожа Евреинова,[7] вдова еще очень недавно гремевшая своей красотой и легким поведением. Красота отцвела и забылась, а о поведении не переставали поговаривать.

Осталась она после смерти мужа с пятью дочерьми и с значительным состоянием, принадлежавшим собственно детям, так как ей муж ничего не отказал в духовном завещании, а сама она, Варвара Николаевна Хитрово, выходила замуж бесприданницей за богатого старика.

Начала она свои любовные похожденья еще при жизни мужа, несмотря на страх, который он ей внушал. Романы жены не могли

скрыться от проницательного взгляда ревнивого, сурового и опытного в этих делах старика; но под конец жизни он грустил меньше об этом, чем об участи, ожидавшей дочерей после его смерти, — участь, которую нельзя было не предвидеть, зная Варвару Николаевну. И действительно, в этой женщине, такой блестящей наружной красоты, таилось страшное душевное уродство: она ненавидела собственных детей, кроме старшей, которую она все-таки по-своему любила, хотя была причиной несчастья всей ее жизни. К крепостным своим она не была жестока, но к четырем своим девочкам была неумолима и не могла скрыть своей ненависти к ним даже при жизни их отца, когда она не смела слишком преследовать их. С его смертью всякая узда исчезла, и она дала полную свободу своей воле над детьми.

Я слышала много рассказов свидетелей о жизни этих девочек, но повторять их здесь не буду. Две меньшие, Людмила и Зинаида, не вынесли — умерли настоящими маленькими мученицами. Осталась любимица Лидия — кривобокая, некрасивая девушка, и две ненавистные — Ольга и Женя, от которых матери не удалось так легко отделаться.

Обе они росли хорошенькими, бедненькими девочками, жавшимися друг к другу от злобы матери и тупого равнодушия старшей сестры. Ольга относилась апатичнее к ужасной жизни, гнулась под ее гнетом, не протестуя, тогда как Женя вечно волновалась и трепетала от горя и негодованья. Это она предложила, идя с сестрой в пансион Заливкиной и проходя по Аничкину мосту, сразу покончить, броситься вместе в Фонтанку. Ольга согласилась, но когда потом Женя рассудила, что с этим всегда успеешь, что лучше попробовать сначала что-нибудь другое, Ольга охотно опять согласилась и с этим. Решено было между обеими сестрами, что первый, кто сделает одной из них предложение, кто бы он ни был, будет немедленно принят с благодарностью, и что вышедшая замуж сестра сейчас же возьмет к себе другую.

Первым женихом оказался Василий Александрович Брандорф, офицер Измайловского полка. Он посватался за Ольгу, и предложение его было принято Варварой Николаевной, хотя дочь ее кончала еще в это время курс в пансионе. Что же касается самой девочки, до того ли ей было, чтобы разглядывать и раздумывать, каков ее избавитель. Одно только и было важно, что явился избавитель, и хотя невеста ходила в переднике и оставалась дома наказанной, когда жених привозил ей ложу, в которую ехала мамаша с Лидией, все это переносилось ею легко: она чуяла впереди свободу.

Свадьба совершилась. Первая мысль молодой, когда она открыла глаза на другое утро, была: «Сегодня я поем досыта». Она сама мне это рассказывала и прибавляла, что считала величайшим счастьем пить чай с лимоном и посылать в булочную купить каких ей вздумается булок и сухарей. Все ступеньки таких наивных благополучий были скоро пройдены одна за другой, и Ольга не замедлила сде-

латься одной из самых окруженных, избалованных красавиц Петербурга.

Женя же оставалась пока дома. Ей незачем было торопиться. Выход теперь был. Им можно было воспользоваться во всякое время. Положение ее облегчалось тем, что она постоянно теперь гостила то у сестры, то у тетки в Царском Селе, где она как раз очутилась в день пожара против Неклюдовых. В Царском ей всегда бывало весело и приятно, но после пожара она больше полюбила гостить у тетушки, Александры Павловны Хитрово.

Эту маленькую женщину с белыми волосами и молодым лицом, наверное, и до сих пор все помнят в Царском Селе и в Павловске. Она поселилась в Царском молодой вдовой с тремя детьми и прожила там всю жизнь. Меньшой брат ее мужа, Василий Николаевич Хитрово, занимался воспитанием своих племянников и жил одно время вместе с ними. Тут всегда был полный дом родных и знакомых, и вся компания кузенов Хитрово и Бибиковых, с самим дядей Васей во главе, поклонялась Жене и восторгалась ею.

Через несколько времени после пожара Алексей Неклюдов, продолжая свою роль бессознательного наперсника судьбы, передал товарищу своему Дягилеву приглашение мадам Брандорф на большую кавалькаду в Павловске. Сборный пункт назначен был на ферме. Павловская ферма, как и весь Павловск, носила в года, о которых идет речь, совсем иной характер, чем в настоящее время. Ферма была любимой дневной прогулкой всего элегантного общества, проводящего лето в Царском Селе и в Павловске. Часто можно было там встретить членов царской фамилии, а хозяина фермы, великого князя Константина Николаевича, — постоянно. Когда Поленька Дягилев подъехал в назначенное время к маленькому фермскому дворцу, он застал уже у него большое общество дам и офицеров верхами. Ольгу Брандорф он встречал в обществе и был ей представлен.

Отыскав ее глазами, он двинул лошадь к ней, и, раскланиваясь, благодарил ее за приглашение. Ему ответили молчанием. Удивленный, он поднял голову, взглянул и только тогда заметил, что ошибся. Перед ним сидела в седле тоненькая фигура, схожая в общем с фигурой голубоокой мадам Брандорф, но смотрели на него мягкие черные, как ночь, глаза и совсем иное лицо, обрамленное легкими пепельными волосами. Оба были смущены и не знали, что сказать. Алексей Неклюдов, случившийся тут, поспешил на помощь, представив Евгении Николаевне Евреиновой Павла Павловича Дягилева. Так они познакомились. За сим последовала пауза. До зимы они больше не виделись. Молодая цесаревна Мария Федоровна [8] ввела тогда у нас в моду катание на коньках. Весь Петербург бросился на лед. Один из модных катков находился в Юсуповском саду,[9] и тут-то возобновилось завязавшееся в Павловске знакомство.

Поленька Дягилев каждый день ожидал с нетерпением появления на катке коричневого бархатного костюма и летел к нему навстречу. Два-три часа проходили незаметно, и они расставались у ворот Юсуповского сада. Тогда Поленька ехал в Измайловские казармы [10] к

одному знакомому офицеру, квартира которого выходила окнами прямо на евреиновский дом. Там он простаивал часами у окна, следя часто при помощи бинокля за тем, что происходило напротив. Рядом, и тоже с биноклем у глаз, неизменно находился на часах Баралевский, подражая другу не в одной только позе: раз Поленька был влюблен, возможно ли было ему оставаться равнодушным? Он не успокоился, пока сам не влюбился по уши в Евгению Николаевну. Неотлучный, как тень, он следовал всюду за другом и, беспрерывно жалуясь на судьбу, пил с наслаждением всю горечь напрасной, незамеченной даже, любви, но вместе с тем ни на одну минуту не переставал быть «преданным Баралевским». Не без его участия, конечно, сошел, например, хоть следующий эпизод.

Дежурство у окна ознакомило Поленьку с распределением времени у Евреиновых, и вследствие этого у него явился план, настоящая фантазия влюбленного двадцатилетнего мальчика. Он знал, что по субботам в шесть часов вечера из подъезда выходила барышня в сопровождении горничной и, наняв извозчика, уезжала. Задумал он превратиться сам в того счастливого извозчика, который увозил ее куда-то. Достали сани, лошадь, нарядился Поленька в армяк, нахлобучил на глаза шапку, взял кнут в руки и в одну прекрасную субботу встал у заветного подъезда в шестом часу вечера.

В свое время барышня с горничной вышли из подъезда, и последняя стала нанимать извозчика к Николе Морскому.[11] Один из них с необычайной поспешностью согласился на предложенную цену, и Женя уселась в сани со своей девушкой, не подозревая, что вместо первого попавшегося Ваньки на облучке сидит настоящий Ромео. Он свез ее ко всенощной и получил свой двугривенный. Вскоре не пришлось больше прибегать к таким ухищрениям, так как они стали беспрепятственно и часто видеться у Ольги Брандорф. К весне 1869 года они дали друг другу слово. В это время им было обоим по двадцати одному году. Первым препятствием являлся закон, воспрещающий военным вступать в брак до двадцати трех лет. Это они знали и не считали очень важным. Подождать два года... Был вопрос поважнее. Судя по предшествующим опытам со старшими братьями и сестрами, надо было ожидать препятствий родителей Поленьки.

Пока решено было сохранить тайну. Лето прошло еще спокойно. Поленька съездил в Бикбарду к отцу, оттуда в Малороссию к Брандорфам; Баралевский присоединился и к той и к другой поездке.

Со дня своего совершеннолетия Женя совсем переселилась к Ольге и была, конечно, тоже с нею в деревне. Быстро протекли тут счастливые дни для жениха и невесты. С возвращением в Петербург начались неприятности и тяжелая борьба. Секрет, разумеется, всплыл. Анна Ивановна встала во всеоружии, по обыкновению со всей страстностью своей натуры; сестры и братья сплотились за брата, и началась распря.

Молодость Поленьки была одним из веских доводов Анны Ивановны, но главным орудием ее оказалась, конечно, репутация мадам

Евреиновой: «Яблоко от яблони недалеко падает». Когда ей возражали, что в данном случае ничего подобного нет, и просили познакомиться с Евгенией Николаевной, чтобы самой убедиться, какой она человек, Анна Ивановна отвечала, что и слышать об этом не хочет.

Видя, что никакие и ничьи просьбы не действуют, Поленька задумал принять решительные меры. Очевидно, что не дав согласия на брак, родители откажут ему и в средствах, тем более что начиналась некоторая заминка в пермских делах. Часто раздавались раздраженные жалобы Анны Ивановны на опоздание высылок ей денег, и приходили письма Павла Дмитриевича с упреками в слишком больших тратах. До сих пор Поленька жил дома на всем готовом. Пермская контора ведала счета портных, сапожников, седельных мастеров и тому подобных его поставщиков. На руки же он не получал ничего определенного, а то, что ему давали когда вздумается, хватало только, как говорится, на перчатки. Жить таким образом женатому человеку в Кавалергардском полку, конечно, было немыслимо.

Финансы Жени были тоже не лучше. Мать взяла с нее и с Ольги, когда им минуло шестнадцать лет, какую-то подписку: они сами не знали в чем, но впоследствии оказалось, что петербургский большой дом на Измайловском проспекте и прекрасное именье в Новгородской губернии с чудной усадьбой принадлежат исключительно одной Лидии, а не всем трем сестрам. Ольге и Жене осталась только полоска лесу в Новгородской губернии, дававшая очень мало и которая по завещанию Николая Федоровича Евреинова могла быть продана только через известное количество лет.

Поленьке, следовательно, надо было найти способ сделаться самостоятельным. Первым условием для этого было оставить полк. Он решил сжечь корабли и прикомандироваться к учебному эскадрону. Это был первый шаг к осуществлению плана, по которому он намеревался запастись преимуществами, которые давал курс учебного эскадрона, и перейти в армию, где он мог жить с женой на самые скромные средства. Учебный эскадрон стоял тогда в Новгородской губернии в Селищинках, в одном из больших Аракчеевских поселений. Когда Поленька сошел с парохода на берег Волхова, где посреди голого поля уныло расположены были квадратом казармы, вид этот сразу произвел на него удручающее впечатление. Озадаченный, в первый раз в жизни одинокий, пошел он со своим лакеем Станиславом искать себе пристанище на ночь. Напал он, к счастью, на товарища по школе, лейб-драгуна Бураго, который приютил его в своей невзрачной темной комнате, а сам ушел к другому товарищу. Оставшись один, Поленька кинулся на кровать не раздеваясь, уткнулся лицом в подушки и горько заплакал. На него нашла такая тоска, что он готов был схватить свои вещи и бежать назад на пароход. Но пароход уже отплыл. Отступать нельзя, жребий брошен. Со следующего дня пришлось сесть на школьную скамью рядом с людьми, очень недружелюбно встретившими появленье между ними

кавалергардского корнета. Это были в большинстве съехавшиеся со всех концов армии уже послужившие офицеры старого типа, так называемых бурбонов. Что же могло быть у них общего с мальчиком, попавшим в их среду чуть ли не прямо из детской богатой дворянской семьи? На их взгляд, он был шаркуном, карьеристом, петербургским франтом, приехавшим схватить чин. Водки он не пил, в карты не играл: на кой черт им такого молокососа? Водка и карты царили в Селищинках. Отрезанные от общества на целых два года, лишенные всякого развлечения при тяжелом физическом труде, случайно собранные вместе сто пятьдесят зрелых людей на положении воспитанников закрытого заведения умирали от скуки. Единственным утешением служило им повальное пьянство, сопровождаемое всегда колоссальными, прямо легендарными, скандалами.

Если бы тогда, на первых порах пребыванья Поленьки в Селищинках, кто-нибудь сказал ему, что эти грубые, испитые лица, эти суровые пьяные глаза будут дружелюбно улыбаться ему, ласково смотреть на него, он навряд ли поверил бы этому. Он не стал пить водки, не научился играть в карты, а не прошло и двух месяцев, как он сделался любимчиком всех и каждого. Все растаяло перед его незлобливостью и простотой.

Кроме того он внес луч света в смрадную общую скуку. Он сгруппировал около себя любителей пенья. Под его регентством устроился отличный хор, который пел в церкви. Он любил это дело и увлек за собой других. Спевки сделались любимейшим препровождением времени как для участвующих, так и для слушателей. Доходило до того, что их устраивали даже во время перемен между занятиями.

Главного зачинщика носили просто на руках, но и ему самому хор приносил пользу, занимая минуты досуга, которые были полны для него грустью разлуки и вечным стремлением удрать в Петербург хоть на один день. Несмотря на строгие правила и на то, что командир эскадрона, генерал Штейн, был не из податливых, Поленьке удавалось все-таки урвать время от времени денек-другой. Нетерпенье его воспользоваться отпуском было всегда так велико, что один раз он чуть не поплатился за него жизнью.

Волхов только что встал, сообщение по нем еще не началось, никто не брался ни везти, ни провожать его через реку, тем более что наступила ночь; мужики советовали обождать до утра, но Поленька ждать не хотел, позвал своего лакея, и они отправились вдвоем. Как только они ступили на лед, он так затрещал, что Станислав испугался и отказался следовать за барином; тогда Поленька побежал вперед один. Под каждым его шагом раздавался зловещий треск, но он благополучно добрался до того берега, попал вовремя на поезд и полетел к невесте.

Она, бедная, тоже жила от одного мимолетного свиданья до другого, в промежутках же тосковала, мучилась и худела. Зима эта (1870 / 71 г.) была очень трудной для них. Анна Ивановна продолжала пребывать в упорном негодованьи. Как родные ни упрашивали ее хоть взглянуть на Женю, надеясь, что она одним видом своим

победит все предубежденья, Анна Ивановна не соглашалась. Случилось даже раз, что, войдя неожиданно в гостиную Натальи Павловны [12] и застав там Женю, она тотчас же повернулась и уехала. Подобные вещи, конечно, все более и более наполняли тоской душу Жени.

Как-то раз, когда она сидела грустная, погруженная в свои думы, на вечере, куда приехала с Ольгой, к ней подошла высокая бледная брюнетка и предложила ей погадать. Это была известная в обществе ясновидящая мадемуазель Глазенап, которая предсказывала будущее, глядя на огонь. Женя согласилась, они уселись у камина. Мадемуазель Глазенап уставила глаза на тлеющие дрова и начала. Она описала настоящее положение, любовь, препятствия, разлуку. В этом не было ничего удивительного, так как она могла слышать об этом от многих, но она этим не ограничилась, перешла к будущему и объявила совершенно уверенно, что всем испытаньям скоро конец.

«Вы выйдете замуж за любимого человека, — сказала она, — будете вполне счастливы, потом у вас родится сын, потом...»

Тут она вдруг остановилась и не хотела продолжать. Под впечатленьем этого инцидента Женя описала его в письме Поленьке, очевидно, с удовольствием, не обратив внимания на неоконченную фразу.

Странно, что окончание ее пришлось услыхать мне в то время, когда я еще не имела понятия о существовании Дягилевых или Евреиновых. Мы только что вернулись после долгого пребывания за границей и не были еще посвящены во все петербургские слухи и сплетни. На именинах у Алины Федоровны Панютиной 21 апреля 1872 или 73 года (наверно не помню) мы тоже встретили высокую брюнетку смертельной, прямо пугающей бледности — ясновидящую мадемуазель Глазенап. Она в этот раз ничего никому не предсказывала, но сидела у камина, а сестра ее стояла за ее стулом и рассказывала, как недавно сбылось в точности одно из ее пророчеств. Ясновидящая вмешалась в рассказ, и мы узнали, как она предсказала одной барышне, разлученной с женихом, скорый конец разлуки... Свадьбу... Счастье... Сына... Как все это, действительно, очень скоро сбылось, но к ужасу своему она видела еще что-то, чего не решилась тогда выговорить, — смерть молодой матери после родов. Не могу вспомнить, говорила ли мадемуазель Глазенап о последней части своего предсказанья, как тоже о сбывшейся уже или как только о предстоящей катастрофе.

Благодаря, вероятно, тому, что дело касалось совершенно неизвестных мне людей, история эта быстро изгладилась из моей памяти, но воскресла в ней внезапно, сверкнув, как молния, когда я узнала тех, о ком шла в ней речь. Это было гораздо позже.

Предсказание мадемуазель Глазенап начало сбываться, когда менее всего этого ожидали. Встреча Анны Ивановны с Женей у Натальи Павловны обострила до такой степени положение, что в следующий свой приезд в отпуск Поленька не остановился дома и не зашел к матери. Анна Ивановна, разумеется, страшно обиделась и рассердилась... И, наконец, произошло объяснение между матерью

и сыном. Тут Анна Ивановна имела неосторожность сказать, что главная помеха не в ней, а в Павле Дмитриевиче, который слышать не хочет об этой свадьбе. Тогда Поленька поставил ей вопрос ребром: даст ли она свое согласие, если отец благословит, — да или нет? Она сказала — да.

Поленька немедленно телеграфировал отцу и получил от него ответ: «Согласен, благословляю». Говорят, Анна Ивановна никак этого не ожидала. Она убеждена была, что муж поддержит ее, вероятно, вследствие их переписки и переговоров по этому поводу. Слово было дано... Взять его назад или увильнуть от него она не была способна.

Для ее гордости и строгости правил было настоящим испытанием, когда пришлось знакомиться с маменькой невесты. И на Ольгу Брандорф она не очень-то доверчиво поглядывала, так как в рое воздыхателей начинали уже выделяться некоторые, которым молва приписывала успех. Между ними главную роль играл великий князь Николай Константинович.[13] Его частые посещения и ухаживанья за Ольгой составляли муку Жени. Она тряслась над репутацией сестры, и пока жила с ней, была действительно ее ангелом-хранителем. Тем не менее болтали уже тогда, а для Анны Ивановны было достаточно и болтовни. Могу себе представить ее ужас, когда при первом же визите Варвара Николаевна [14] сочла необходимым поверить своей будущей родственнице тайны своих прелестей. Она с воодушевлением сообщила Анне Ивановне, что такого бюста, как у нее, ни у кого никогда не было, и что она и до сих пор сложена, как молодая девушка, несмотря на то, что имела пять человек детей.

Свадьба была назначена 19 мая, до наступленья Петровского поста, а так как жениху должно было стукнуть двадцать три года только 30 мая, то пришлось просить у великого князя Николая Николаевича особого разрешенья на вступление в брак за несколько дней до законного срока.

Настал давно желанный день и с ним конец двухлетним тревогам и мукам. Венчались в Кавалергардской церкви Захария и Елисаветы. После венца у Дягилевых был большой обед, а вечером молодые уехали в Селищинки. Там их ждала торжественная встреча. Весь состав эскадрона на ногах, факелы освещали им путь, крики оглашали воздух, и когда молодые вошли к себе, офицерство обступило дом с неистовым «ура». Поленька знал, что оно грозит перейти в ожесточенный восторг, который неизвестно чем кончится. Он открыл окно, благодарил товарищей, рассовал им несколько бутылок шампанского и, крикнув им «до свидания, до завтра», захлопнул окно. Они сразу не сдались, покричали еще до хрипоты, но все-таки благополучно разошлись, не выломав дверей и не покачав молодых, как можно было опасаться.

На другой день после свадьбы Поленька писал матери следующее письмо:

Милая Мамаша, спешу уведомить Вас, что мы, слава Богу, благополучно добрались до дому, несмотря на то, что нам пришлось проехать от самого Чудова 36 верст на лошадях. В штабе на улице

ждали нас офицеры и провожали нас с громкими криками ура. Жени немного растрясло, однако ничего, приехала молодцом. Много еще приходится поработать над квартирой.

Тут следует две строчки тонкого почерка Жени:

Благословите детей своих и любите их так же сильно, как они Вас.

Поленька продолжает:

Сегодня приехала наша столовая мебель, Жени очень довольна сервизом от Кача,[15] *за который очень благодарит Вас и Папашу. Завтра идем делать визиты. Милая Мамаша, не знаем, как отблагодарить Вас и Папашу за все то, что Вы для нас сделали. Постараемся, где только можно будет, выказать Вам нашу благодарность. Просим не оставить нас Вашим благословением и разрешения во все тяжелые минуты жизни прямо откровенно обращаться к Вам. До свиданья, добрая Мамаша. Ждем Вас с нетерпением к нам. Целую Ваши и Папашины ручки. Остаюсь от души любящий Вас*

сын Павел.

20 мая 1871 г.

Ниже следует приписка Жени:

И я, милая Мамочка, приписываю Вам несколько слов. Хочу только сказать Вам, что не знаю, как выразить Вам мою благодарность. Крепко целую Вас за все вещи, которые Вы нам дали. Сервиз так хорош, что я целый день на него любуюсь. Столовая доехала сегодня не совсем благополучно, потому что Левит послал буфет ничем не покрытый, так что он от дождя испортился, и надо его покрыть воском, но это безделица, которую уже завтра поправят. Понемногу устраиваемся, все приходит в порядок, хотим все убрать к Вашему приезду. Надеюсь, милая Мамочка, что Вы исполните свое обещание и приедете к нам. Ждем Вас с большим нетерпением. До свидания, милые Папаша и Мамаша.

Ясно, что полное примиренье состоялось еще до свадьбы. Просьба не забыть обещания приехать, хозяйственные подробности — весь тон письма, одним словом, свидетельствует о самых лучших отношениях. Правда, Анне Ивановне всегда стоило лишь захотеть, чтобы очаровать сердечностью и лаской. Очевидно, что она тут очень захотела и постаралась загладить оскорбительные, тяжелые впечатления последнего года. Очевидно, что и невеста пошла к ней навстречу, поставив крест над прошедшим. Одна в счастье своем забыла все обиды, другая оценила это великодушие, и таким образом создалась благоприятная почва для процветанья той симпатии, которую они почувствовали друг к другу, как только познакомились.

Молодые еле успели устроиться, как Анна Ивановна действительно покатила к ним. Квартира была небольшая, и для того, чтобы достойно принять мать, они уступили ей свою спальную, а сами, за неимением других кроватей, спали на полу в гостиной. Жени́ все это устроила так весело, просто, так неподдельно радушно и до́бро, что сердце Анны Ивановны окончательно распахнулось под напором сильного порыва раскаянья. Сердце это было гордое, иногда, может быть, жестокое, но далеко не холодное и доступное восторгу. С тех пор в нем всегда звучала к Жени́ нотка умиленья.

Конечно, когда Павел Дмитриевич, в свою очередь, поехал к молодым, он, виновник их счастья, был принят не менее радушно. Теперь уж не было и помину о выходе Поленьки из полка. Благословив сына, он определил ему 3000 <рублей> в год с прежними условиями касательно поставщиков. Зная, что в Селищинках ничего нельзя достать, Павел Дмитриевич привез с собой массу кульков со всевозможной провизией и своего лакея Осипа, умевшего готовить. Это было тоже кстати, потому что кухарка Паша не отличалась искусством.

Потом последовал визит супругов Брандорф. Они воспользовались мыслью Павла Дмитриевича и привезли с собой своего чудного повара; но вместо угощенья на славу вышел страшный переполох. Чудный повар, разумеется, был пьяница, и с ним сделался как раз в гостях припадок белой горячки самого опасного свойства. С ножом в руках он исступленно кидался на всякого, кто пытался подойти к нему, и кричал, что зарежет. Унять его казалось невозможным, но общий ужас превратился в полное изумленье, когда, подойдя к нему, Поленька сказал, не повышая голоса, почти ласково: «Что это ты? брось!» И когда тот вдруг повиновался: «Пойдем со мной», — также спокойно произнес Поленька. Тот пошел, как овечка, и его заперли на гауптвахте.

Меньшой брат, Кокушка, бывал и раньше у Поленьки в Селищинках, а теперь и подавно приезжал. Он был особенно дружен с Поленькой и очень полюбил его жену. Впоследствии, когда он женился и у него родилась дочь, он назвал ее Евгенией в память горячо любимой невестки. Кроме своих и чужие окружали молодых лаской, так что Женя попала прямо в атмосферу любви, какой не знала с рожденья.

Об одном из эпизодов этого лета я много раз слышала в рассказах Павла Дмитриевича. Эпизод этот принадлежал к его любимым воспоминаниям.

Задержанный в Петербурге делами, он долго просидел это лето в городе один на квартире у Анны Ивановны. В одно жаркое утро появился туда Поленька, приехавший из Селищенок на один день тоже по какому-то делу. Однако к вечеру он не мог уехать, потому что расхворался. Ему недомогалось уже в предыдущую ночь, дорогой, а тут сделался сильнейший жар. Послали за домашним доктором, Грюнвальдом, который оказался на даче, и дали знать Жени́, что Поленька к утру не вернется по случаю легкого нездоровья.

Ночь прошла скверно. Его душило. На другое утро он через силу поехал в Мариинскую больницу, и там врач сказал ему, что у него нарыв в горле, который надо вскрыть. Доктор этот пришелся не по душе Поленьке, и он вернулся домой ни с чем. Днем приехал Грюнвальд, чиркнул нарыв, и всю болезнь сняло как рукой. Измучившийся Поленька заснул крепким сном.

Он еще спал, когда на другое утро в передней раздался звонок. Павел Дмитриевич как раз собирался выходить. Он шел к обедне и сам открыл дверь. Перед ним стояла Жени, бледная, испуганная. Получив накануне извещение, она всполошилась, представила себе, что Поленька серьезно заболел, что от нее это скрыли, и решила сейчас же лететь к нему. Дело было к вечеру. Пароход проходил раз в сутки, и его след давно простыл. Ей надо было попасть на станцию Волхово, чтобы поймать там хоть какой-нибудь поезд Николаевской железной дороги. Она послала за лодочником, который возил часто Поленьку, велела ему приготовить лодку и отправилась.

Павел Дмитриевич никогда не мог забыть ее лица, когда открылась дверь, и ее первых слов: «Что с ним?» В это мгновение он заглянул ей в душу и увидал там свет. У него всегда блестели слезы на глазах, когда он говорил об этом и вспоминал, что она не задумалась проплыть восемнадцать верст ночью одна и беременная.

Тревога оказалась напрасной, Поленька был совсем здоров, и приезд Жени превратился в приятную partie de plaisir.[16] К их удивлению, Павел Дмитриевич сам послал их повеселиться, снабдив их деньгами, чего с этою целью он никогда не делал. Он отправил их в Павловск на музыку.[17]

Молодые приезжали в Петербург еще в это лето, но на этот раз по действительно печальному обстоятельству. В Царском Селе у тетушки Хитрово случилось несчастье.

Как я говорила уже, у Александры Павловны было трое детей, воспитанием которых занимался ее деверь — Василий Николаевич, милейший, добрейший и образованнейший человек. Он был еще молодым, когда посвятил себя своим племянникам. Его система воспитанья, говорят, была незаурядная.

Не знаю, какой он был педагог, но результаты его трудов оказались не блестящими. В этом, может быть, был виноват менее воспитатель, чем воспитанники.

О старшем, Николае, скажу несколько слов позже в связи с дальнейшей историей дяди Васи. Только в этой связи он и может представить хоть какой-нибудь интерес.

За Николаем шла Ольга, бессмысленное созданье. Изобилие зубов не позволяло ей закрыть рта, что придавало ей чрезвычайно глупый вид. Зубы же мешали ей говорить, как следует. Китайские глазки тоже не придавали красоты, а общее впечатление она производила, да и до сих пор производит, растрепанного, разнузданного существа.[18]

Судьба ее сплелась с судьбой Жени странным образом. В доме ее матери постоянно бывал в качестве родственника Евгений Биби-

ков, императорский стрелок, — молодой, умный, симпатичный. Ольга воспылала к нему страстью; Лидия, старшая сестра Жени́, тайно вздыхала по нем и, если верить слухам, сама Александра Павловна [19] была к нему не равнодушна, даже не совсем платонически.

Он же не думал ни о первой, ни о второй, может быть, немного о третьей, но полюбил Женю. А она, в свою очередь, полюбила другого.

После ее свадьбы в порыве досады он совершил величайшую глупость: «назло» сделался женихом первой, которая бросилась ему на шею. Первой оказалась Ольга Хитрово, воспользовавшаяся удобной минутой.

Женя стояла на ее пути; когда преграда исчезла, она без оглядки кинулась вперед и победила. Как всегда в подобных случаях, «назло» вышло только себе самому. Евгений испортил себе всю жизнь своей женитьбой.

Меньшой Хитрово, Сергей, был самым удачным из тройки: неглуп, недурен собой. С ним-то и случилось несчастье.

В парке, соединяющем Царское с Павловском, есть так называемая аллея амазонок, которая кончается площадкой. Посреди площадки стоит дуб; под ним скамейка и стол. Тут нашли раз мальчика в форме Пажеского корпуса. Он сидел на скамейке, а голову положил на стол, как будто спал. Но у него был прострелен висок, и револьвер лежал рядом. Паж оказался Сергеем Хитрово.

Случай этот, помню, наделал много шуму. Мы только что вернулись из-за границы и проводили лето в Царском. Самоубийство этого почти ребенка приписывали невыдержанному экзамену, возмущались, бранили директора корпуса... Проходя под дубками по дороге на ферму, мы с ужасом поглядывали на скамейку и стол.

Женя, конечно, огорчилась. Она очень любила двоюродного брата, а он был ей так беззаветно предан, что все постоянно подтрунивали над ним за его поклонение.

Лет через пятнадцать-шестнадцать после его смерти открылось, что причиной ее было именно это поклонение. Оказалось, что и он тоже был влюблен в Женю. И, несмотря на то, что любовь эта не могла быть иначе, как безнадежной со стороны шестнадцатилетнего мальчика, он обезумел от ревности, когда Женя вышла замуж, и пустил себе пулю в лоб.

Поленька узнал это от своего товарища по полку, Михаила Александровича Траскина, который был другом Сережи Хитрово в Пажеском корпусе. Он один был посвящен в тайну и хранил ее много лет, но в минуту откровенной беседы о трагизме в собственной судьбе рассказал и про это.

Но тогда, когда катастрофа случилась, ничего не было известно. Может быть, некоторые догадывались, но ни записки, ни каких других указаний на причину самоубийства не нашли, и тайне бедного мальчика было оказано уважение молчания.

Хоронили его на кладбище в Кузьмине, около Царского. День был чудный. Когда гроб опустили в землю под большой елью шагах

в двадцати от главной паперти и стали его засыпать, Женя, которая была уже в ожидании и утомилась стоять, присела на ступеньках у северных врат. Поленька стоял около нее. «Как здесь хорошо, — сказала она совсем просто, без всякого волнения или грусти, — я бы хотела здесь лежать, когда умру...»

После этого печального события молодые засели в своей селищинской глуши. Трудно себе представить, какая это была действительно глушь. Волки отваживались прямо в жилища. Один из них забрался раз в коридор офицерских квартир. Поднялась кутерьма, на него накинулись с саблями, он, как бешеный, метался во все стороны. Этой дикой охоте положил конец выбежавший на шум из своей комнаты офицер Генерального штаба, читавший в эскадроне лекции военных наук, Паренсов.[20] Он убил волка выстрелом из револьвера.

В другой раз, катаясь ночью на тройке, Поленька с Женей наткнулись на волков, лежащих посреди дороги. Это было дело привычное. Обыкновенно они лениво с рычаньем уступали место и шли ложиться дальше на край дороги. Но в этот раз за тройкой бежала собачонка ямщика, которая неистово стала на них лаять. Они поднялись и побежали трусцой за нею. Ямщику стало жаль ее. Он соскочил, схватил ее и, прыгнув назад на облучок, погнал лошадей. Страшные, светящиеся в темноте точки преследовали тройку некоторое время и отстали; но волки не простили глупой собачке ее дерзости. На другой же день пришли за ней во двор и утащили.

Зима протекала тихо. Поленька усиленно принялся за занятия, а Женя сидела одна, так как она никого не принимала в отсутствии мужа. У ней было какое-то болезненное, пугливое чувство ко всему, на что она дома насмотрелась с детства, и ей казалось, что самая щепетильная, даже преувеличенная, осторожность не лишняя для дочери ее матери. Вследствие такого взгляда она отнеслась строго к слишком частым посещеньям некоего Бланка, «желтого» кирасира, который пленился ее горничной и постоянно вертелся под окнами, когда не мог войти в дом. Евгения Николаевна сказала ему, что девушка ее, Саша, выросла вместе с ней, всю жизнь прослужила у них в доме, и что она не позволит у себя на глазах обманывать ее. Кажется, Саша не совсем оценила вмешательство барыни, потому что Бланк уверял ее, что намерения его самые честные и что он не остановится и перед женитьбой. Однако вместо того, чтобы доказать это, после замечанья Евгении Николаевны он, напротив, сконфуженный отъехал.

Беременность Жени была очень тяжелая. Она почти ничего не ела в продолжении большей части всех девяти месяцев. Тем не менее она благополучно родила сына 19 марта 1872 года.

Назвали мальчика Сергеем в память бедного Сергея Хитрово. Кормилица была приготовлена, а за нянькой послали Сашу в Петербург.

В числе евреиновских дворовых была девушка, с тринадцатилетнего возраста состоявшая в детской сподручной у старшей няни — немки. После воли она пошла по местам, но всегда «своими» господами считала Евреиновых и постоянно навещала их. В день свадь-

бы она одевала свою барышню Евгению Николаевну к венцу и обещалась сейчас же перейти служить к ней, как только ей понадобится нянька.

И вот 20 апреля 1872 года явилась к маленькому Сереже Авдотья Александровна, тогда девушка тридцати восьми лет, очень полная, с нахмуренным, благообразным лицом. С тех пор и до сегодня она неотлучно находится при нем в продолжении тридцати лет.

Следующие выдержки из серии писем Поленьки к матери за это время будут тут ценнее всякого постороннего рассказа.

От 22 марта.

Милая Мамаша, сегодня Жени́ слабее, чем была эти два дня при Вас, но этого и ожидали. Лихорадка хотя была, но самая незначительная. Доктор был сегодня три раза и нашел все, слава Богу, хорошо <...>

Жени́ мне сегодня созналась, что она очень привязалась к *«нашим старикам», как она выразилась, то есть к Вам и Папаше, что ей очень жаль, что Вы уехали и что Папашу она очень хочет видеть* <...>

Лучше ли Кокушке? [21] *Скажите ему, что я и Жени́ крепко целуем его* <...>

Сережа молодец, все спит покойно по-прежнему.

От 28 марта.

Несказанно обрадовали нас Ваши два последние письма, в которых Вы извещаете нас о поправлении здоровья Кокушки, милая, бесценная Мамаша. Дай Бог, чтобы все кончилось хорошо... У нас до сих пор, слава Богу, все идет хорошо. Завтра надеемся с Божьей помощью встать с постели. Сережа здоров, но что-то стал покрикивать.

Дальше письмо все спокойное, веселое, а в конце шутка по адресу Кокушки:

мечаз ыт лелобаз, йавилвародзыв йероксоп.
левап велигяд.[22]

От 29 марта.

Сегодня Жени́ встала; еще, разумеется, слаба, но сейчас был доктор и говорит, что все идет, как следует <...>

Сережа во сне ни с того ни с сего вскрикивает довольно сильно, а потом продолжает преспокойно спать. Александр Николаевич [23] *подробнее передаст Вам об этом. Будьте так добры, милая мамаша, спросите у Термена,* что это значит, и стоит ли об этом беспокоиться. Это сильно тревожит Женю. От всей души поздравляем Ноночку с новорожденным и желаем, чтобы все обошлось хорошо.***

* Детский врач.[24]

** Сын Дмитрий, родившийся 25 марта 1872 года.[25]

От апреля.[26]

Здоровье Жени́ лучше, хотя после первого ее выхода ее доктора опять положили в постель, потому что Евгения Николаевна не совсем бережет себя. Ей позволили ходить мало, а ее никак не удержишь на месте, так что пришлось опять лечь. Но все-таки, слава Богу, ей лучше. У меня лично все пока идет хорошо. Я сдал пять генеральных репетиций, и все очень удачно, осталась теперь одна и последняя. Приедете ли Вы к нам? Ждем Вас с нетерпением. Сегодня приезжает нянька, я очень рад, потому что Жени́ с ее беспокойным характером труднее поправляется, а теперь, по крайней мере, она будет спокойно спать ночи...

От 5 мая.

Вам, вероятно, Ольга передала, что болезнь Жени приняла довольно серьезный оборот, так что мне пришлось послать еще за другим доктором. Но, слава Богу, вот второй день ей лучше. А то, бедная, сильно страдала. Иначе, как на спине, не могла лежать, и всякое движение ей причиняло боль. Хорошо, доктор Балдовский, которого я позвал, довольно искусный врач и принялся за Женину болезнь с энергией. Все-таки они говорят, что ей придется проболеть около месяца. У нее сделалось «местное воспаление брюшины». Разумеется, мы ей этого не сказали, и она не знает, что она серьезно больна. Но доктора сказали положительно, что опасность прошла, да она и сама замечает, что ей лучше <...>

У нас теперь так хорошо, все распустилось, погода чудная, черемуха уже отцвела. Как бы хорошо было, если б Жени́ здорова была: гуляла бы да гуляла. Так уж это мне горько, так горько, что Вы не поверите. Мне все кажется, что я не сумел сберечь ее в продолжении шести недель...

В этом письме уже ясна тоскливая тревога, хотя для всякого, кто хорошо знает Полюшку, она уже сквозила давно и в успокоительного тона письмах. Он старался ее подавить, как делает всю жизнь.

На этом письме переписка обрывается. Положение так ухудшается, что Анна Ивановна сама едет в Селищинки; Ольга Брандорф, только что уехавшая, тоже возвращается... Привозят из Петербурга профессора Баландина...[27] Опасность растет... Воспаление брюшины уже не местное, а общее.

С тех пор прошло много лет, но Поленька и теперь не может слышать стонов без особенного страданья, связанного с воспоминанием о самых ужасных днях его жизни.

Она очень мучилась и беспрерывно стонала, а он ходил взад и вперед, как маятник, — днями, ночами, неделями. По ночам в спальне перед образами теплилась лампада, а за киотом пел сверчок. Поленька смотрел на лампадку и слушал сверчка с тупым упорным вниманием.

И вот, наконец, в одну ночь лампадка затрещала, замигала и потухла, а потом вдруг замолк и сверчок. Тогда он почувствовал, как сразу и в нем угасла всякая надежда... Он понял, что пришел конец...

Последним словом ее был громкий возглас: «Сереж...», но она не договорила... В то же мгновение глаза уставились в одну точку удивленно-удивленно, радостно-удивленно; выраженье страдания вдруг совершенно исчезло.

Лицо озарилось невыразимой улыбкой. Именно озарилось, просветлело, засияло все... Присутствующие кругом замерли при виде этой радости, для них неожиданной, необъяснимой, таинственной...

И дух отлетел.

5

У старухи все одно,
Все жужжит веретено <...>
Развивается клубок,
И опять любовь, порок...

Леонид Семенов.
«Сказка про Белого Бычка».[1]

1872 год вошел к Дягилевым с несчастьем в руках. Первой, на кого оно обрушилось, была Мариша. Она потеряла мужа, с которым прожила душа в душу десять лет. Георгий Данилович умер от воспаленья в мозгу, оставив жену в неописуемом отчаяньи. Почти одновременно заболел Кокушка заворотом кишок и был при смерти. Его еле-еле спасли. Наконец, удар поразил Поленьку в полном расцвете счастья.

Весь состав офицеров, только что кончивших курс учебного эскадрона, снимался группой как раз на другой день после кончины Евгении Николаевны. Сняться без Дягилева, который всегда был любим ими, которого в дни его горя они прямо обожали, показалось им немыслимым. Они пошли за ним, взяли, привели, посадили и заставили сняться с собой.

Так и видно на этом снимке, как они нагрянули к нему гурьбой, именно взяли его, напялили на него виц-мундир, наскоро пристегнув эполеты, которые висят красноречиво небрежно, насильно увели его из тишины и темноты на улицу и отпечатали его с его трагичным лицом и сжатыми на груди руками.

К похоронам съехались родные, даже мать явилась. Она осталась верна себе и тут. Когда дочь ее уложили на стол, она подошла осмотреть, как ее одели. Приподняв платье, она увидала под ним юбку с кружевами. «Хоронить в валансьенах,[2] странно...» — сказала она. Сверкая гневными, заплаканными глазами, Анна Ивановна крикнула на это: «Оставьте, оставьте, не ваши».

Глядя на измученное лицо Анны Ивановны, можно было подумать, что она родная мать умершей. Горе ее было ужасно.

Она обнимала ноги еще живой Жени́ и на коленях с рыданьями просила у нее прощения, а теперь она обливала эти, холодные уже, ноги слезами и целовала их.

В церкви на похоронах все плакали, не только свои, все чужие. Священник останавливался, глотал слезы, вытирал глаза. Офицерский хор, Поленькин хор, всхлипывал и обрывался. После отпеванья тело повезли в Колпино, а оттуда в Царское Село, в Кузьмино, под широкие ветви большой ели, где Жене так понравилось год тому назад, когда хоронили Сергея Хитрово.

Она легла немного впереди его могилы.

В то время как в Селищинках потухала одна жизнь и зажглась другая, поглощая душу семьи совершающимися там событиями, для семнадцатилетней Юленьки настала счастливая пора выхода из института. Но обстоятельства сложились так, что ей, пожалуй, веселее было бы оставаться за стеной Смольного, чем выйти на волю. Первым ее выездом была поездка в Селищинки на похороны. После этого Анна Ивановна повезла за границу оправляться от болезни только что вставшего на ноги Кокушку и Юленьку взяла с собой.

Путешествие это могло, конечно, быть волшебным для институтки, но оказалось далеко не таким. Анна Ивановна была еще вся под влиянием пережитых потрясений и, по свойству своего характера, страшно раздражительна в таких случаях. С Кокушкой надо было сдерживаться, что было ей нетрудно, так как он всегда был одним из ее любимцев, и нервность обрывалась на Юленьке.

Остальная же семья разбрелась на лето по разным углам. Пермская часть жила в Бикбарде, Философовы по обыкновению в своем псковском именье — Богдановском, а Поленька с Маришей наняли усадьбу по Варшавской железной дороге в селе Витове.

Никто не мог понять их в это время, как они понимали друг друга. Поленька получил казенную квартиру, о которой хлопотал, имея в виду вернуться в полк из учебного эскадрона с женой и ребенком. Он предложил Марише поселиться с ним в Кавалергардских казармах.

И на лето они решили остаться вместе: два раненых прислонились друг к другу. Они оба не могли спать и иногда по целым ночам ходили молча вместе. В Петербурге они уходили на набережную и там шагали ночью.

В наеме дачи к ним присоединились Антиповы, а потом в Витово появились гостить один, другой, третий; образовалась целая родственная колония, что характерно для Дягилевых. Народу набралось много: Мариша с тремя детьми; Поленька с Сережей; Таленька с мужем и с тремя девочками; двоюродный брат Дягилевых Протейкинский [3] (под названьем Саньки); его родная племянница хорошенькая институтка Лиза Макаровская; Каменецкие брат и сестра, пле-

мянники Георгия Даниловича, дети одной из его сестер; и еще его же племянник, сын брата, Николай Кубитович. Итого семнадцать человек, кроме гувернанток, гувернеров, бонн и т. п.

Коля Кубитович, студент, товарищ Кокушки, брюнет невысокого роста, уже давно вертелся в дягилевской семье и любил ее, как родную. В Витово он попал просто по привычке быть вместе с ними, но 72-й год и тут подсыпал яду.

Александр Иванович Антипов ревновал свою жену хронически. Не знаю, подавала ли она ему раньше к ревности повод во время их десятилетнего супружества, но в Витово ревность его оказалась основательной. Наталья Павловна смеялась-смеялась, заигрывала-заигрывала со студентиком и кончила тем, что увлеклась им. Не берусь решать, каковы были в это время чувства Кубитовича. Вероятно, и он поддался увлечению. Ему было двадцать два года. Кто думает в эти года о последствиях? Наталье Павловне было двадцать восемь. Завязался роман.

Не проходило дня без скандалов между Александром Ивановичем и кем-нибудь из членов семьи. Он вообще был несносного характера, но тут он превзошел себя, шипел и злился без конца и этим ускорял приближающуюся катастрофу. Бдительность и подозрительность мужа не давали Таленьке покою, а ей уж мерещилась свобода... Свободная любовь, которая тогда входила в моду. Тогда разводы, разъезды были еще внове, и многих манили, как новинка.

Удивительная смесь всевозможных настроений царила в этом Витове.

Мрачная тоска Мариши, печаль бессонных ночей Поленьки, грызущая, сварливая ревность Александра Ивановича; шепот, робкое дыханье... Свет ночной, ночные тени... И заря...[4] Заря у Таленьки с Кубитовичем<...>[5] Девические сердца Лизы Макаровской, Мани Каменецкой и мисс Сарры, гувернантки Маришиных детей, переполненные увлеченьем, умиленьем, жалостью к молодому вдовцу... Погруженное в себя, беззаботное веселье детей и, наконец, плач о чем-то непонятном только что пришедшего на землю младенца Сережи.

Лето прошло, в сущности, очень грозно, но оживленно, как всегда бывает, где Дягилевы соберутся вместе. Помимо их воли, в них самих и кругом них жизнь бьет ключом. С переездом осенью в город все еще больше закрутилось.[6]

В одно моросящее петербургское утро из вагона только что прибывшего Варшавского поезда вышел полковник Уланского его величества полка — высокий пасмурный господин в очках и с густыми бакенбардами. Он взял извозчика и мрачно произнес: «На угол Воскресенского и Шпалерной». Когда путешественник добрался до другого конца города и завернул на Шпалерную у самой Невы, он опять мрачно приказал: «Налево, у первого от угла подъезда». Извозчик остановился у длинного двухэтажного желтого здания.

В настоящее время приземистый Елизаветинский флигель Кавалергардского полка, далеко тянувшийся по улице, заменен высокими строеньями современного казарменного типа. Но тридцать лет тому назад пасмурный полковник позвонил у наружной двери низенького невзрачного дома, предварительно прочитав на медной дощечке: «Павел Павлович Дягилев». Когда ему отворили, он вошел под темный свод, поднялся по грубой каменной лестнице, устланной серым сукном с красной каймой, и велел доложить о себе: «Полковник фон Ган».

Через минуту вышел к нему хозяин с приветливой улыбкой: «Какими судьбами?.. Когда приехал?» Пасмурное лицо и тут не прояснилось. «Важное дело, объясниться наедине», — прорычал сквозь зубы полковник. Дягилев сейчас же увел его в кабинет и плотно закрыл за собою дверь. «Что случилось?» — «Очень плохое случилось: дело с Оффенбергами не кончено», — объявил Ган.

Слова эти требуют объяснения. Ган был один из товарищей Дягилева по учебному эскадрону. Все, окончившие курс по первому разряду, должны были быть немедленно произведены в следующий чин за отличие. Ган попадал в полковники, Дягилев — в штаб-ротмистры. Как-то в июле Дягилев отправился из Витова в город посмотреть на ремонт квартиры и на станции Луга встретил у буфета Гана, возвращающегося из Петербурга в Варшаву очень не в духе. Он ездил справиться в Главном штабе о причине, по которой их еще никого не произвели, и узнал, что производства нельзя ждать раньше сентября, а почему, ему определенно не ответили. Из этого вытекало, что произведенные на вакансии (как тогда водилось, в именины государя — 30 августа) стали бы старше получивших чин за отличие. Гану шепнули, что тут кроется интрига, что писарь Главного штаба будто бы получил 100 рублей, чтобы бумагу о производстве кончивших курс в учебном эскадроне задержать до первого сентября.

Услыхав это, Дягилев уговорил Гана вместо того, чтобы продолжать путь на Варшаву, вернуться с ним сейчас же обратно в Петербург, чтобы вывести всю историю на чистую воду. Им это удалось как нельзя лучше благодаря Владимиру Философову. К счастью, он был в городе. В качестве главного военного прокурора он потребовал к себе все дело из штаба, увидал, что производство подписано великим князем Николаем Николаевичем уже месяц тому назад, и немедленно сообщил об этом начальнику Главного штаба графу Гайдену. Тот сделал расследование, по которому подозренье насчет писаря подтвердилось; бумага была сейчас же отправлена в Ялту к государю, оттуда телеграммой велено было отдать приказ, который состоялся 8 августа, разрушив козни врагов Гана.

Враги эти были офицеры его же полка два брата Оффенберга, которые сами ожидали производства в полковники 30 августа и не хотели стать ниже Гана. Однако это совершилось... Казалось бы, и конец делу. Но мы видим, что месяца два спустя Ган приезжает

из Варшавы специально, чтобы объявить Дягилеву совсем обратное. Дело с Оффенбергом не кончено.

Оба брата имели большую партию в полку и в отместку Гану за его контр-мину восстановили против него офицеров. Ган был по натуре непривлекательный, угрюмый и не сумел побороть неприязни, встретившей его в полку после двухгодового отсутствия. Если бы не Оффенберги, неприязнь эта держалась бы, вероятно, в границах приличия, но они желали скандала и произвели его. Об этом скандале шла теперь речь у Дягилева в кабинете.

Один из братьев Оффенберг, командир эскадрона, не скомандовал «смирно», когда на учении к его эскадрону подъехал дивизионный командир — полковник Ган. Когда Ган заметил Оффенбергу, что лично он может на него сердиться сколько угодно, но во фронте он обязан исполнять требуемое службой, то Оффенберг повиновался, но вечером в офицерском собрании сказал ему по этому поводу несколько дерзких слов. Ган счел для себя единственным исходом — дуэль, но, не будучи уверенным в товарищах, вскочил на поезд и покатил в Петербург прямо к Дягилеву, зная, что на него положиться можно.

Выслушав его, Дягилев ему ответил, что, разумеется, от секундантства не откажется, но, что по принятому в Кавалергардском полку обычаю, должен сообщить об этом командиру полка.

У графа Александра Ивановича Пушкина [7] было правило, что командир полка должен все знать из первых же рук от самих офицеров, но зато он уже не давал их никому в обиду.

«Я ручаюсь, что он отпустит меня, — сказал Дягилев Гану, — но если бы, паче чаяния, он не согласился, я выйду в отставку и буду все-таки твоим секундантом».

Нельзя было придумать более подходящей наружности для командира Кавалергардского полка, как рыцарский, благородный вид Пушкина, особенно в каске с орлом. Этот наружный вид он сумел перенести и на внутреннюю сторону своего командирства. В этом заключался его собственный престиж и престиж, которым он облек свой обожаемый полк на долгие годы.

Выслушав Дягилева, он ему ответил тоном, который, всякий знавший его, невольно представляет, передавая его слова: «Отлично, голубчик, я тебе даю командировку в Варшаву купить лошадей. Если тебе дело не удастся, телеграфируй: „не купил лошадей“, тогда я за тебя перед великим князем горой; если удастся, телеграфируй: „купил лошадей“. Я буду знать, что все хорошо. Поезжай с Богом».

На другой день Дягилев уехал с Ганом в Варшаву, а там уже, разумеется, разнесся в полку слух об отъезде Гана, и Оффенберги торжествовали, высказывая предположение, что он поехал в Петербург хлопотать о переводе в какой-нибудь другой полк. Каково же было их удивление, когда по прошествии трех дней Ган преспокойно появился в театре вместе с кавалергардом и Штуцером, единственным товарищем по полку, который открыто стал на его сторону. Эффект был полный. Последовало недоуменье и пониженье тона.

Появление кавалергарда произвело впечатление и на постороннюю, не причастную к делу публику. Особенно заинтересовалась приезжим красивая, изящная брюнетка в одной из лож бельэтажа. Приезжий тоже обратил на нее вниманье и спросил, кто она такая. Ему ответили, что это звезда полусвета Мария Гейбович. После представления Ган повез своего гостя ужинать, и Гейбович пригласили с собой.

На другой день состоялось первое объяснение с уланами. Штуцер отправился к флигель-адъютанту Оффенбергу, брату эскадронного командира, и сказал ему, что из Петербурга приехал некто Дягилев, которому Ган поручил переобъясниться с ним. Оффенберг поехал тотчас же к Дягилеву и прямо начал изливать всевозможные обвинения на Гана, выражаясь, между прочим, так: «Он нам сел на шею». Дягилев прервал его на этих словах, сказав: «Извините, я этого выражения не понимаю». За сим он высказал со своей стороны, чем был оскорблен Ган, и объявил, что он им уполномочен вызвать Оффенберга, эскадронного командира, на дуэль. Тогда флигель-адъютант, вспомнив свои вензеля, поспешил заявить, что он не секундант, что он приехал объясняться только так. «Нет, уж извините, — возразил Дягилев, — я вам открыл намеренья моего доверителя, его тайну, так сказать, и потому не могу иначе, как считать вас за секунданта».

После этого отступать Оффенбергу было невозможно. Он съездил посоветоваться с братом и вернулся с предложениями условий дуэли — невозможными условиями. На два шага, один заряженный револьвер, другой нет — одним словом, чуть ли не американская дуэль.

Дягилев согласился без малейшего протеста, что смутило противника. «Но если после дуэли последует суд, — сказал Дягилев, — имейте в виду, что вам не избежать большого скандала, так как откроется, что причиной ее был проступок против дисциплины из-за личных счетов, на что очень строго смотрят в Петербурге». (Вечное пугало провинции!) Подтвердил он свои слова примером подобной дуэли, только что наделавшей шуму и вызвавшей гнев государя.

Тогда Оффенберг начал доказывать, что дело было на проездке, а не на учении; что выезжали на уздечках, причем обе руки заняты — одним словом, вдался в мелкие отговорки. Дягилев потребовал приказ, из которого оказалось, что дело произошло не на проездке, а на учении, и что выезжали на мундштуках. Тут Оффенберг окончательно потерял почву... На другое утро он явился совершенно в другом настроении, заговорил об обязанностях секундантов вести, по возможности, к примиренью, с чем Дягилев сейчас же согласился, и предложил найти какой-нибудь другой путь к прекращению печального недоразуменья... Хоть третейский суд, например.

Дягилев ответил на это, что, в принципе, не имеет ничего против этого, но что он в Варшаве чужой, никого не знает, а судья должен быть человек, пользующийся общим уважением, одинаково желательным обеим сторонам и вне всякого подозренья лицеприятия. Та-

ковым оказался старший полковник Гродненского гусарского полка Иванов. Решено было, что тот, кого он признает неправым, извинится.

Вечером оба брата Оффенберга, Дягилев, Ган и Штуцер отправились к Иванову. Выслушав рассказ флигель-адъютанта Оффенберга и Дягилева, Иванов, ни минуты не задумавшись, отвечал: «Конечно, полковник Ган прав».

Оффенбергу ничего не оставалось делать, как извиниться перед Ганом, что он исполнил тут же при свидетелях.

Графу Пушкину была отправлена телеграмма, что «лошади куплены»; а по возвращении в Петербург ему было все подробно доложено, на что он буркнул: «Хорош полк», и с этим характерным замечанием он похоронил всю историю.

Тем Поленька и покончил с Варшавой, но Варшава не покончила с ним. Недели через две он получил приглашение от Марьи Михайловны Гейбович, только что приехавшей из Варшавы, зайти к ней в гостиницу. Когда он пришел, она сообщила ему, что ей захотелось поселиться в Петербурге и что она просит его в качестве знакомого помочь ей нанять квартиру и устроиться. Нетрудно догадаться, что из этого вышло.

Мне хотелось бы посвятить здесь несколько строк памяти этой Марии Гейбович. Женщин ее жизни всегда спешат заподозрить в хищничестве, вероятно, часто основательно. Но в этом случае, хотя погоня за кавалергардом может показаться подозрительной, надо сказать, что корыстное побужденье совершенно отсутствовало. Она сразу полюбила его в их варшавском свиданьи. Прежде всего ее поразило его обращение с ней — доброе, деликатное, простое, человеческое. Она привыкла ко многому, но не к этому. Сердце согрелось, пробудилось, и она пошла, куда оно повлекло ее. В Варшаве было прочное, даже в своем роде блестящее положение... Она променяла его на связь, которая не принесла ей никаких выгод, и которая, тем не менее, была порвана против ее желанья.

Она предлагала жить на самые скромные средства, лишь бы он обещался ей не жениться. Он тогда не имел совсем этого намерения, но стремился прекратить отношения, которые становились тягостными для него. Когда они расстались, что случилось довольно скоро, она уехала назад в Варшаву, хотя один из полуимперьялов [8] предлагал ей остаться с ним. Это обстоятельство тоже свидетельствует о бескорыстии Марии Гейбович, и кто это знает, тому следует помянуть ее добром.

Ее давно уже нет в живых. Она умерла еще молодой в чахотке. От одного приезжего из Варшавы, хорошо знавшего Гейбович, случайно узналось позже, что она всегда благодарно вспоминала Дягилева и бережно хранила его карточку.

Начиная с этого приключения весь период вдовства Поленьки протек очень бурно. Он попал в какой-то заколдованный круг, в котором навстречу к нему со всех сторон тянулась влюбленность. В

конце концов он совсем завертелся и запутался в этом дурмане, длившемся почти три года.

К этому периоду принадлежит одна встреча, которая по содержанию своему стоит особняком и очень высоко над всеми другими, одинаково мимолетными и банальными, как в так называемом «хорошем» обществе, так и в другом.

Женщина, о которой идет речь, принадлежала если не лучшему, то высшему свету и носила одно из древнейших имен России. Муж был князь, жена миллионерша — обыкновенная, известная светская сделка. Это был их наружный вид. В муже нечего было искать дальше: камер-юнкер, брат слишком известной сестры,[9] и больше ничего.

В ней же, наоборот, можно было искать и найти главное и лучшее внутри. Там была душа чистая и простая — простая не в смысле первобытной несложности, а в смысле подлинности. Было тоже пылкое сердце, полное дара любви; и, как часто случается в несчастных браках у хороших женщин, вся потребность любви устремилась в страстное материнское чувство, заслонившее ей до времени все остальное...

Кроме того была смиренная бессознательность своих достоинств и застенчивость, еле-еле прикрытая брильянтами, кружевами и туалетами от Ворта. Эта блестящая оболочка в связи с цыганским типом княгини (хотя родом она была чисто русская дворянка) не сразу позволяли разглядеть ее настоящий облик, но стоило к ней присмотреться, чтобы различить его без труда.

Когда наступила минута, назначенная судьбой для знаменательной в ее жизни встречи, она была уже несколько лет замужем, и дочери ее, маленькой Loulou,[10] было четыре года. До сих пор девочка царствовала одна в сердце матери, но вот вошел туда опасный соперник. Княгиня полюбила в первый раз со всем пылом и глубиной своей натуры. Для нее это не был вопрос более или менее продолжительной светской интрижки, а вопрос страшной борьбы между материнством и страстью. Loulou или он — этот новый образ, так скоро овладевший ее сердцем, — вот что пришлось ей решать...

Победила Loulou, не подозревая этого. Мать осталась ей верна, отказавшись от личного счастья.

Роман этот был, конечно, больше ее романом, чем его. Для него встреча с нею, может быть, была несколько отрезвляющим эпизодом в чаду, который заволакивал его. Если в нем не проснулась тут любовь, как бы застывшая вместе с Женей, то по крайней мере явилось умиленное чувство к редкой женщине.

Когда перед второй своей женитьбой он уничтожал разные письма и записки, он не мог решиться предать одной участи с другими единственное письмо, которое имел от нее. Ему было противно приравнять ее в чем бы то ни было к другим своим приключениям, и он свято сохранил это письмо, передав его своей второй жене с просьбой не читать его, но беречь с уваженьем.

Для княгини же встреча с ним сделалась источником всей последующей ее жизни. Внутренняя драма, которую она переживала, так резко отличалась от мелочной суеты, окружавшей ее, что она не была в состоянии продолжать свою светскую жизнь и решила уйти. Она оставила Петербург навсегда, переселилась в деревню и стала заниматься своими именьями.

Таким образом, пути их, сведенные судьбой на короткий миг для неведомых нам, но, конечно, разумных целей, разошлись; казалось, навсегда.

Потекли годы за годами, прошли десятки лет, и они не встречались ни разу, но путям их суждено было сойтись снова, опять-таки для неведомых, но, конечно, нужных и важных целей.

Необходимо поместить здесь эту вторую встречу в дополнение к первой, но для этого надо прервать ненадолго хронологический порядок рассказа и перешагнуть через тридцать долгих лет.

Молодой кавалергард — уже немолодой генерал с большими седыми усами и с проседью на голове. Он получил назначение в Одессу, приехал туда из Петербурга, нанял квартиру и только что устроился на ней. В один прекрасный день, возвращаясь домой из своего управления, он застает жену с запиской в руках, которая гласит, что, увидав в газетах фамилию Дягилевых в числе членов общества сбора пожертвований на нужды Японской войны, старая знакомая * хочет принести свою лепту и обратиться за некоторыми справками, для чего явится лично, когда захотят ее принять, о чем просит известить.

Подписано было: Mary Herzenwitz (ci-devant Dolgorouki).[11]

Написали ответ, что очень рады будут встретиться и ждут завтра в три часа. На другой день в назначенное время она пришла.

Оказалось, что Марья Ивановна Герценвитц совершенно случайно находится в Одессе вследствие того, что дочь ее Loulou с мужем и ребенком не поехала по обыкновению на зиму за границу, а приехала в Одессу из своего именья в Херсонской губернии. На улице Гоголя отдавался в наем этаж в доме № 3, они его взяли и поселились прямо напротив дома № 4, в котором немного ранее поселился генерал Дягилев.

После первых объяснений настало молчанье, но не тягостное, не неловкое... Она прервала его, сказав своим мягким голосом: «Я написала ci devant Dolgorouki, потому что вы бы иначе не догадались, что это я... Я развелась с князем... Потом я вышла замуж... Два года я была счастлива, все два года, как первый день... Я вдова, мой муж умер... И теперь моя жизнь кончена».

Вот где сказалась простота этой женщины. В этих немногих словах, особенно в последних. Она сидела со сложенными на коленях

---

* Выше не было упомянуто, что княгиня была знакома со второй женой Поленьки в тот короткий промежуток времени, который протек между его женитьбой и ее отъездом из Петербурга.

руками, говорила тихо, застенчиво, как всегда... Не сделала ни одного жеста, ни одного возгласа; не волновалась, не нервничала, а у слушателей слезы подступили к горлу. Правда, что трудно себе представить образ более трагичный, чем тот, на который они смотрели. Поблекшее лицо, обрамленное черными еще волосами, глубокая морщина, пересекающая почти сросшиеся брови над узкими глазами с угрюмым неподвижным взглядом.

Опять помолчали, и опять она прервала молчанье, обращаясь к генералу: «Вы знаете?.. Я разделила все свое состояние между обеими дочерьми... Вы не знаете другую дочь, Веру. Вы знали только Loulou... А себе я оставила на билеты, чтобы ездить от одной дочери к другой... У меня ведь два внука».

И вдруг трагическая маска со сфинксовыми глазами осветилась доброй улыбкой, от которой все лицо оживилось и помолодело.

Собеседники провели вместе два часа совершенно незаметно и расстались с теплым чувством друг к другу. На другой день муж с женой отдали визит Марье Ивановне, познакомились с ее дочерью Ольгой Анатольевной (Loulou) и с зятем ее Михаилом Николаевичем Гербелем. Молодые супруги, в свою очередь, пришли на следующий день к соседям, ясно показывая, что рады знакомству с ними, и между домами № 3 и № 4 завязались приятельские отношения.

Как-то, сидя вечером у соседей, Марья Ивановна разговорилась и посвятила их в некоторые подробности своей жизни. Она встретила своего второго мужа Александра Ивановича Герценвитца в деревне, где, покинув Петербург, жила со своими детьми. Он был красивый, веселый, хороший музыкант, очень образованный человек, и вся округа его обожала. Он был мировой судья и жил по соседству с ней в своем именье. Они часто виделись и полюбили друг друга; но княгиня долго не решалась на развод из-за детей. Однако отец их так мало о них думал, что перестал даже и изредка заглядывать в деревню, ограничиваясь только требованьями денег, так как все состоянье принадлежало жене. Наконец она узнала, что князь сам затевает развод, чтобы жениться на танцовщице, тогда она решилась его предупредить.

Когда разводная канитель окончилась, она вышла замуж за любимого человека. Все были за них рады, сочувствовали им. После венца мужики выпрягли лошадей из коляски и свезли свою любимую парочку домой на себе. Счастье наконец пришло к Марье Ивановне... Но не надолго. Через два года она опять очутилась одна. Обожаемые ею дочери, разумеется, остались ей, но они уже выросли и жили своею жизнью.

Этот разговор положил основанье дружбе между Марьей Ивановной и обоими Дягилевыми. Она не сказала им прямо, но они почувствовали, что она нуждается в друзьях, что, несмотря на любовь к детям и внукам, она все-таки очень одинока. Тут наступил Великий пост, и новые друзья, не сговариваясь, начали говеть одновременно, о чем узнали, встретившись в церкви.

Они причастились вместе, потом втроем пошли тихо домой в свежее, ясное мартовское утро. Дойдя до своего подъезда, Дягилевы позвали Марью Ивановну войти выпить с ними чаю. Она минуту колебалась, потом вошла, и они молча сели втроем у стола с умиленными лицами и облегченными сердцами. Разошлись они скоро, тоже почти безмолвно, но навряд ли кто-нибудь из них забудет это благодатное утро. Может быть, для него-то и надо было им встретиться вновь?

В начале мая Гербели уехали на лето к себе в именье и до Николаева поплыли на пароходе. Марья же Ивановна, которая боится моря, не поехала с ними, а отправилась туда же по железной дороге. Проводив детей утром, она провела целый день у друзей, которые, в свою очередь, проводили ее вечером на вокзал.

Но перед тем как выехать из дому, между ними произошла коротенькая неожиданная сцена. Дягилевы сохранили старинный русский обычай присесть и помолиться перед расставаньем. И тут они сели, сосредоточились, потом встали, перекрестились и повернулись друг к другу, чтобы проститься. В эту минуту Марья Ивановна взяла одной рукой руку мужа, другой руку жены и, притянув их к себе, обратилась к жене с улыбкой и с полными слез глазами: «Теперь можно сказать... Я его любила... И потом всю жизнь свою думала о нем... Когда я встретила своего мужа, я его сначала полюбила потому, что он был похож на Павла Павловича».

Кто бы сумел сказать такую вещь, как сказала ее эта робкая немолодая женщина? Вышло, как будто так и надо было. Никакой неловкости, никакой фальши.

Все это промелькнуло быстро, тихо, точно во сне, и они совершенно просто вошли опять в колею обыденной жизни... Сели в ландо, поехали на вокзал, доставали купе... Считали вещи, поручали Марию Ивановну кондуктору...

Теперь вернемся назад, к прерванному рассказу. Мы остановились на зиме 1872 / 1873 г., когда при переезде с дачи в город все еще больше закрутилось.

У старухи все одно,
Все жужжит веретено
Развивается клубок,
И опять любовь, порок.

У Антиповых отношения все более и более обострялись. Появилось новое осложнение в лице жены брата Антипова, Прасковьи Дмитриевны. Она тоже была племянница Георгия Даниловича, дочь его сестры Марьи Даниловны Куприяновой. Паша, как называли ее в семье, была очень хорошенькая, миниатюрная блондинка, похожая на севрскую фигурку. Муж ее, Алексей Иванович,[12] был так же несносен, как и брат его, но не красив и не умен, как тот, и вдобавок ко всем своим минусам был еще заика и игрок. Если он сделал

хорошую «партию» (жена его кроме красоты и ума принесла ему еще и состоянье), то про нее нельзя сказать того же самого. На ее тонком личике около рта скоро показались две горькие складки, которые могли бы, вероятно, разгладить детские ручки, но детей не было.

На правах кузена Коля Кубитович зачастил к Паше и взбудоражил этим не только ее мужа, но и Наталью Павловну. Этот флирт (дальше флирта Прасковья Дмитриевна не переступала, фактически храня упорную верность нелюбимому мужу) поселил вражду между невестками и раздул страсть Натальи Павловны. Она из ревности бросила всякую осторожность и пренебрегала всем, лишь бы видеться с Кубитовичем. Часто устраивались свиданья у Мариши, что подало потом повод Александру Ивановичу обвинять последнюю. Нечего и говорить, что обвиненья эти были несправедливы <...>[13]

Нянюшка, Авдотья Александровна, рассказывает случай, происшедший у нее на глазах. Марья Павловна куда-то собралась... Приезжает к ней Наталья Павловна; узнав, что сестра уезжает, она не задерживает ее, наоборот, уговаривает ее ехать: «А я поиграю немного с Сережей и пойду». Марья Павловна беззаботно уходит. Как только она за дверь, Кубитович в дверь. Пользуясь отсутствием хозяина, усаживаются в кабинете Полюшки,[14] но беседа их скоро прерывается диким звонком с подъезда. Наталья Павловна еле-еле успела потушить лампу и вытолкнуть Кубитовича в заднюю комнату, когда в передней раздался голос Александра Ивановича, и он влетел в бешеном припадке ревности. Посыпались упреки, угрозы, но Наталья Павловна очень искусно сумела свернуть вину на мужа и, уходя вместе с ним, выговаривала ему даже: «Ты всегда так: слышишь звон и не знаешь где он». Точно сцена из «Виндзорских кумушек».[15]

Однако долго длиться так не могло. Кончилось все-таки крупным скандалом. Наталья Павловна убежала от мужа и пришла просить приюта у матери, которую Александр Иванович тоже впоследствии обвинял в заведомом прикрывании Таленьки. Он хорошо знал Анну Ивановну и, конечно, в душе был убежден, что ничего подобного быть не могло, но именно оттого-то он и понимал отлично, что ужаснее и больнее обвиненья нельзя было придумать для Анны Ивановны. Оно сделалось кошмаром ее жизни.

Разумеется, имей она хоть малейшее подозрение о каком-нибудь романе, Таленьке пришлось бы круто, но она приняла дочь, вполне веря, что дурной характер Александра Ивановича, а, главное, совместное житье со свекровью и с золовкой были причиной окончательного разрыва Таленьки с мужем, настолько верила, что пустилась хлопотать о возвращении матери детей, которых отец не давал. Удалось устроить и это. Характер Александра Ивановича был известен. Третье отделение Собственной его величества канцелярии, в которой было отделение для тайных семейных дел, присудило отнять у него детей и отдать матери. Анна Ивановна с полной наивностью прижала к сердцу дочь и ее трех прелестных девочек.

Остальные члены семьи, хоть и менее наивные, чем Анна Ивановна, в этом случае все-таки все хлопотали, все заботились устроить жизнь Таленьки, оградить ее от мужа. Многие из них догадывались, что происходит, и старались удержать сестру, повлиять на нее, тем более что увлечение Кубитовича поостыло. У него явилась даже новая вспышка. Он пленился Марией Гейбович, стал часто бывать у нее, пускаться в откровенности, даже жаловаться на судьбу, что связался так опрометчиво с женщиной старше себя. Гейбович передала все это Павлу Павловичу, который вместе с Маришей предупредили Таленьку. «Пускай она скажет мне это в глаза и при нем, — сказала Таленька, — иначе не поверю».

Тогда, с целью открыть Таленьке правду, было устроено ей свиданье с Гейбович у Донона;[16] были заказаны два отдельных кабинета рядом. В один из них поехали ужинать Мариша, Таленька и Кубитович. В другом ужинал Поленька с Гейбович и с Кокушкой. В известный момент, как было условленно, дверь между двумя кабинетами открылась, и на пороге показалась Гейбович.

Она разыграла свою роль с таким эффектом, что невольно приходит в голову, не ей ли принадлежал весь этот театральный замысел. Красивая, нарядная, она подошла прямо к Наталье Павловне и с неподражаемой грацией и манерностью настоящей польки опустилась перед ней на колени.

Достоевский говорил, что надо прощать людям их жалкие слова, они находят в них много утешения. К числу таких жалких слов отнесем и коленопреклонение и вступление речи Гейбович. «Не иначе, как так, могу я стоять перед честной женщиной, — сказала она, — пришла я сюда, чтобы открыть вам глаза на человека, которого вы считаете достойным. Свидетельствую перед ним, что он домогался моей любви, и вот в доказательство вам его письмо ко мне».

Кубитович не возразил ни слова, а Наталья Павловна запальчиво ответила, что не верит и что даже если бы своими глазами увидала, и то бы не поверила. На это Кубитович сделал «хе, хе, хе». Гейбович встала и вышла вон. Этим весь инцидент и кончился, ничего не изменив в отношении Натальи Павловны к Кубитовичу.

Бурная зима пролетела, и весна принесла скромный цветок романа Юленьки. Молодой полковник Генерального штаба, Петр Дмитриевич Паренсов, увидавший ее в первый раз в Селищинках, где он читал военные науки, пленился ею. Он часто рассказывает, что, стоя на панихиде по Евгении Николаевне, увидал перед собой прелестную косу Юленьки, и все время любовался ею, не зная еще, кому она принадлежит. Зимой он был переведен на службу в Петербург; бывал у Мариши, встречал там Юленьку, потом попал в дом и к Анне Ивановне; а 18 мая, в день Юленькиных именин, сделал ей предложение.

В семье были так напуганы прежними историями, сопровождавшими все свадьбы, что, страха ради, скрыли от Анны Ивановны это событие. Оказалось потом, что она все заметила и промолчала, по-

тому ли, что не могла забыть историю Жени́, или потому, что на этот раз не имела ничего против... Не только промолчала, а смотрела все лето сквозь пальцы на письма, которые Юленька получала, якобы тайно, от жениха в Бикбарде.

Анна Ивановна уехала туда в конце мая с двумя дочерьми, Юленькой и Таленькой. Последнюю с тремя девочками решено было поселить на житье в Перми, при дедушке Павле Дмитриевиче. Так и сделали.

Осенью Анна Ивановна вернулась в Петербург с одной Юленькой. Так как было еще рано и погода стояла хорошая, то Юленька была отправлена к Марише в Любань. А там уже сидел и ждал жених. Поленька и Мариша опять нанимали вместе дачу, на этот раз в Любани.

Тут и решилась судьба Юленьки. Анна Ивановна приехала тоже в Любань через несколько дней. Петр Дмитриевич Паренсов ждал ее с большим волненьем, как рассказывает опять-таки няня Авдотья Александровна, делавшая свои наблюденья, похаживая с Сережей на руках. Удостоверившись, что мамаша в духе, жениха подбодрили пойти на объяснения с ней. Согласие было дано условное, в зависимости от согласия Павла Дмитриевича; но никто не сомневался, что из Перми задержки не выйдет, и на сцену появилось шампанское...

Свадьбу не откладывали в долгий ящик. Павел Дмитриевич прислал благословение и скоро приехал сам; а венчали Юленьку 28 октября 1873 года в церкви у великого князя Николая Николаевича, который был посаженным отцом у Паренсова. Когда невеста подъехала к крыльцу, то оказалось невозможным открыть дверцу кареты. Она не поддалась ни на какие усилия. Пришлось отъехать, завернуть и подъехать с другой стороны.

6

Un di, se ben ramento mi.[1]

Квартет Риголетто. Опера Верди.

Царское Село.
15 сентября 1873 г.

Здравствуй, мое сокровище Лелеша,[2] ну, как поживаешь? что делаешь? что папа? что княгиня и барон**? Папу и княгиню поцелуй за меня, а барону пожми, что силы есть, за меня руку. Мы на твое имя получили письмо от княгини. Я распечатала. Pardon mademoiselle.[3] Княгиня хочет зимой приехать в Петербург. Скажи ей, чтобы она у нас остановилась, иначе я и слышать ничего не хочу. У нас погода чудесная, сегодня тепло, как в июле, не хуже вашего Крыма. А вчера мы были на закрытии***. Народу гибель, духота, ослепительное освещение и трескотня. Nous avons étés entouré de casquettes blanches.[4] Все кавалергарды. Нам представили нового — Дягилева. Очень симпатичного вида, вдовец. Шарик**** a été mélancolique,[5] головка или животик болит, едва улыбался, едва говорил. Пригласила его чай пить, Je suis engagé, merci![6] Глупо. Я разозлилась. Саша [7] всполошилась...*

И т. д., и т. д. ...

Письмо это от своей матери читала двадцатилетняя девушка, стоя на балконе ялтинской гостиницы. Только что она пробежала глазами мимолетную фразу, относящуюся до Дягилева, которого она никогда не видала, как ей явилось... одно слово. Не умею найти другого выраженья, как «явилось», для определенья случившегося, потому что ей не послышался голос, не представились начертанные буквы,

---

* Княгиня Марья Ивановна Голицына.
** Барон Андрей Львович Врангель.
*** Музыкального сезона на вокзале в Павловске.
**** Так прозвали почему-то графа Мориса Нирода.

не подумалось, а точно вдруг совсем неожиданно упало откуда-то извне в ее сознание слово «он».

Всего одно это слово, но твердо... Ясно.

Тому, кто недоверчиво улыбнется над этими строками, охотно прощается его недоверие. Трудно поверить, не испытав чего-нибудь подобного, и, даже испытав, можно не сразу понять, как и случилось с той, о которой идет речь.

Она никому не сказала ни слова, не то стыдясь, не то смеясь про себя над этим, а потом и забыла о случившемся. Она вспомнила эту минуту и поняла ее вещее значение гораздо позже.

Этой девушке суждено было стать второй женой Павла Дягилева.

Как видно из вышеприведенного письма, он познакомился с ее матерью и двумя меньшими сестрами во время ее отсутствия в Крыму, куда она ездила с больным отцом.[8] Кавалергардский полк стоял эту осень на траве [9] в Лисине, именьи Лярских, недалеко от Павловска. Дягилев возвращался оттуда с дежурства. Приехал он на тройке на Павловский вокзал, чтобы попасть в город по железной дороге, а на вокзале наткнулся на товарищей и остался с ними обедать.

Вечером, когда публика съехалась на музыку, один из офицеров, Николай Родзянко, увидал своих кузин Сашу и Лину [10] Панаевых с матерью,[11] сидящих у колонн, как была тогда мода, и окруженных знакомыми. Он пошел к ним и потащил Дягилева с собой знакомить его с «хорошенькими барышнями». Тот поколебался сначала, потому что был с дежурства в старом мундире, да, кроме того, после веселого обеда с товарищами, но Родзянко настаивал, и он пошел. Несмотря на эти недочеты, судя по словам письма Софьи Михайловны Панаевой к дочери, впечатление, произведенное на дам, было благоприятное.

Когда через месяц после этого старшая сестра вернулась с отцом в Петербург, меньшие много рассказывали ей животрепещущих новостей о своих личных делах. Одна из них была почти невестой, у другой девический роман тоже в полном разгаре, так что о Дягилеве упомянули только вскользь, говоря, что он сделал визит и что на него можно рассчитывать для любительского спектакля, так как говорят, что он поет. Последнее узналось от его товарища кавалергарда, жениха Лины.[12]

Сезон только что начался, но итальянская опера, которая в то время царила в Петербурге, привлекала уже, по обыкновению, массу публики. Панаевы были абонированы два раза в неделю: в понедельник в первый абонемент, который считался самым шикарным, так как на нем всегда бывал государь [13] и царская фамилия, и в среду. В ближайшую среду после возвращения из Крыма Валерьян Александрович Панаев поехал в оперу с тремя дочерьми. Они занимали ложу первого яруса.

Саша и Лина сели впереди, отец и старшая дочь, Леля, сзади. Какая шла опера, летописец об этом умалчивает... Но все было пол-

но, нарядно, весело. В антрактах движение в партере громадное... Уходили, приходили, подходили к ложам бенуара и первого яруса...

Вот вошел и остановился в середине прохода кавалергардский офицер привлекательной наружности. Он держит свою белую фуражку приплюснутой как-то под локтем и поглядывает направо, налево, вверх, вниз, как будто у себя дома. Старшая Панаева наклоняется к сестре Саше и, заставив ее отыскать глазами кавалергарда, спрашивает: «Это Дягилев?» В эту минуту, как бы в ответ на ее вопрос, кавалергард с приплюснутой фуражкой взглянул в их ложу и поклонился издали. Саша отдала поклон и сказала: «Да, это Дягилев; а почему ты узнала?» Ответ был самый неосновательный: «Так... Сама не знаю».

Она и действительно не знала. Мелькнуло в голове: «Вот Дягилев». Спросила сестру и была уверена, что та ответит утвердительно. Во время действия она опять нечаянно увидела его в ложе бельэтажа сзади незнакомых дам, между которыми одна была декольте, в розовом фае с отделкой из раковин. Это была Юленька Паренсова в полном параде новобрачной.

Вскоре после этого Дягилев был приглашен на танцевальный вечер к Панаевым и на этом вечере познакомился со своей будущей женой.

Подъехал он довольно поздно к небольшому особняку на Фурштатской, отлично ему знакомому, потому что когда-то он сам жил в нем, вошел по уютной невысокой лестнице, устланной зеленым бархатным ковром, убранной растениями, и остановился на пороге миленькой светлой залы с серебряной мебелью, обитой голубым штофом, зеркалами в серебряных рамах и серебряной люстрой... Танцы были уже в полном разгаре, и он долго простоял в дверях, рассеянно поглядывая на них. Вместо приплюснутой фуражки он держал медную каску, был очень наряден, в виц-мундире, но вид у него был такой же: не то небрежный, не то домашний, как в опере.

Он не подозревал о существовании третьей, незнакомой ему, девицы Панаевой и узнал о ней только в течение вечера, спросив у кого-то, кто такая барышня в белом кисейном платье на зеленом чехле в дверях столовой. Оказалось, одна из хозяек дома. Представил его тот же Николай Родзянко. Он всегда дирижировал танцами у Панаевых. Узнав из разговора со старшей кузиной, что она не знакома с Дягилевым, он ужаснулся и побежал за ним. Это было уже почти под конец вечера. Подводя его, Коля Родзянко сказал: «Это наш милый Павел Павлович, прошу любить да жаловать».

Никто бы не догадался тогда, что просьбе этой суждено быть исполненной. Они молча постояли немного посреди залы, потом отодвинулись к камину, чтобы дать место вальсирующим, и он сквозь зубы задумчиво проговорил: «Jadis j'ai beaucoup dansé».[14]

Она ничего на это не ответила и скоро отошла от него исполнять свои хозяйские обязанности, снабжать девиц кавалерами, угощать и т. п. Они не сказали друг другу больше ни слова и не танцевали вместе.

На другой день, когда семья Панаевых собралась к завтраку, все были удивлены веселому настроению хозяина дома. Хотя в состоянии его здоровья произошло заметное улучшение, особенно во время последней поездки в Крым, он все-таки еще не освободился от тяжкой болезни, так долго его промучившей, и был под давлением ее обыкновенно в самом мрачном настроении. Приемы часто только раздражали его, но он тем не менее просиживал всегда ночи напролет, когда бывали гости, и ни за что в этих случаях не хотел удалиться к себе вниз, где находились его кабинет, спальная и билиардная.

В тот вечер, о котором идет речь, он по обыкновению спустился к себе только после разъезда и застал несколько разгоряченных танцоров, отдыхающих в билиардной. Гостеприимство взяло верх над обычной хандрой, и Валерьян Александрович велел подать своим гостям шампанского. Между ними был Дягилев. Он стал рассказывать анекдоты, его окружили, поднялся смех... Потом он сел за пианино и запел цыганские и русские песни. Валерьян Александрович всегда очень любил их... Он разошелся, потребовал какую-то арию, в которой певец взял верхнее «ut»...[15] Тогда уже Валерьян Александрович окончательно развеселился, велел принести еще вина, и компания внизу просидела до белого утра.

Таким образом Павел Павлович совершил бессознательно неожиданную и трудную победу благодаря своему тенору и своей веселости. Другие боялись мрачности хозяина дома, избегали его, терялись перед ним, и это его страшно раздражало. Новый же гость и в ус не дул: пел, пил и болтал, как ни в чем ни бывало.

Зная, как со времени своей болезни отец относится подозрительно и враждебно ко всем почти, бывающим в доме, особенно к молодым людям, в которых он видел только искателей богатых невест, дочери не могли не удивиться похвалам, доставшимся на долю Дягилева за этим завтраком.

«Единственный из всех ваших кавалеров... Симпатичный... Красивый... Прелестный голос... Прекрасные глаза... А не на жидовской розовой подкладке, как у ваших Нinfirodов, иродов, фиродов... Прокричали — красавец, красавец!.. С больными глазами, змеиная голова, приплюснутая на макушке...»

Граф Нирод, который действительно славился красотой, как, впрочем, все члены этой семьи, пользовался особенным нерасположением Валерьяна Александровича <...>[16]

Несмотря на то, что Софья Михайловна покровительствовала Нироду, она в этот период первоначального знакомства с Дягилевым часто говорила про него: «Вот хороший жених для Саши... Татик,[17] брось Шарика... Дягилев отличный жених». Но Татик и не слушал тех речей.

Девицы Панаевы любили устраивать у себя спектакли, а друзья их, брат и сестра Евреиновы (Алеша и Маша) [18], еще больше любили это дело и ежегодно подталкивали его, если оно почему-нибудь замешкивалось. Давно уже им хотелось поставить пьесу с пением для Саши, голос которой начинал уже свою карьеру очарования, но ме-

шало всегда то, что не находилось поющих мужчин. После свидетельства отца о голосе Дягилева было решено завербовать его в актеры. Спросить его согласие поручили графу Шуленбургу, который во время трехмесячного ожидания, положенного ему для получения ответа на предложение его Лине, входил уже понемногу в права жениха и бывал почти ежедневно. Шуленбург принес утвердительный ответ.

Когда пьесы были выбраны, Дягилеву дали знать, но он не явился на считку. Старшая Панаева,[19] на которую возложены были все хлопоты о спектакле, выразила сомнение насчет желания Дягилева участвовать, но Шуленбург заволновался и рассыпался за товарища в увереньях, о которых тот, конечно, не подозревал, судя по тому, что описано было о нем в предыдущей главе. Шуленбург настоял даже на том, чтобы послать роль Дягилеву, и взял на себя исполнение и этого.

Начались репетиции... Дягилев не показывается... Леля Панаева волнуется — исключительно с режиссерской точки зрения; волнуется, что не успеют спеться, сыграться, что пропускаются целые сцены благодаря отсутствию одного из главных действующих лиц... Но, к величайшему ее изумлению, все точно сговорились не верить этим причинам и начинают поддразнивать ее, что «его» все нет и нет.

Поддразниванье сильно разрослось по следующему случаю. Раз вечером сидели Панаевы у себя в гостиной. Кроме Евреиновых никого не было. Работали, переписывали роли, болтали... Вдруг кто-то вошел в залу, походил, походил... Потом вошел в маленькую лиловую гостиную, и вот входит в большую, где кругом стола под абажуром находится вся компания... Смотрят... Перед ними стоит незнакомый молодой человек... Какой-то Адонис с картины. Все удивлены... Но он без всякого смущенья и замешательства, с каким-то детским нахальством и почти детским голосом объясняет им, в чем дело. Швейцар пустил его наверх, а наверху не оказалось человека, чтобы доложить о нем... Он — Николай Дягилев, брат Павла Павловича, и пришел по его поручению (извиняется, что вечером, но готовится к экзамену, кончая университет, целые сутки занят и выбегает только вечером пройтись). Павел Павлович присылает свою роль назад и очень жалеет, что должен изменить своему обещанию.

«Что я говорила?» — сказал взгляд Лели, брошенный на сестер и на Машу Евреинову... Николаю же Дягилеву она заметила: «Я так и думала, что вашему брату будет некогда». — «Ему не некогда, — отвечал Кокушка Дягилев, — а он был вынужден уехать из Петербурга... Ненадолго... Он просил передать роль, если вы найдете кем заменить его, если же нет и вы захотите подождать его возвращения, то я унесу роль назад». — «Если ваш брат отказывается не потому, что ему не хочется, то мы подождем его... Но нам неприятно было бы навязывать ему роль... Может быть, ему вовсе не хочется играть?» — «Нет, он хочет», — с некоторым удивлением произнес Кокушка.

Он посидел еще немного, поговорил, как будто сто лет знал всех своих собеседников, потом простился. Только что он успел выйти из большой гостиной в маленькую, как Маша Евреинова громко вскрикнула: «Какой красавец». Возглас этот был заглушен шиканьем от страха, что его услышит виновник Машиного восторга, но когда шаги его уже затихли, то все присоединились к ней.

Действительно, Николай Дягилев был тогда красавцем. К сожалению, он скоро огрубел и утратил вследствие этого большую часть своей прелести, но в эту пору нельзя было при встрече с ним не поразиться его красотой. Удивились также Панаевы и Евреиновы сходству между братьями, сходству, заключающемуся в чем-то неуловимом, что гораздо больше обличало их родство, чем сделала бы одинаковость. Последней не было. Меньшой брат был выше, имел цвет лица девушки, волнистые блестящие черные волосы, маленький точеный нос... Старший, наоборот, имел крупные черты и цвет лица, редко терявший оттенок коричневого загара. Только лоб, обрамленный тоже черными волосами, оставался всегда белым. Ростом он был ниже, но как-то мужественнее и ловчее сложен.

Итак, решено было ждать возвращения Дягилева из его таинственной поездки «куда-то, ненадолго». Спектакль был отложен, и когда на вопросы «почему», отвечали, что ждут Дягилева... Все друзья и близкие дома взяли привычку оборачиваться к несчастной Леле и спрашивать, смеясь: «Где же Дягилев?»

А он в это время скакал за тысячу верст от театров и девиц. Тройка его неслась по зимним белым полям, по скользким косогорам, по ухабам замерзшей Волги... Навстречу к нему неслась другая тройка, тоже по снежным сугробам, косогорам и ухабам замерзшей Камы. Она везла угрюмого, озабоченного Павла Дмитриевича в погоню за дочерью.

В одну ноябрьскую ненастную ночь Наталья Павловна уехала потихоньку из Перми, оставив там своих детей. Когда это открылось, старик сам бросился догонять дочь, а извещенная им телеграммой петербургская часть семьи поспешно отрядила от себя Поленьку ловить сестру. Ей некуда было ехать иначе, как на Нижний, так как тогда еще железная дорога начиналась только у Нижнего, а до него тянулся Сибирский тракт — известная Владимирка.

Оба гонца встретились в Казани, и беглянка оказалась тут же. Она волей-неволей остановилась отдыхать, так как ырянье по ухабам грозило ускорить катастрофу, неизбежность которой и была причиной бегства Таленьки из родительского дома.

Первый настиг ее отец. Подъехав в Казани к гостинице и узнав, что дочь тут, он вздохнул свободнее и пошел прямо к ней в номер. Она лежала на диване в капоте, отдыхала... Она не могла, разумеется, не знать, что ей предстоят счеты с родителями, но это все впереди... Там... Потом... Когда-нибудь... Ей в голову не приходило, что это может случиться здесь, сейчас. Каково же было ее удивление, когда дверь из коридора открылась и в комнату вошел Павел Дмитриевич. Она широко открыла свои «плошки», как брат Иван

называл ее глаза вследствие их круглоты, открыла рот и, не выговорив ни слова, расхохоталась.

Старик был оглушен этим приемом, как обухом по голове. Он сам рассказывал мне, что ожидал гнева, слез или молчанья... Или обморока... Что угодно, только не этого, прыснувшего ему навстречу, смеха, по-моему, вероятно, истеричного. Но ему это не приходило в голову. Он стоял перед ней и опомниться не мог.

Вслед за отцом прискакал в Казань и Павел Павлович.

Припертая к стене, Наталья Павловна объявила, что едет в Москву родить. Возражать на это было нечего. Все три путешественника переночевали в Казани, и на другое утро Наталья Павловна поехала дальше уже под конвоем брата, а Павел Дмитриевич повернул оглобли в Пермь. Он никогда больше не видал дочери, хотя прощаясь, сказал ей, чтобы она помнила в тяжелые минуты жизни, что у нее всегда есть приют в доме отца.

В Москве Наталья Павловна рассталась с братом. Ее ждал там Кубитович, как потом оказалось, было условлено между ними. Пребывание в Перми было принято ею вовсе не навсегда, как она предоставила всем думать, а только на время, пока Николай Николаевич сдавал свои последние университетские экзамены. Тут же в Москве родился скоро их старший сын — Коля, и с этого времени Наталья Павловна стала открыто жить с Кубитовичем. Кокушка вызвал было его на дуэль, но тот ответил, что стреляться ни с кем из Дягилевых не будет... Если хотят, пускай его убьют, но сам он на них не подымет руки.

Ужас Анны Ивановны и горькое торжество Александра Ивановича [20] были на одинаковой высоте. Он криком требовал назад своих детей и закидывал грязью всех Дягилевых — заочно, конечно, перед ними не появляясь. Павел Дмитриевич и Анна Ивановна понимали, что не имеют права ни минуты больше удерживать при себе своих внучек Антиповых, тем не менее девочкам пришлось все-таки дожить зиму в Перми, в ожидании открытия навигации по Каме и Волге.

Старшей [21] из них было тогда десять или одиннадцать лет. Говорят, что нестерпимо было смотреть на ее слезы и страданья, когда она узнала, что мать их покинула. Она долго не верила этому и, рыдая, звала ее. Есть ли на земле счастье, за которое стоило бы заплатить такими слезами?

Весной дети вернулись к отцу, который посвятил им остаток своих дней, все время жадно и ревниво оберегая их от всякого соприкосновения с Дягилевыми... Даже от случайной встречи с ними. Когда Таточка (старшая) поступила в Смольный институт, там были даны инструкции начальнице и классным дамам, чтобы ни под каким предлогом к ней никогда не допускался никто из семьи ее матери. Кстати тут будь сказано: несмотря на все эти предосторожности, дочери его вышли подчеркнутыми образчиками дягилевского типа. Старшая и меньшая обе больше похожи на тетку Паренсову, чем на мать. Удивительно не это, а то, что когда они выросли, у

них оказались дягилевские манеры, привычки, дягилевские словечки, дягилевский юмор, как будто они провели всю жизнь среди дядей, теток, двоюродных братьев и сестер...

Вернувшись в Петербург после своего катанья в Казань, Павел Павлович узнал, что спектакль, который совершенно вылетел у него из головы, отложен в ожидании его возвращения. Известие это свалилось ему, как снег на голову. Нечего было делать. Выбрав свободную минутку (известно, как это трудно в Петербурге маломальски выезжающему человеку), он пошел на Фурштатскую тоже вечером, как брат, и застал тоже всех под абажуром. И в этот раз он опять угодил Валерьяну Александровичу.

«Пришел запросто... Не ломается, не кривляется, не важничает, как все ваши Нироды, ироды, фироды... Расспросил, где будет сцена, пошел посмотреть, предложил свои услуги помочь...»

Но старшей дочери Валерьяна Александровича Дягилев менее угодил, чем ему, потому что, осмотрев в столовой место за аркой, на котором всегда устраивалась сцена, он нашел, что оно слишком мало. Однако предложенными услугами его воспользовались: касательно аккомпаниатора для малороссийской оперетки «Москаль-чарівнік»,[22] в которой сам он должен был участвовать.

Он обещался привезти прекрасного музыканта, Николая Федоровича Свирского, и на следующую репетицию действительно явился с ним. Это был студент, малорос — в слишком узком и потертом сюртуке, в сереньком белье, весь тускловатый, грязноватый, прыщеватый, с длинными пыльными волосами на большой голове и с вечно осклабленными толстыми губами. Его представили, как репетитора детей Марии Павловны,[23] живущего у нее в доме. Он сразу был поставлен на надлежащую ногу в обществе благодаря тому, что введший его Павел Павлович не помышлял стесняться отсутствием его элегантности, был с ним «на ты» и совсем по-приятельски. Его редкий музыкальный талант был оценен вполне, и он сделался присяжным аккомпаниатором Александры Валерьяновны [24] на многие годы. Ему даже удавалось пожинать лавры вместе с нею — так идеально он исполнял свою роль.

Плоховал он только тогда, когда совершенно растает от восторга, — заплачет и растеряется. В таких случаях он получал удары по пальцам от певицы, но это мало помогало, потому что он тогда еще больше таял и еще больше влюблялся.

Спектакль состоялся 27 декабря, предшествуемый рядом репетиций, на которых Павел Павлович стал аккуратно бывать и сближаться с семьей Панаевых. Неиссякаемая находчивость его добродушного юмора составляла главное веселье чаепитий после репетиций. Смех стоял стоном. Лина Панаева, серьезная, даже на вид холодная, и та доходила до изнеможения от хохота и, задыхаясь, просила: «Довольно, довольно, перестаньте, я больше не могу».

27 декабря был вечер с приключениями и полный волнения для девиц Панаевых. Актеры съехались к назначенному часу, началось одеванье, беготня парикмахера, обыкновенная, веселая, закулисная

суета.. Все налицо, кроме участников малороссийской оперетки. Дягилев, Нирод, Евреинов и Свирский отсутствуют. Наступает время начинать, их нет... Правда, «Москаль-чарівнік» идет вторым номером, но у Евреинова большая роль и в первой пьесе. Леля Панаева постоянно выбегает в переднюю и с беспокойством поглядывает в широкое окно, настежь открытое на лестницу. Вместо ожидаемых актеров она видит, к ужасу своему, как мало-помалу начинают съезжаться зрители. На площадке, убранной растениями, показываются пышные легкие платья (по тогдашней моде), за ними фраки, мундиры...

У окна появляется рядом с Лелей Маша Евреинова. Главная ее забота — скрыть от строгого отца неаккуратность брата. Ее отец — высокий, с бритым начисто лицом, Владимир Иванович — всегда первый приезжает на вечера к Панаевым и прогуливается в пустых гостиных с еще открытыми форточками. Он забредает в мужскую уборную и там немедленно узнает об отсутствии сына. Его негодующая физиономия присоединяется к двум другим у окна и первая встречает взгляд Алешеньки, когда он, наконец, влетает на лестницу — беззаботен и весел... Увы, слишком весел. Это сейчас же обнаруживается.

Град упреков сыплется ему на голову, но вместо извинений и объяснений он с места закусывает удила, вытягивает во всю длину свою бесконечно длинную фигуру и объявляет: «Если так, я ухожу и играть не буду».

Видя, что дело плохо, Владимир Иванович благоразумно отходит, по обыкновению предоставляя Машеньке выпутываться из трудного положения. Вдвоем с Лелей ей удалось побороть упрямство подгулявшего мальчишки. Он великодушно согласился выйти на сцену, но до последней минуты пугал их тем, что все равно он не помнит ни единого слова из своей роли.

Оказалось потом из исповеди Алешеньки перед сестрой, что нашли необходимым для Нирода еще позубрить недававшуюся ему музыкальную часть его роли, и с этой целью весь состав «Москаля-чарівніка» собрался в Татарском ресторане в кабинете с пианино. Там репетировали куплеты «Солдат я не плохой, зовут меня лихой». Там же и пообедали. Студенту Алешеньке Евреинову обеды с шампанским были еще непривычны, он быстро охмелел, а когда другие поехали освежиться на воздух, ему пришлось надевать фрак и спешить к первой пьесе. Вскоре появились остальные: чистенькие, свеженькие, как ни в чем ни бывало, и представление началось с опозданием даже против обыкновенного любительского.

Убедившись, что Алешенька прекрасно бегает по сцене с каминными щипцами в руках и говорит все, что ему при этом полагается, разве только с большим одушевлением, чем всегда, Маша и Леля вздохнули с облегчением и побежали в уборную подгонять дела там для следующей пьесы.

В это самое время в пустой гостиной, на противоположном конце от столовой, набитой битком публикой, происходило окончательное

объяснение между Линой и Шуленбургом. Он ждал ответа на свое предложение с сентября и теперь, очутившись наедине с ней, стал умолять решить его судьбу сегодня же — сейчас. Она дала ему слово, прося пока не объявлять никому, но через несколько минут домашние уже шептали между собой: «Лина невеста... Лина невеста...»

Софья Михайловна сама, мимоходом через уборную девиц, шепнула это старшим дочерям... Узнала Маша Евреинова... Узнал Яшенька Карель, преданный друг сестер и безнадежный обожатель Саши Панаевой... Узнала, разумеется, как всегда, своим чутьем прислуга... Все были потрясены... Шуленбург никому не нравился. Яшенька ловил сестер невесты, чтобы изливать перед ними свое отчаянье, и ломал себе руки. Струя волнения пробежала по всему дому. Представление кончилось при особом одушевлении актеров, переданном публике. Начались танцы прямо с бурной мазурки, и навряд ли самые даже случайные и равнодушные из гостей не почувствовали приподнятого, возбужденного настроения этого вечера. Все точно вышли из своей тарелки. Припоминали потом, что даже Оля Панаева, двоюродная сестра хозяек, прелестная маленькая брюнетка, никогда не танцевавшая и проповедавшая чуть ли не монастырское уединенье, порхала до поздней ночи, скорее, до белого утра.

Пока в зале шли танцы под заразительно веселым дирижерством Дягилева, в столовой поспешно убирали сцену и накрывали столы к ужину. Для участвовавших в спектакле был приготовлен отдельный стол, но при этом распоряжении было упущено из виду, что актеры и актрисы не исключительно будут танцевать между собой, что некоторые из них могут танцевать со зрителями и идти со своим кавалером или дамой к ужину. Так и случилось. Когда уселись за стол танцевавшие мазурку, оказалось, что для нескольких участвовавших в спектакле, но не в танцах, не нашлось за актерским столом места. Алешенька Евреинов, который очутился в этом числе, прибежал с жалобой к старшей сестре Панаевой, сидевшей уже у конца стола между кавалером Павлом Павловичем и Машей Евреиновой; она сейчас же вскочила и пошла с Алешенькой. Кучка молодых людей, большею частью хороших знакомых дома, стояла посреди залы. Она пригласила их в гостиную, где был накрыт запасный стол, извиняясь, объяснила, как случилось, что не все актеры попали за свой стол, и пошла назад. Но человек пять-шесть с Евреиновым во главе последовали за ней, остановили ее и заговорили вместе, что им обидно... Евреинов возвысил возмущенно голос и объявил от имени всех остальных, что они не согласны сидеть в гостиной... Окончательно отказываются... Алешенька был в доме на положении почти брата, так что ему хозяйка могла ответить: «Вы забываетесь...»

Никто не возразил на это, и все пошли ужинать в гостиную, но девица так взволновалась усмирением бунтовщиков, что вернулась на свое место потрясенная. Сосед справа ничего не спросил... Соседка слева сейчас, не давая опомниться, сказала: «Что с тобой?» Та

вполголоса в коротких словах описала дело. Вдруг Маша Евреинова закипятилась и начала упрекать подругу: «Какое невниманье, какая нераспорядительность... О чем ты думала? Разве так можно?..» Слезы сжали горло бедной виновной хозяйке и, к отчаянью своему, она почувствовала, что они подступают к глазам... Последний позор... Хуже этого уже ничего не может быть... Убежать из-за стола?.. Нет, нет... Сидеть, выдержать... Только бы не заметил никто... И вдруг в эту страшную минуту, когда она буквально не знала, куда девать глаза, боясь даже слишком опустить веки, чтобы не дать слезе скатиться, она услыхала голос своего соседа: «Как хорош месье Петух, как он важно выступает, как нарядом щеголяет, виден в нем геройский дух. Он отважен и удал, и красив на загляденье...» и т. д.

Это были стихи из детской иллюстрированной книжки, которые всегда очень смешили всех и часто декламировались на репетициях. Павел Павлович говорил их наизусть целыми страницами: про Федюшку-мальчишку злого, про шпица, про трудолюбивого зяблика... Но любимейшая история была про петуха, наказанного за то, что «слишком нос он задирал». Голос был так знаменательно добр, что она решилась взглянуть на говорящего, хоть и с мокрыми глазами. Ее встретила улыбка такой же доброты и добрые-добрые глаза, ясно говорящие: «Выручу, выручу».

К новому 1874-му году, после трехдневного отчаянного сопротивленья со стороны отца, Лина была объявлена официально невестой, а через месяц, 30 января, состоялась блестящая свадьба со всем Кавалергардским полком, большим обедом и т. д. Молодые уехали в тот же вечер сначала к себе в Черниговскую губернию, где жил отец Шуленбурга, а потом за границу.

Отъезд молодых не оставил никакого затишья у Панаевых: новый ряд развлечений заменил предсвадебные приемы и выезды. Панаевы принимали обыкновенно по воскресеньям вечером запросто. По традициям еще детских времен барышни устраивали иногда petits jeux,[25] иногда танцы. (Petits jeux еще водились в обществе тридцать лет тому назад.) Под влиянием Дягилева и Свирского, сделавшимися постоянными посетителями воскресений на Фурштатской, игры «в мнения», «в веревочку», «в свои соседи» были сданы в архив; вместо них воцарилась музыка.

Саша Панаева пела много, Дягилев тоже охотно пел, они стали петь дуэты; потом пришло в голову устроить morceaux d'ensemble.[26] У Лели Панаевой был контральт... Лили Джунковская, подруга Саши по урокам пения мадам Ниссен-Саломон,[27] было меццо-сопрано... Нашелся бас — некто Владислав Осипович Михневич; и, наконец, Дягилев привез своего учителя пения старика Ратковского, чеха, который говорил про себя: «Граф Нэвэр, батэнка... это я...» вследствие того, что он когда-то был первым баритоном, певшим «Гугеноты» [28] на императорской сцене.

Ратковскому было поручено составить morceaux d'ensemble. Начали с чего-то небольшого, но дело пошло сразу на лад, так что набрались смелости и принялись разучивать квартет «Риголетто».[29]

На это положили много стараний, которые были вознаграждены успехом сверх ожидания. Впрочем, настоящая причина шума, который наделал тогда квартет по всему Петербургу, заключал, разумеется, в исполнении Сашей Панаевой партии Джильды. Дух захватывало, когда она прибавляла и прибавляла силы постепенно повышающемуся плачу обманутой Джильды и разражалась наконец в каком-то апофеозе рыданий несравненной красоты.

Каждое воскресенье домик на Фурштатской наводнялся публикой, которая требовала «Риголетто» и сходила по нем с ума. Известно, что эффект этого знаменитого квартета построен на контрасте двух противоположных настроений — горя и радости. С одной стороны, на темной улице отчаяние Джильды и мрачные наговоры ее отца, шута Риголетто... С другой, в кабачке ухаживанье за смеющейся цыганкой неверного любовника Джильды и многих других, короля Франциска I, переодетого солдатом.

«Un di, se ben ramento mi»,[30] — начинает король.

«Мне помнится, однажды я с тобою повстречался. Так знай же, что с тех пор люблю тебя всем сердцем».

«Ха, ха... и двадцать дев других еще со мной вдобавок, — отвечает цыганка, — большой шутник вы, сударь».

«Нет, на тебе женюсь...»

«Вы пьяны».

«Любовью пылкой...»

Они быстро перекидываются такими легкими фразами, сидя в кабачке, содержимом братом цыганки, — не то разбойником, не то наемным убийцей. За сим начинается известное соло короля: «Bella figlia del'amore»,[31] заигранное в свое время всеми шарманками на свете. Цыганка отвечает смехом на объяснение в любви:

«Ха, ха... смеюсь я от души над такими пустяками».

«А, а... возможно ль... и ей... сулит... любовь», — вступает горестный голос Джильды. Отец поставил ее снаружи у окошка, в которое она все видит и слышит.

«Молчи... не стоит о нем плакать», — повторяет бас на низких нотах. А тенор короля все заливается:

«О, дева милая любви... я раб, я раб твоей красы».

Все четыре голоса переплетаются: то смех мелькнет, то стон, то возглас любви, то злобы и, наконец, они сливаются в каком-то страстном порыве вверх, где отчаяние Джильды покрывает все.

Партии были распределены следующим образом:

Джильда . . . . . Саша Панаева.
Риголетто . . . . . В. О. Михневич.
Король . . . . . . П. П. Дягилев.
Цыганка . . . . . Леля Панаева.

Аккомпанировал Свирский, увлекаясь сам и увлекая певцов.

Между новыми посетителями, привлеченными музыкой на панаевские воскресенья, очутилась Мария Павловна Корибут. Она очень интересовалась участием брата в morceaux d'ensemble, разучивала с ним его партии, и ей захотелось послушать их. Последовало зна-

комство и, разумеется, приглашение на воскресенья, а потом Мария Павловна ответила Панаевым тоже большим вечером, на котором квартет «Риголетто» опять играл главную роль.

Была масса народу — вся наличная семья. Девицы Панаевы видели издали на диване пожилую даму со строгим лицом, с гладко причесанными темными волосами, в очках и всю в черном, до перчаток включительно. Это была Анна Ивановна в трауре по недавно скончавшейся Маценке.

Хорошенькая мадам Брандорф в платье, отделанном павлиньими перьями, привлекала все взгляды. Красавица Адина, жена Кости Литке,[32] двоюродного брата Анны Ивановны, порхала и сюсюкала своим выдуманным, детским лепетом. Она подсела к одной из сестер Панаевых и спросила ее, она ли выходит замуж за Полюску или ее сестра.

«Нецего скливать... все узе говолят», — настаивала молодая графиня.

И действительно уже говорили. Братья Дягилевы, Павел и Николай, встретили на Невском знакомого, который, обращаясь к Павлу, спросил, можно ли его поздравить. «Вы, говорят, женитесь и берете двести тысяч?» — «Нет, это я женюсь и беру миллион», — нахально отрезал Кокушка, выручая сконфузившегося брата. Знакомый осыпал его поздравлениями.

Или еще, например. Во время тостов за свадебным обедом Шуленбургов Валерьян Александрович Панаев подошел к столу, за которым сидела молодежь. Все встали, чтобы выпить за его здоровье, и когда старшая дочь чокнулась с ним, он обнял ее и с волнением сказал: «Нет, я не скоро отпущу другую из вас». При этом рюшка ее лифа прицепилась к академическому значку на мундире отца, распустилась и потянулась. Стоявший рядом Дягилев помог отцепить конец, задевший за значок.

Молва придала этому случаю вымышленный драматический характер. Маша Родзянко рассказала, и за ней все стали повторять, что Валерьян Александрович, обняв дочь, будто угрожающе взглянул на Дягилева и сказал: «Ее я не отдам скоро», а Дягилев будто бы подошел и отдернул зацепившуюся за значок рюшку платья с такой силой, что оборвал ее.

Потом некая Екатерина Петровна Маркин-Горяинова, жена заведующего делами братьев Панаевых, стала предупреждать Софью Михайловну, что слухи о Дягилеве, как о женихе, растут с каждым днем.

«Да, он ухаживает за Сашей, но она, вы знаете, смотрит совсем в другую сторону», — сказала на это Софья Михайловна <...>[33] Екатерина Петровна, которая всегда присутствовала на всех собраниях у Панаевых и очень зорко, вместе с мужем, Иваном Алексеевичем, делала свои наблюдения, возразила: «Не ошибаетесь ли вы, Софья Михайловна? Мне кажется, что он клонит в сторону Лели, и она будто бы не так равнодушна к нему, как к другим». — «Что вы,

что вы, Екатерина Петровна! Он и не думает о Леле... Вы ничего не видите<...>»,[34] — отвечала Софья Михайловна.

У нее был намечен жених для Лели, — полковник Генерального штаба Зубов, воспитатель Юрия Максимилиановича Лейхтенбергского <...>[35] Он был родственник Родзянко, введен ими в дом Панаевых. Намеренье его посвататься поддерживалось Владимиром Михайловичем Родзянко (отцом кавалергардов и Маши) и муссировалось по его же поручению очень близкой ему особой, Екатериной Евстафиевной Богданович, институтской подругой Софьи Михайловны. Зубов не пользовался никаким успехом до очевидности ясно, но почему-то мысль о браке его со старшей дочерью не покидала Софью Михайловну. Впрочем, она не настаивала и, как часто сама говорила, «рукой махнула на Лелю; делай, как знаешь» <...>[36]

О Дягилеве она не думала, несмотря на то, что сближение с ним шло быстрыми шагами. Виделись почти ежедневно благодаря или каруселям в конной артиллерии, или пикникам на тройках, или танцам, или позже катаньям на островах, или репетициям morceaux d'ensemble. Разучивали еще квартет из «Жизни за царя».[37]

Так прошел сезон, и Панаевы переехали на лето в Царское Село. Дягилев ушел с полком в лагерь и вдруг сразу прекратил свои посещения к Панаевым. Он решил больше не видаться, благо летом возможно обрезать знакомство. Другие офицеры ездили из Красного в свободные дни, а он не показывался.

Но судьбе не понравилось это самовольное решение с его стороны, и она вмешалась в дело своей властной рукой. Переехав сам в Красное, Павел Павлович перевез своего сына на дачу, которую опять нанял совместно с сестрой Марией Павловной и молодыми Паренсовыми около Луги. Часто бывать так далеко он не мог, но все праздники ездил.

Вот собрались они туда с братом Михаилом, который как раз только что вернулся из Ташкента после пятилетнего отсутствия. Сели в поезд Варшавской железной дороги и поехали. Первая станция — Александровская, или Царское Село тож. Судьба берет за руку Поленьку Дягилева и выводит его из вагона. Без всякой видимой причины он открывает дверь залы первого класса и заглядывает в нее. Перед ним сидят на диванах в скучающих позах все Панаевы. Полное удивление с обеих сторон, так как здесь встретить кого-нибудь была тогда величайшая редкость. Станция стояла в конце Александровского парка, далеко от всякого жилья, и даже буфета на ней не было. Дачное сообщение с городом совершалось по специальной Царскосельской дороге, станция которой была совсем в другом конце, а эта станция на Варшавской линии служила преимущественно царской фамилии и путешественникам за границу.

Оказалось, что семья Панаевых именно и ожидала в этот день возвращения молодых Шуленбургов из-за границы и выехала к ним навстречу. Поезд в Лугу стоял всего пять минут, но все-таки успели подивиться нечаянной встрече, развеселиться, посмеяться и очень

дружелюбно расстаться. Павел Павлович убежал после свистка, обещая скоро приехать.

В следующее воскресенье он действительно явился и после бывал каждую неделю. Большею частию приезжал до обеда, играли в крокет (он — с азартом и находил, что крокет-граунд слишком мал). Потом обедали, потом катались, потом музицировали и, пропустив все поезда, уезжал уже ночью на тройке с засидевшимися тоже Михаилом Чичаговым или Яшенькой Карелем.

И лето потекло так же шумно и весело, как зима. Наступил август месяц. Погода стояла чудесная, сухая, светлая, редкая у нас в эту пору. У кого-то возникла мысль воспользоваться таким благоприятным обстоятельством, чтобы устроить новое развлечение «paper hunt»,[38] только что вошедшее в моду. Мысль эта была встречена сочувственно; решено только выждать конца маневров, чтобы военные освободились от службы. Отбой предполагался восьмого, и потому охота назначена была на девятое.

Числу этому суждено было стать решительным в дальнейшей судьбе Павла Дягилева.

Утро было еще свежее, но уже солнечное, когда стали съезжаться к сборному пункту на дачу Аркадия Александровича Панаева [39] в Павловске. Верховые въезжали в летний манеж, расположенный при даче, в котором почетное и главное место принадлежало лошадям. Из летнего манежа был вход в конюшню, где стояли восемь арабских красавиц, каждая в своем деннике, за конюшней — зимний манеж, украшенный картинами, а оттуда уже помещение хозяина дома.

Он суетливо и любезно встречал приезжающих, рассаживал племянниц своих в седла, но отнюдь только не на своих лошадей. Дать кому-нибудь сесть на одну из своих лошадей было бы жертвой сверх его сил. Последним явился граф Александр Нирод (брат Мориса, женатый на сестре Шуленбурга). Он изображал «лисицу».

По правилам игры полагалось дать «лисице» уехать вперед на полчаса, и только тогда выезжать на охоту. «Лисица» же обязана была оставлять везде, где проедет, свой след — в виде тонко нарезанных полосок бумаги, которыми наполнялся мешок, надетый через плечо.

Все вскочили на лошадей и с часами в руках ждали, чтобы прошло тридцать минут после исчезновения графа Нирода. За сим кавалькада затопотала и выехала из ворот, имея во главе самого Аркадия Александровича на Кадуджи — темно-серая, в яблоках кобыла, перед красотой которой останавливался всякий прохожий. Въехали в парк все вместе, и тут стали понемногу разбредаться группами по разным направлениям. К четырем часам все должны были съехаться к «Белой березе» (круглая лужайка, в центре которой растут белые березы, в одном из глухих мест Павловского парка).

Впереди всех по обыкновению поскакала Саша, неустрашимая и превосходная наездница. Рядом с ней Морис Нирод, а сзади ново-

испеченный уланский корнет, Яшенька Карель, вместе с товарищем, тоже накануне произведенным лейб-гусаром, князем Лобановым-Ростовским. Потом следовала графиня Адина Литке с целой ватагой кавалеров, к которым присоединился, тоже верхом, Валерьян Александрович. Дягилев подъехал к Леле Панаевой с одной стороны, а с другой — Михаил Чичагов... Потом Оля Панаева со своими кавалерами, и еще, и еще, не помню кто.

К величайшей гордости графа Александра Евстафиевича «лисица» осталась в этот день не пойманной и сидела себе преспокойно за стаканом доброго вина под «Белой березой», когда охотники явились к назначенному времени. Ничего бы не стоило сбить спеси у «лисички», но ее хвастовству предоставили полную свободу. Разве, может быть, только с лукавой улыбочкой слушали ее «охотничьи» рассказы. Никто не сознался в том, что «лисицу» не искали — даже больше, что, завидев ее, сворачивали в сторону, боясь поимкой ее сократить блужданье по мягким таинственным аллеям в тишине такого чудного осеннего дня. И сама хитрая «лисичка» не созналась никому, что в начале охоты она попалась на глаза Дягилеву на открытом месте, что стала удирать, что Дягилев догнал ее мигом, единственно, чтобы промять своего Венгерца, которому надоели тихие аллюры, и тотчас же отпустил на все четыре стороны.

Под белой березой давно уже были раскинуты столы, нагруженные всякими яствами и окруженные съехавшимися в экипажах гостями, когда группы охотников стали появляться по прилегающим со всех сторон к лужайке аллеям. Они весело спешивались, усаживались у столов и с удовольствием принимались есть и пить. Все уже были в сборе, когда вдали показался серый конь и красная фуражка, тихо подвигающиеся вперед. «Лобанов!.. Запоздал, скорей», — стали ему кричать, но он продолжает ехать шагом до самой березы, потому что рядом с ним с понурой головой шел Яшенька Карель — пешком... Их встретили возгласами удивленья и любопытства: «Откуда?.. Что случилось?.. отчего пешком?» Последний вопрос самый роковой: «Где же лошадь?» — «Потеряна». — «Как?.. Кавалерист, улан, потерял лошадь?.. Невероятно... Каким образом? Почему?» — «Слез... Стал закуривать, а она убежала...»

Насмешки и остроты посыпались, как горох, на голову бедного Яшеньки. Он молчал, казалось, смущенный и усталый, но это только казалось. Молчал он и терпел торжественно «для нее». Он не мог объяснить настоящей причины исчезновения лошади иначе, как обличив то, что «она» ему запретила пока рассказывать.

Дело в том, что Саша, выбравшись на какую-то длинную, прямую аллею, предложила своим кавалерам устроить скачку: кто из них — она или они — достигнет первый до конца аллеи, и тут же, не дав никому опомниться, сама поскакала. Яшенька уже настигал ее, когда вдруг ее лошадь бросилась в сторону, увидав поворот в пересекающую аллею. Саша вылетела из седла, но нога осталась в стремени. К счастью, лошадь остановилась. Сашина голова лежала у ее передних ног, которые нервно вздрагивали и топотали. Вне себя от

испуга Яшенька спрыгнул на ходу с лошади, совершенно забыв о ней, подбежал к Саше и... расплакался. Тут подоспели Нирод и Лобанов, освободили ее ногу, и она сама вскочила невредимая. Нельзя было сказать того же самого об ее амазонке, которая разорвалась с одного боку от подола до кушака. Ее посадили обратно в седло и кое-как добрались до сторожки у «Белой березы». У сторожа нашлась жена, у жены иголка с ниткой, и началась починка юбки.

Саша упросила своих кавалеров никому ничего не говорить, чтобы не портить общего настроения, и услала их, поручив им позвать к ней старшую сестру. Та, разумеется, испугалась задним числом, но одобрила мысль скрыть все до приезда домой, благо ушиба не оказалось. Все обошлось счастливо. Один только Яшенька поплатился на время своей репутацией кавалериста и страхом за новую дорогую лошадь, которую ему только что купил отец. Умчалась куда-то, как бешеная, и сколько он не искал, не мог найти. Подразнив его, сжалились и начали утешать пенистыми стаканчиками, к которым у Яшеньки была слабость и которые при распоряжениях Валерьяна Александровича являлись неиссякаемыми.

Вдруг — новая картина. В боковой аллее топот, смотрят — на гнедом Венгерце, держа за повод лошадь Кареля, скачет Дягилев во весь опор прямо на сидящих под березой и в двух шагах от них сразу останавливает лошадь, как вкопанную. Оказалось, что пока охали и ахали над Яшенькиной бедой, Дягилев поехал на поиски и скоро наткнулся на чухон деревни Тярлево, поймавших лошадь.

После этого настроение пикника до такой степени приподнялось, что благоразумные стали подумывать и поговаривать о возвращении домой. К тому же сильно посвежело, и свойственная Павловску сырость стала очень чувствительна. Графиня Литке, не отстававшая от компании с пенистыми стаканчиками, вдруг вздумала устроить скачку. Она вскочила на лошадь, за ней несколько человек, и во главе Валерьян Александрович. Поскакали, и чуть все не переломали себе шеи. Валерьян Александрович упал с лошади, счастливо, правда, но напугал жену и дочерей. Веселое настроение утратилось, наступила реакция. Опять-таки одному Дягилеву, герою дня, удалось уговорить Валерьяна Александровича ехать домой, и не верхом, а сесть в коляску. Когда, наконец, все разместились по экипажам с застоявшимися лошадьми и с кучерами, не внушающими доверия, начинало уже темнеть, и сделалось прямо холодно.

Леля и Саша возвращались верхом. Они тронулись в одной группе со своими кавалерами, решив, по просьбе первой, ехать обратно всем вместе. Не тут-то было. Саша стала забирать вперед. Чичагов по поручению Лели несколько раз догонял ее, чтобы останавливать, но напрасно... Кончилось тем, что посланный привез ответ: «Александра Валерьяновна велела сказать, что хочет скакать». Дягилев, Леля и Чичагов остались втроем, как утром.

Они ехали молча, уныло притихнув. С травы подымался белый пар тумана, темнело. Фонари колясок, едущих из Царского в Павловск на музыку, стали мелькать в темноте между деревьями. Дя-

гилев ехал в сторонке и, против обыкновения, упорно молчал. Леля рассказала тут Вермишелю (так было прозванье Чичагова), что случилось с Сашей, объясняя ему, почему она особенно беспокоится о ней сегодня. Беспокойству этому способствовало еще открытие, сделанное ею перед самым отъездом в обратный путь, а именно, что лошадь, на которой сидела Саша, и приведенная для нее Databases Databases Databases Databases Databases Databases Databases Databases

Оставшись вдвоем, Дягилев и Леля продолжали ехать в глубоком молчании. Когда они приблизились к даче Панаевых, она вспомнила, что ее паньэ [40] с пони должно находиться тут, потому что кузина Оля поехала в нем домой от «Белой березы».

«Я так озябла, что не могу ехать так еще пять верст, — сказала она своему кавалеру, — заедем к дяде, я попрошу что-нибудь теплое и пересяду в свой экипаж».

Повернули к salon de musique [41] и опять поехали молча. На коротком пути между salon de musique и дачей Панаева он заговорил, и судьба их была решена.

Добравшись до дяди, узнали, что поньки успели уже уйти в Царское. Тетя Соня (жена Ипполита Александровича Панаева) предложила запрячь свой кабриолет и довезти Лелю. Леля согласилась.

Когда жених и невеста вернулись домой, они застали там массу народа, ужин, оживление — и некоторое недоуменье от их опозданья. Этот длинный и полный день не кончился у Панаевых даже с отъездом гостей. Начались объяснения. Старшая дочь, прощаясь с отцом, сказала ему, что случилось. Он, очевидно, ждал этого, потому что не удивился и перекрестил дочь почти без слов.

На другой день, когда жених появился, решено было не объявлять ничего, пока не будет получен ответ на посланную им в Пермь телеграмму к Павлу Дмитриевичу. Вследствие этого вышел маленький инцидент.

Прошло два дня, телеграммы из Перми еще не было. У Панаевых собралось вечером много народу. Певцы были в полном сборе, не исключая и старика Ратковского, который все лето ездил в Царское к Панаевым, давал что-то вроде уроков Леле, и очень к ней привязался. Было уже поздно... Чай отпили, и все сидели в гостиной. Вдруг бешеный звонок... Крик и визг в передней... Дверь чуть не соскакивает с петель, и влетает ураган в лице Адины Литке с какой-то свитой... Но никто не видит и не слышит ничего, кроме Адины.

«А, а, гадкие... Скливать, скливать... А я все знаю... Я била на музыке... Мне сказали... Поздлавляю зениха и невесту... Поцелуемтесь, Леличка, вы тепель моя кузиноцка... Я так лада... У нас в семье все сталие хлицовки... Мы с вами будем две молодые... А Поленька — месок с калтофелем... Я с ним кокетницала... А он?.. Ничего... Не могла его рассевелить... Сто зе вы все лты лязинули?.. Поздлявляйте... поздлявляйте, — кричала новая кузиночка, обраща-

ясь к гостям. — Ула... симпанского... симпанского...» — кончила она свой выход.

Гости действительно стояли озадаченные, да и хозяева тоже... Кажется, Нирод первый спросил: «Правда? можно поздравить?» И тогда все двинулись, заговорили, пошли пожимания рук, поздравления, объяснения... Один только гость не подошел к жениху и невесте, а отошел в дальний угол от столпившейся кругом них молодежи. Благородный «граф Нэвэр» не выдержал своего достоинства, повернулся лицом к печке, закрыл его руками, как делают дети, и заплакал.

Невеста давно уже искала его глазами, ожидая его радостной улыбки, поклонов, расшаркиваний с приседаньями, и вместо этого вдруг увидала вдали его маленькую, в жалкой позе, фигуру. Она бросилась к нему, схватила его за руки, стала спрашивать, но в ответ только лились слезы по розовым щечкам и седым усам... Вытаскивался громадный носовой платок. Пришел жених на помощь, и при соединенных усилиях они, наконец, достучались до причины его горя. Ему больно было, что он узнал последний (как он предполагал) и случайно от посторонних, а не от своих милых детей то, что он так желал, о чем мечтал... Он долго не понимал, не хотел ни понимать, ни слушать объяснений.

«Ах, Паулинька... Паулинька... Я первый должен был знать, первый... Ах, Элэн Бульдерьянна, развэ я не стоил довэрия...» Еле-еле удалось им утешить старика ласками, увереньями в любви и полном доверии.

Первый из Дягилевых приехал к невесте Мишенька. Добрый великан был страшно застенчив. Он привез красивую севрскую бонбоньерку с конфетами, но отчаянно переконфузился, когда пришлось ее поднести, ни слова не проговорил, сунул ее в руки барышне и отвернулся.[42]

Потом, после телеграммы с согласием Павла Дмитриевича, приехала в Царское Село сама Анна Ивановна. Она только что вернулась из Бикбарды, когда узнала семейную новость. Сообщил ее Мишенька не без трепета, но храбрым голосом. Он сидел с матерью за завтраком и при виде входящего в комнату брата брякнул: «А брат Павел у нас женится, мамаша».

Когда Анна Ивановна хотела, она могла обворожить. Если она поехала к Панаевым с этим намерением, то оно ей удалось вполне, почти вполне. Будущую невестку свою она сразу победила своим простым родственным тоном. За обедом они сидели рядом, и Анна Ивановна, видя, что соседка ее зябнет, взяла ее холодную руку, чтобы согреть ее в своей, всегда горячей руке. Эта ласка как-то сблизила их.

Анна Ивановна понравилась и другим членам панаевской семьи <...> [43] На другой день Валерьян Александрович повез дочь к будущей свекрови.

Если Анна Ивановна нашла отсутствие Софьи Михайловны странным, она не показала виду и была очень в духе. Они завтракали небольшой компанией, в которой появилась бледная-бледная десяти-

летняя девочка с большими грустными голубыми глазами. Это была с полгода тому назад потерявшая мать старшая дочь Ивана Павловича — Маня. Бабушка привезла ее с собой из Перми, чтобы определить в институт.

После завтрака Анна Ивановна попросила, чтобы невеста съездила с ней к семейному патриарху, графу Федору Петровичу Литке, и так как по этому случаю пришлось поправлять туалет, то Анна Ивановна позвала свою горничную, чтобы помочь Леле. В спальню вошла высокая, стройная девушка, безукоризненно причесанная и одетая. Она принялась за свое дело, плавно двигаясь и ловко действуя своими длинными белыми руками. Это была Саша, бывшая горничная Евгении Николаевны, которую Анна Ивановна взяла к себе в память невестки.

Граф Федор Петрович Литке не мог быть незнакомым лицом ни для кого из петербуржцев, тем более для того, кто следил за музыкой. Во всех концертах в первом ряду кресел привыкли видеть седого, как лунь, с густыми нависшими бровями и торчащими бакенбардами, высокого, сухого адмирала. Так что, когда Лелю Панаеву привели к нему на поклон, ее встретил известный ей вдоль и поперек старик, которого она видела даже на угловом диване в гостиной мадам Ниссен-Саломон на воскресных matinée musicale,[44] посещаемых всем музыкальным Петербургом, в особенности в те годы, когда Татуся Панаева была ученицей Ниссен.

С графом Литке жили две старые девицы — дочери его сестры, Натальи Петровны Сульменевой, и родные сестры Анны Ивановны. Племянники и племянницы очень любили тетю Катю и тетю Талю, о которых речь впереди.

За сим возник вопрос о поездке в Лугу для свиданья с Сережей. Надо сказать, что отец никогда не говорил о нем в обществе, и если с ним заговаривали на эту тему, он, видимо, неохотно отвечал и менял разговор при первой возможности. Один только раз он сказал несколько слов о нем Леле, когда та еще не была невестой.

Они возвращались большим обществом из Красного Села после скачек, обеда с трубачами и песенниками и т. п. Ехали в четырехместной панаевской коляске. Ночь была лунная, теплая, чудная... Под шум разговоров Саши и Софьи Михайловны с Васенькой Обуховым,* сидящим на козлах спиной к лошадям... Зашла речь пониженным голосом о маленьком. «Его зовут Сережей, у него глаза, как вишни», — произнес Павел Павлович с неожиданной и совершенно бессознательной нежностью.

Во второй раз он заговорил о нем уже женихом: «У меня большая к тебе просьба. Нельзя ли нам съездить в деревню, к Сереже». Невеста сама хотела просить именно об этом... И не решалась, выжидая, как бы устроить по возможности мирно. Но мирно не сошло. Софья Михайловна была против этого, и поднялась борьба, продол-

---

* Кавалергард, женатый впоследствии на кузине Панаевых — Наде Толстой, а после развода с ней — на Кате Карцовой.

жавшаяся двое суток. Жених не имел о ней никакого понятия, при нем все шло гладко; да и Валерьян Александрович не вполне был в курсе дела, так что оба они и Мишенька, присоединившийся к поездке, были в отличном расположении духа, когда, наконец, уселись в вагон и поехали. Нельзя сказать того же самого об их спутнице.

Кроме домашних неприятностей ее тревожило и другое... Детское личико впереди... Оно страшило. Впрочем, выхватим лучше несколько страниц из заветной тетради второй жены Павла Павловича. Они дадут нам лучшее понятие о событиях этого дня.

Вот что она писала о нем двенадцать лет спустя.

Пермь. 29 октября 1886 г.

Сергунчик мой. Для тебя и для меня наступила вчера новая эра: ты вышел из-под моей опеки и поступил под мужской надзор отца, а я простилась с твоим детством. Пришло то время, о котором я всегда со страхом думала, но которое все-таки казалось мне таким далеким; время, когда сын начнет сознавать в себе мужчину. Этим сознанием он переступил порог, у которого я должна остановиться. Вчерашний разговор с отцом совершил окончательный перелом. Разговор этот ты не забудешь никогда, я думаю, потому что он произвел на тебя сильное впечатление. Это был первый разговор твой, Сережа, при котором я не могла бы присутствовать. Значит — кончено... Моя роль в твоем воспитании завершена. Как быстро прошли эти двенадцать лет. Как страшно думать, что дело сделано, и ничего уже не переделаешь. Такое важное дело. Теперь появятся результаты, последствия. Господи, помилуй и благослови. Великую ответственность приняла я на себя — как храбро, как самонадеянно; взрастила человека, а теперь он потихоньку освобождает свою руку из моей и хочет идти, хотя еще и рядом со мной, но один. Да и пора. Сама природа на это указывает: он выше меня ростом, стал говорить баском, на верхней губе темный пушок... Прощай, маленький Сережа...

Как я помню маленького Сережу двенадцать лет тому назад. Тебе было почти три года, когда я в первый раз увидала тебя. Я была невестой тогда и хотела непременно увидать тебя перед свадьбой. Ты был для меня почти вопросом жизни и смерти, так как я решила втайне, что несмотря на любовь мою к твоему отцу, я не выйду за него, если не почувствую, что могу горячо любить и тебя. Ты проводил тогда лето в деревне около Луги с тетей Маришей. Я поехала к тебе. По мере приближения к Романщине мной постепенно овладевало мучительное волненье, которое дошло до невыносимого, когда мы стали подъезжать к дому. Конечно, конечно, я никогда в жизни не забуду этих минут. Издали я увидала, что на крыльце стоят, ждут нас. Мы подкатили. Поленька соскочил с козел, где он сидел, потому что в коляске был со мной мой отец... Мы поднялись на три ступеньки. Тут стояла Мариша и

держала на руках ребенка в ярко-синем платье с матросским воротником, украшенном золотыми якорями. Это был ты — ты маленький беспомощный мальчуган, который держал мою судьбу в своих ручонках.

Я проговорила только: «Это Сережа...» И с трепетом, со страхом протянула тебе руки. Вдруг совершилось чудо... Я тогда приняла это за чудо, за ответ Бога на мои мучительные вопросы к Нему, и теперь думаю все так же. Это было чудо.

Не задумавшись ни одного мгновения, не остановившись ни секунды перед совершенно не знакомым тебе лицом, ты протянул ко мне свои ручки, потянулся весь ко мне и, когда я, пораженная, приняла тебя от Мариши, ты обнял шею мою обеими ручками крепко, крепко, и головку свою прижал к моей щеке.

С этой минуты ты сделался моим. Я отдала тебе свое первое материнское чувство.

Несмотря, однако, на вышеописанную встречу с Сережей и на то, что он и дальше остался верен своему первому движенью, невеста Павла Павловича провела этот день в тяжелом чаду. Она пережила нечто вроде того, что переживал вымышленный гость предисловия, попавший на бикбардинский балкон.

Правда, в Романщине не было столько народу, как в Бикбарде, но и этих оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление нырка в какую-то неизвестную стихию. Невеста старалась уловить смысл перекрестных слов, понять, о чем смеются, вникнуть в настроение своего жениха, но напрасно. Несколько человек Дягилевых сошлись вместе, и все сейчас же приняло особый оттенок, им присущий. Даже игра в крокет, костер в лесу были своеобразны и недоступны для непосвященных. На другое утро вернулись в Царское Село, а вечером, еле отдохнув, отправились на бал, который давался ежегодно при закрытии Павловского вокзала и на котором бывали всегда блестящее общество и туалеты. И так продолжалось вплоть до свадьбы...

Вечера, балы, пикники шли безостановочно, не давая опомниться. Последний вечер был задан Анной Ивановной, когда Панаевы переехали из Царского Села в Петербург. Она выбрала день именин Павла Дмитриевича, 4 октября, созвала всю наличную родню и закатила большой ужин с кавалергардской музыкой. Вышло что-то вроде смотрин. Весело не было, обе семьи слишком еще мало знали друг друга.

Свадьба состоялась 14 октября 1874 года. Приглашенных была масса, не говоря уже о том, что присутствовал весь Кавалергардский полк. После церкви все съехались у Панаевых.

Ольга Николаевна Брандорф, очаровательно-хорошенькая и элегантная в сине-стальном платье и в шляпе из больших роз, одна из первых подошла с поздравлением ко второй жене Павла Павло-

вича. «Прошу вас полюбить меня», — сказала она. Эти добрые слова положили основание хорошим между ними отношениям.

Толкотня, шум голосов, тосты, крики «ура» шампанское, — все вихрем проносилось перед широко открытыми черными глазами Сережи, которого привезла сюда бабушка Анна Ивановна. Он стоял на угловом диване гостиной в белой шелковой рубашечке и голубых шароварах, серьезно, внимательно наблюдая за всем, что происходило. Няня его, важная полная Авдотья Александровна, тоже без улыбки озирала все окружающее.

Молодые быстро переоделись в дорожные костюмы, потому что поезд, на котором они собирались за границу, отходил в четыре часа, и поехали к себе на вновь отделанную полковую квартиру. Решено было войти в нее, присесть и уже оттуда ехать на вокзал.

На вокзале опять толкотня, шампанское, крики «ура» букеты, букеты, обниманья, поздравления, пожелания, звонки, свисток, и поезд тронулся, унося новую чету Дягилевых в неведомое будущее.

Часть вторая

ПЕТЕРБУРГ

(от 1874 г. до 1879 г.)

Начата: в Петергофе в 1907 г.
Прервана: в Петергофе в июле 1914 г.

1

Здесь они, здесь и мы, здесь и вы.

Метерлинк.

Вступая во вторую часть моего рассказа,[1] мне приходится повторить, что, когда я в 1874 г. вышла замуж за Павла Павловича Дягилева, я застала семью моего мужа разделенную на два лагеря: петербургский, Анны Ивановны, и пермский, Павла Дмитриевича.

При отце жил недавно овдовевший Иван Павлович с детьми (Маценка умерла от чахотки 1 февраля 1873 г. в Москве на пути за границу, куда ехала лечиться) и только что присоединившийся к ним, по возвращении из Ташкента, Михаил Павлович.

При матери в доме оставался один только Кокушка, но она была окружена в Петербурге остальными своими детьми (за исключением Натальи Павловны) и всем своим родственным кругом вообще.

Когда я вошла в состав этого круга и лично узнала ее, ей пошел уже пятьдесят седьмой год. Она была видная, довольно полная, держалась прямо, ходила с высоко поднятой небольшой головой, носила очки, и в темных гладких волосах пробивалась седина. Весь наружный облик был благообразный, важный и строгий, но напряженное и, как многие находили, гордое выражение лица смягчалось грустными карими глазами, выглядывавшими поверх очков и углубленными в темные впадины усталых век, а иногда даже неудержимым молодым смехом, которым мамаша могла вдруг залиться до слез — в полном смысле слова. Смеясь, она всегда сбрасывала очки и вытирала платком влажные глаза. С первого взгляда никто не мог бы предположить, что в ней сохранилось столько юмору и веселости, сколько она иногда обнаруживала. Одевалась Анна Ивановна хорошо, но как-то случайно. На ней было всегда все модное, дорогое, иногда очень красивое, а иногда нет, — очевидно, подсунутое ей за большую цену ее поставщиками. Она всю жизнь любила туалет и до сих пор много на него тратила, хотя выезжать, собственно, не

выезжала, — бывала только у своих и редко в театре; да и приемов уже не делала, кроме воскресных обедов, на которые собиралась почти исключительно одна семья.

В эти дни в обширной столовой квартиры, которую мамаша занимала в Маришином доме на Фурштатской, вытягивался длинный стол, и чопорные неуютные гостиные оживлялись. Судя по тому, с каким удовольствием мы теперь вспоминаем эти обязательные семейные собранья, они, вероятно, никогда не были нам в тягость, но в то время между нами принято было считать их скучными и стеснительными. Однако никто не уклонялся от них, и каждое воскресенье к назначенному часу начинался съезд: являлась Мариша Корибут со своими тремя детьми, Юрием, Павкой и Маришечкой; «наша милая девочка», как братья называли Юленьку, муж ее — Пьер Паренсов; супруги Философовы с кем-нибудь из старших детей; мы, еще кто-нибудь из племянников — от двенадцати до пятнадцати человек, одним словом.

Подавался вкусный обед из четырех блюд. У повара Густава были специальные блюда, которым гости охотно отдавали честь. Был, между прочим, один пирог, без которого я не могу себе представить воскресного обеда. Он, вероятно, вышел теперь из моды, так как его нигде не подают. С виду он походил на бабу, но составлялся весь из множества маленьких пирожков с мясом, уложенных рядами друг на друге, посыпанных снаружи сухарями и запеченных все вместе в одну общую форму. Каждый пирожок вынимался отдельно из своей ячейки, причем являлся подрумяненным с одной только наружной стороны. Треугольничек, составляющий внутреннюю сторону, был белый и мягкий, как булка. По вкусу пирог этот мне не особенно нравился, но его величавое появленье за столом было необходимо для полноты картины.

Обед приправлялся громкими разговорами и смехом, особенно, когда мамаша бывала в духе и принимала в них участие. Впрочем, на противоположном от нее конце стола не справлялись ни с чьим настроением — острили, шутили и хохотали всегда одинаково. Там помещались Поленька, Кокушка, кто-нибудь из их друзей и младшие члены семьи. После обеда составлялся мамашин безик.[2] С ней садился играть неизменно Владимир Философов и еще кто-нибудь из старших. Нас игра совершенно не касалась, но считалось неловким уезжать до чаю, к которому партия кончалась. Вот это-то часто и вызывало ропот: у кого билет в театр, у кого в концерт, кому на вечер надо, а уйти можно только под каким-нибудь особенным предлогом, или потихоньку, не простившись, рискуя возбудить неудовольствие мамаши.

Чаще всех изощрялся в разных способах улизнуть Кокушка — в качестве холостого, выезжающего и немного кутящего даже человека. Вечера у него, конечно, были постоянно разобраны. Ноночка тоже часто исчезала. Ей нечего было придумывать предлоги. Все и без этого знали, что она завалена благотворительными спектаклями, балами, елками, но и она, отдав предварительно крошечную дань

безику, все-таки торопливо сыпала массу непонятных извинений и объяснений перед тем, как скрыться за дверью со своим профилем камеи и бархатным шлейфом.

Красивая, нарядная, всем известная, всем необходимая, Анна Павловна была вездесущая... Мамаша, которая не очень благосклонно относилась к знаменитости дочери и к ее деятельности, не без иронии замечала, что «Ноночкина квартира — карета».

Тут, может быть, кстати будет рассказать мою первую встречу с Ноночкой, чтобы обрисовать, какую она уже тогда играла роль.

Действие происходит на танцевальном вечере у одной шикарной молодой вдовы, выезжающей и принимающей якобы только ради своих petites soeurettes [3] — двух белобрысеньких, курносых чухоночек.

Девицы Панаевы танцуют на этом вечере. Хозяйка дома, высокая, эффектная блондинка, в полутраурном бальном туалете, обнаруживает беспокойное ожидание, пробегает стремглав по зале мимо всех танцующих, кидается в переднюю, и гости слышат уже не раз ее разочарованный возглас: «Нет... Не она».

Наконец, во время одной из кадрилей в передней происходит суетня, кто-то вскрикивает: «Приехала», и хозяйка летит навстречу к давно ожидаемой почетной гостье. Кадриль останавливается, чтобы пропустить ее. Она проходит в гостиную торопливыми, мелкими шажками, любезно улыбаясь направо и налево. Это — красивая дама лет тридцати пяти в черном бархатном платье, отделанном венецианскими кружевами, и с широким вырезом на груди, у которой приколот букет иван-да-марьи. Ее сопровождает целая свита, с подобострастно, но торжественно улыбающейся хозяйкой во главе.

Леля Панаева (своему кавалеру). Кто эта дама?

Кавалер. Эта дама? Это — Анна Павловна.

Леля. Какая Анна Павловна?

Кавалер (в ужасе). Как? Вы не знаете Анны Павловны?

Леля (озадаченно). Нет, я с ней не знакома.

Кавалер (недоумевая). Не знакомы... Но все-таки знаете ее?.. Слышали о ней?

Леля (смущенно). Нет... Я не знаю... Не слыхала... Мы только что вернулись из-за границы, где долго жили...

Кавалер (смягчаясь). А... Тогда понятно. Анна Павловна Философова — самая популярная женщина в Петербурге. Она вообще во главе всего благотворительного и просветительного дела, и притом красавица какая, не правда ли?

Леля. Я не разглядела.

Кавалер. Когда кончим кадриль, пойдемте, посмотрите на нее... Вон она сидит в дверях гостиной.

И действительно, по окончании кадрили кавалер предлагает Леле руку обводит ее кругом кресла Анны Павловны, приговаривая: «А?.. Какова?..»

Леля стесняется слишком разглядывать, но все-таки она успевает увидать идеального рисунка точеный носик и чудные тяжелые волосы, прелестно обрамляющие лоб.

Я была очень удивлена, когда года через два эта самая знаменитая Анна Павловна приехала знакомиться с моими родителями в качестве сестры моего жениха. Она была беспредельно любезна, как всегда, но о сближении между нами не было и помысла ни с той, ни с другой стороны. Да и потом, после моего замужества, оно настало не сейчас. Это нельзя объяснить одной только разницей лет, хотя пятнадцать лет в эти года много значат. Тут играла, вероятно, важную роль и разница интересов, поглощавших каждую из нас. Я помню, что Ноночка в первый раз внимательно взглянула на меня четыре года спустя, когда в разговоре случайно обнаружилось, что я читала — кого же? — только Alfred de Musset.[4] Она тут же стремительно, как всегда, высказала мне свое удивление и одобренье: «А я думала, что ты ничего не читаешь...»

Прежде всех я сошлась с Маришей, вероятно, главным образом потому, что она была тогда ближе всех к Поленьке. Но кроме того у меня очень скоро явилась личная приязнь к ней. Я не могла не почувствовать и не оценить всю деликатность, все благородство полного доверия, которое она оказала мне по отношению к Сереже, когда я заместила ее при нем. Правда, что вся семья, с мамашей во главе, поступила точно так же. Я получила доверие сразу — раньше, чем успела заслужить его. Мне просто подарили его — щедро, широко подарили. Это удивило меня и тронуло, тем более что от своих собственных родственников я видела скорее противоположное. Один из моих дядей, например, в день моей свадьбы с бокалом в руке перед двумястами приглашенных провозгласил громогласно и мрачно пожелание, чтобы я не сделалась «мачехой». Другой дядя написал мне то же самое в поздравительном письме. Этого слова я ни разу в жизни ни от кого из Дягилевых не слыхала. Я считала, что Мариша, заменявшая Сереже мать почти три года, больше всех имела бы право вмешиваться в его новую жизнь и, проникаясь к ней особенной благодарностью за отсутствие этого вмешательства, я очень полюбила ее. Впрочем, все любили Маришу.

Популярность ее была не так широка и не так блестяща, как Ноночкина, но среди друзей и молодого поколения семьи имела огромную силу. Говорю «среди молодого поколения», потому что мамаша, главная представительница старшего, относилась и к этой популярности тоже отрицательно.

По случаю женитьбы Поленьки Марише пришлось переехать из кавалергардских казарм. Она наняла себе квартиру неподалеку на углу Фурштатской и Воскресенского в доме Овсянникова, и мы очутились в соседстве, что, разумеется, тоже способствовало нашему сближению. Мариша заходила к нам чаще, мы пореже, но виделись мы ежедневно.

Вернувшись из свадебного путешествия, я занялась устройством новой жизни и ее обстановки, потому охотнее всего оставалась дома,

а Мариша — наоборот. Я думаю, что одиночество было ей менее чувствительно и тяжело вне дома; оттого она мало сидела у себя, мало заботилась об удобстве и украшении своего жилья. Оно не интересовало ее. Но зато к остальному, ко всему отвлеченному в особенности, Мариша пылала интересом. Она увлекалась политикой (мимоходом будь сказано — слабость большинства из Дягилевых), музыкой, литературой, философией, и во всем этом была сведуща и начитана. Усвоив широким умом все новые стремленья своего времени, она была и есть до сих пор верной носительницей его идеалов. В ней сохранилась до старости (в нынешнем 1909 г. ей минуло 69 лет) та типичная смесь позитивизма шестидесятых годов с идеализмом сороковых, которая отличала передовых людей ее поколенья.

Для нас Мариша была, с одной стороны, умнейшей старшей сестрой (между ней и Поленькой восемь лет разницы), а с другой, — доброй «Макурой», как иногда называли ее в семье, рисуя этим названием ее бесхитростный, уступчивый характер и непрактичность в житейских делах.

Мы всегда радовались ее приходу. Она была незаменимым товарищем и собеседником. Что касается лично меня, я особенно любила разговоры с ней о детях, об их воспитании и рассказы ее о всем пережитом в дягилевской семье до меня. Почти вся первая часть этой записи извлечена мною из рассказов мамаши и Мариши.

Мы просиживали в этих беседах до поздней ночи, когда Мариша бывала у нас без детей, но она приходила часто и с ними. Заберет их всех троих и придет; меньшие забавляются с Сережей, Юрий жадно слушает, что говорят взрослые; отобедаем вместе, после обеда займемся музыкой... Мариша сядет играть в четыре руки со Свирским, которого тоже постоянно приводила с собой... Мы с Поленькой попоем, но кончался вечер почти всегда каким-нибудь горячим спором. Споры были в ходу в наше время.

Не думаю, чтобы Свирский был очень полезен мальчикам Корибут как учитель или воспитатель, но надо знать, что его приютили в доме холодного и голодного и создали ему место при детях исключительно, чтобы помочь ему. Он привязался к семье, благоговел перед Маришей, называл себя ее преданным Рембой (имя его собаки), поверял ей свои тайны, и все это не без примеси сентиментальной подкладки. Впрочем, у Мариши, несмотря на отсутствие красоты, водились поклонники и посерьезнее Рембы.

Например, она как раз в это время отказала своему двоюродному брату, Коле Быкову, красивому, молодому моряку. Этот самый Коленька Быков был один из первых дягилевских кузенов, с которым мне пришлось познакомиться еще невестой, так как он устроил нам катанье на своем пароходе в день бракосочетанья великого князя Владимира Александровича,[5] чтобы показать нам иллюминацию Петербурга и островов с Невы.

Вот что мне припоминается из отношений его к Марише. Зимой он задал вечер для новобрачных — для нас. Покатили мы к нему на тройках, так как он жил в Чикушах в Балтийском судострои-

тельном заводе, состоя его управляющим. Нас ждал весело освещенный дом, накрытый стол с фруктами, конфетами, закусками, чаем и шампанским.

Компания была большая и веселая: поели, попили, потанцевали, попели и засиделись до белого утра. Отец мой, тоже приехавший с нами, был в восторге от семейного собранья новой своей родни. Ему понравилось радушие, гостеприимство и легкий оттенок разгула, который появился к концу вечера. С бокалом в руке он произнес речь о Дягилевых — о русских, радушных, дружных между собой Дягилевых. Отлично помню, что, кончив, он сел на угловой диван рядом с Маришей. Коленька Быков схватил бокал и начал отвечать моему отцу, но вдруг опустился на колени перед Маришей и, продолжая обращаться к отцу, перешел на восторженную похвалу ей. Не помню, что именно он говорил, но смысл был тот, что выше Мариши ничего нет на свете и что она «святая». Это слово я отчетливо помню. Он очень волновался при этом, может быть, и от выпитого вина, но что у трезвого на уме...

Мариша же была расположена к нему только дружески, вследствие чего, вероятно, Коленька и стал все реже и реже показываться в нашей компании, отстал от нас, вскоре женился на певице Косецкой и уже со своей женой опять вернулся в семью.

Итак, привязанность моя к семье мужа началась с Мариши.

Дружба с Юленькой, которой суждено было занять такое большое место в моей жизни, пришла немного позже благодаря тому, что сначала мы мало виделись. Как раз в день нашего возвращения из-за границы она родила свою Марусю, долго хворала, возилась с кормленьем, но когда мы уже стали встречаться, то дело у нас быстро пошло на лад.

Описать Юленьку в молодости трудно. Сказать о ней, что она была очень хорошенькая, имела прелестные карие глаза, великолепные темные, тяжелые волосы, милую фигурку, — это значит ничего не сказать.

Главное обаяние ее заключалось в чем-то невыразимо юношеском, веселом, наивном, девическом и женственном вместе, что заставляло всякого, взглянувшего на нее, воскликнуть: «Какая прелесть».

Несмотря на грубость фотографии вообще, надеюсь, что снимки, прилагаемые мною [6] здесь, хоть сколько-нибудь подтвердят мои слова, тем более что Юленькины карточки есть удачные. Одна из любимых моих — это та, где она сидит, прижав к себе своего младенчика так ловко и уютно, по-матерински, а смотрит вперед большими наивными вопрошающими глазами — по-детски. Пока я на этом и остановлюсь об Юленьке. На этих страницах придется вернуться к ней не один раз, а в настоящей главе необходимо еще коснуться остальных присных дягилевской семьи, которых я застала налицо.

Самое почетное место между ними занимал «дяденька Федор Петрович»,[7] о котором было уже упомянуто в первой части. Я не буду распространяться здесь о том, что он был известным мореплавателем и географом, что он открыл острова, носящие его имя, что он был

выбран государем Николаем Павловичем воспитателем великого князя Константина Николаевича, что он состоял председателем Академии Наук, а возьму его именно только как «дяденьку Федора Петровича», почитаемого и любимого всей родней. Все называли его «дяденькой», как настоящие племянники и племянницы, так и их дети. Только Юленька и я говорили ему «дедушка». Юленька, названная в честь его покойной жены (рожденной мисс Браун*, пользовалась его особым расположением, и ко мне он относился ласково. Это давало нам право шутить с ним, и любимейшая шутка наша состояла в том, чтобы жаловаться старику друг на друга. Он был глуховат, и потому одна кричала ему на правое ухо, другая на левое:

Юленька. Неужели, добрый, милый дедушка, вы можете любить Лелю? Умоляю, не слушайте ее, она нехорошая...

Я. Дорогой дедушка, отвернитесь от Юленьки, это ехидна, которая подкапывает под меня... Не верьте ей...

Юленька. Дедушка... Что она вам говорит про меня... Не позволяйте ей. Вы должны любить меня больше ее...

Я. Дедушка, не поворачивайтесь к ней... Глядите в мою сторону...

И тому подобные глупости, от которых старик хохотал в голос, откидываясь на спинку кресла и топая ногой об пол.

Мы обедали у него обыкновенно по четвергам. Мамаша каждую неделю, мы же менее аккуратно. Как только прозвонит пять, с последним ударом часов докладывали, что кушать подано. Федор Петрович не любил позднего обеда и не выносил даже двух-трех минут опозданья к нему. Тетя Таля,[8] которая была хозяйкой дома, строго соблюдала все его привычки и прихоти. Приглашая к обеду, она всегда предупреждала, что подают с последним ударом пяти и никого не ждут.

Как раз случилось, что к первому же моему обеду у дедушки мы опоздали на несколько минут. Влетаем наверх... Говорят, что нас ждут... Бежим в кабинет... Большая комната, как сейчас вижу, вся устланная голубым ковром, с портретами царской семьи в золотых рамах, с бюстами, с полками книг, с громадным письменным столом, с фисгармонией, примкнутой к письменному столу... И посредине стоит высокий, худой, николаевского типа адмирал с Георгиевским крестом... Кругом него все наши: обе тетушки, живущие с ним (тетя Таля и тетя Катя [9]), мамаша, сыновья Литке с женами, Мариша, Юленька, Пьер [10] и т. д.

Сконфуженная, я спешу к хозяину, извиняясь на ходу: «Простите, ради Бога, дедушка, простите», — и в эту самую минуту спотыкаюсь и чуть не падаю к его ногам. Старик смеется и острит: «Не так низко, я прощу и без того». Оказывается, это Юленька позабавилась, подставив мне ножку, а сама стоит, как ни в чем ни бывало, но внутри помирает со смеху.

---

* Она состояла англичанкой при великих княжнах.

За обедом я очень любила сидеть около тети Кати. Тетя Таля, хотя и меньшая, занимала хозяйское место. С одной стороны около нее помещалась мамаша, с другой — кто-нибудь тоже почетный, а тете Кате полагалось место пониже с молодыми. Насколько она была в загоне у старших, настолько пользовалась предпочтением меньших. Тетя Таля не стеснялась иногда при всех остановить ее, как девочку, если она погромче засмеется или взвизгнет. Последнее случалось с ней совершенно неожиданно для нее самой.

Я была однажды невольной причиной строжайшего замечания, посланного ей с верхнего конца стола, за такой визг во время обеда. Я хотела призвать потихоньку ее вниманье на какую-то шалость Юленьки и дотронулась до нее, слегка задев ее колено, чего, оказывается, она не могла выносить. Она ахнула на весь стол.

А в другой раз мы с ней вместе сидели в первом ряду кресел в клубе художников — смотрели Стрепетову в «Грозе»[11]... Когда Катерина видит вдруг при освещении молнии картину страшного суда на стене, к которой прислонилась, гениальная Стрепетова испускала такой крик ужаса, от которого сердце леденело. Я вздрогнула и совершенно машинально ухватилась за тетю Катю, опять-таки тронув ее колено, и тотчас же на всю залу раздался второй крик, как эхо крика Стрепетовой.

Мамаша часто раздражалась на тетю Катю, рассказывала образчики глупости Котушки (как она называла сестру), а дяденька Федор Петрович не обращал на нее ни малейшего вниманья, что, кажется, больше всего обижало ее. С его небрежным отношением она не могла примириться и иногда жаловалась нам на Наталью Ивановну, которая была тому виновницей. По крайней мере тетя Катя думала так.

Сначала, когда после смерти Ивана Саввича обе сестры переехали на житье к «дяденьке», Екатерина Ивановна, как старшая, заняла место хозяйки дома и пользовалась дяденькиным доверием и расположением. Но ей пришлось уехать в Карлсбад полечиться от страшных припадков печени. По возвращении оттуда она застала оставшуюся Наталью Ивановну полновластною хозяйкой со всеми ключами, а главное, ключом от дяденькиного сердца в руках. С тех пор тетя Катя отошла на второй план, и между двумя старыми девицами легла горечь ревности, гораздо более едкая, надо сказать, у обижающей, чем обиженной.

Да и в мамашиных отношениях к Котушке пробегала струйка ревности, очень старой, но не забытой. Во времена их юности, когда Павел Дмитриевич, молодым человеком, бывал в доме у Сульменевых, ему больше всех дочерей адмирала понравилась Катенька, которой был 21 год. Он стал за ней ухаживать, наметив ее себе в жены. Но тут случилось осложнение. В него самого влюбилась другая дочь, семнадцатилетняя Аненька, только что вышедшая из Патриотического института.[12]

Тетя Катя рассказывала нам, как однажды, когда сестры уже улеглись спать и потушили свечи, Аненька вдруг соскочила со своей

кровати, бросилась к ней и, обливаясь слезами, шепотом умоляла ее уступить ей жениха. Тете Кате было нетрудно дать ей это обещанье, потому что сама она, в свою очередь, была влюблена в двоюродного брата Alexandre Гирса, но если бы этого и не было, я уверена, что она исполнила бы просьбу сестры из одной доброты. «Уступить жениха...» Наивная, смешная институтская мысль... А разве не случается, что детское простодушие оказывается ближе к истине, чем искусившаяся в жизни опытность?

Как-никак, а «уступка» состоялась. Павел Дмитриевич играл на клавикордах, пел, Аненька тоже пела. Катенька не присоединилась к музыке, а предоставила сестре спеваться с «избранником ее сердца», как говорилось тогда.

Собственный же ее роман не удался, так как Alexandre Гирс женился на Aline Буниной. Таким образом, Котушка осталась старой девой — незлобливой, веселой, любящей старой девой с материнским сердцем.

«Ах, друзья мои, как бы я вас любила, как бы я вас любила, если бы я вышла замуж за Павла Дмитриевича и была бы вашей матерью», — говорила она своим племянникам Дягилевым. Юленька отвечала на это: «Нас тогда, может быть, не было бы на свете». — «Как это? Отчего не было бы?» — спрашивала, смеясь и недоумевая, тетя Катя. Юленька с хохотом кидалась ей на шею и душила ее в своих объятиях.

Юленька была ее божком. Она говорила другим: «Друзья мои, я вас всех люблю, горячо люблю, но Юленька — простите меня — это моя слабость».

Это не мешало и Юленьке, и другим дразнить дорогую старушку, которая даже любила это. Она смеялась, когда при ней рассказывали, как она, садясь на извозчика, сулила ему на чай, чтобы он ехал тише, или как, сидя в театре, она так увлекалась представлением, что начинала принимать в нем деятельное участие. «Уйди, уйди», — восклицала она, если кому-нибудь на сцене готовился удар из-за угла. «Негодяй, подлец», — вскрикивала она в негодовании, если являлся предатель. «Замолчите, он все слышит», — шептала она в волнении влюбленным, объяснение которых подслушивал их недоброжелатель, спрятавшийся в шкапу... Надо всем этим она смеялась сама от души, но была одна область, в которой надо было действовать с осторожностью. Фокус заключался в том, чтобы как-нибудь направить разговор на родство и незаметным образом подойти к тому, чтобы спросить: «А как нам приходятся Маресовы?» — положим. Тетя Катя сейчас же встрепенется и ответит: «Через Фурмановых, душенька ты моя». — «А Фурман как?» — «Как, душенька ты моя, ты не знаешь, как Фурмановы нам приходятся? — как будто укоризненно ответит тетя Катя, а сама в восторге, что попала на любимую тему. — Фурмановы нам сродни через Энгелевых». — «А Энгель как?» — «Ах, душенька ты моя, покойная бабушка была урожденная Энгель, сестра известного любимца императора Александра I, — и посыпется, и посыпется. — Матильда Розен... Катень-

ка Маресова... Покойник дяденька Александр Федорович Литке... Коля Гирс... Сонечка Исеева... Головин...» и т. д., и т. д.

Племянники обожали это словоизвержение не ради сути его — Дягилевы вообще очень равнодушны к вопросу семейного прошлого, но ради того, чтобы любоваться тетей Катей, скачущей на своем коньке.

Вот тут было опасно не выдержать и засмеяться, так как тетя Катя тоже все-таки была человек и тоже иногда сердилась. Правда, гнев ее вызывался и другими причинами.

Помню, как она однажды страшно вспылила, слушая, как одна дама по поводу Жорж Занд [13] стала проповедовать свободную любовь, прибавив от себя, что «глупа та женщина, которая довольствуется одним своим мужем». Тетя Катя вспыхнула и вскочила с места: «Ах, душенька моя, я не знала, что вы сучка».

Но негодованье ее продолжалось недолго. Через несколько минут она погружалась в воодушевленный рассказ на самом изысканном французском языке нового романа в «Revue des deux mondes».

С Натальей Ивановной такой близости у нас не было, несмотря на то, что она нас и мы ее любили. Она считалась очень умной, начитанной, серьезной, и держала себя соответственно. Фигура у нее была довольно тщедушная. Нос чрезмерной длины и издавал постоянно внушительные звуки; светлые, маленькие, как будто заплаканные, глаза озабоченно и строго перебегали с предмета на предмет, проверяя, все ли в порядке. Особенно заметна была ее озабоченность за столом. Она так пристально следила за каждым куском, который ел дяденька, и за малейшим изменением выражения его лица, что у нее от волненья выступала краска на длинном, худощавом, бледном лице.

После обеда, когда переходили в гостиную, она варила кофе за круглым столом посредине комнаты. Надо было видеть, с каким трепетом священнодействия, налив чашечку черного кофе и моментально прикрыв ее крышкой, она подносила ее «дяденьке».

Если ему случалось быть не в духе, раздражение срывалось именно в эту минуту на кофе. Несмотря на то, что чашка нагревалась, что кофе наливался кипящим, что тотчас же закрывался крышкой и что от стола до углового дивана, на котором, надев зеленый зонтик на глаза, помещался всегда после обеда дедушка, было всего три шага, старик находил кофе холодным и сердился. Тетя Таля вздыхала, подымала глаза к небу и взглядывала на мамашу, молча выражая: «Смотрите, смотрите, как он постарел».

Падающие силы дяденьки — это был ее конек. Она жаловалась, что он не допускает никакой посторонней помощи, не позволяет, например, подсадить себя в коляску, а сам, благодаря слабеющему зренью, сует ногу в колесо вместо подножки... Шепталась с сыновьями Литке и с мамашей о том, что он засыпает в председательском кресле во время заседаний Академии Наук, и рассказывала с грустью, к каким хитростям она вынуждена прибегать, чтобы оберегать его. Одна из них, которую я помню, достойна быть записанной.

Дяденька имел привычку проверять свои часы в двенадцать часов дня по пушке, но пришло время, когда ему пушка стала плохо слышна. Это его раздражало. Наталья Ивановна придумала, как пособить горю: ровно в двенадцать часов к кабинету подходил из коридора человек и ударял со всего размаху кулаком об дверь. Дяденька принимал удар за пушку и заводил свои часы по-прежнему.

Вся семья Литке ценила высоко уход Натальи Ивановны за отцом и относилась к ней с большим уваженьем. Шальная Адина и та принимала с ней довольно почтительный тон, что много значило, так как она даже со свекром позволяла себе нахальные выходки. Они сходили ей с рук, потому что она была любимицей старика, однако по бестактности она иногда возбуждала даже и его неудовольствие. Когда ему пожаловали брильянты на Андрея Первозванного, она прыгала от радости, что все эти брильянты ее. «После моей смерти получишь их, милая», — сказал дедушка. — «Я хочу скорей, не хочу долго ждать», — закричала Адина. Старик, говорят, помолчал и ответил тихо, но строго: «Ждать не долго, имей терпенье».

Костя — муж Адины — на все всегда молчал. Не помню, слыхала ли я от него что-нибудь, кроме отрывочных фраз. Это был старший сын Федора Петровича и очень похож на него. Такой же красивый, изящный, важный. Молва приписывала ему много приключений и одно даже высокопоставленное в то время, как он состоял адъютантом у великого князя Константина Николаевича и в свите любимцев красавицы великой княгини Александры Иосифовны.[14] Та же молва утверждала, что великий князь не замедлил отомстить своему адъютанту, как только тот женился на прелестной графине Адине Ребиндер.

Так как мне навряд ли придется вернуться к этой парочке, то я прибавлю теперь же несколько слов об ее печальной судьбе. Муж угас в прогрессивном параличе, жена развелась, вышла замуж за князя Николая Александровича Дундукова-Корсакова и вместе с ним спилась. Оба умерли жертвами вина.

Что касается второго сына Федора Петровича, доброго, ласкового Никса Литке и его семьи, о них буду еще говорить, так как они гораздо ближе стояли к Дягилевым, чем Костя. Никс женился против желанья отца на Амалии Шоберт, которая тоже была очень хорошенькая, но не такая блестящая и светская, как Адина. Это — прекрасной души человек, который впоследствии, когда Адина превратилась в пьяную, несчастную, помешанную женщину, оказывал ей ласку и поддержку, от всего сердца забывая, как эта самая Адина затирала ее при жизни старика.

Возя меня по своей родне, муж мало объяснял мне о ней. Например, мы делали визиты целой серии семей Гирс, а как эти Гирсы приходились дядями и кузенами, умалчивалось или на мои вопросы отвечалось со смехом любимой ходячей шуткой: «Через Фурманов» или: «Через Энгелевых... Спроси тетю Катю».

Во время моего первого визита к одному из Гирсов случился комичный инцидент. «Теперь мы к Сашке Гирс,[15] — объявляет мне Па-

вел Павлович, садясь в карету. — Он женат на Левицкой... Ты знаешь, известная певица Левицкая? Ей пришлось сойти со сцены... Дядя поставил это непременным условием... Понимаешь?»

Признаться сказать, не очень-то я понимала, но Левицкую я знала, слыхала на Мариинской сцене, где она недолго занимала амплуа колоратурного сопрано и была любимицей публики, прозвавшей ее «маленькой Патти».[16] Прозвище это подходило даже и к ее наружности.

Вот приезжаем мы к «Сашке». Посылаем доложить о себе. Просят. Подымаемся и входим в гостиную, где нас встречает хорошенькая черноглазая хозяйка с мужем. С ними находится молодой человек среднего роста с русой бородой.

После первых приветствий Полина Сергеевна представляет мне своего брата. Молодой человек молча раскланивается и, дождавшись, чтобы мы сели, молча уходит в другую комнату. В ту самую минуту, как он скрывается за дверью направо... противоположная дверь налево открывается, и из нее выходит... он же.

Я останавливаюсь на полуслове. Все окружающие разражаются хохотом, я ничего не понимаю и хлопаю глазами. «Мой брат», — говорит опять Полина Гирс. «Мы уже познакомились», — отвечаю я, в недоуменьи поглядывая на правую дверь, еле еще успевшую закрыться. Хохот еще сильнее. «Вы познакомились с Володей, а это Лев».

Я смотрю и не верю глазам. Такого сходства мне никогда в жизни не случалось встречать. Но сходство само собой, а прическа, борода, платье, цвет галстука — все совершенно одинаково.

Полина и Саша — в восторге от удавшейся шутки, рассказали нам, что им пришло в голову сыграть ее со мною, новичком в семье, как только доложили о нашем приезде. Это была одна из бесчисленных шуток, которые постоянно разыгрывались на сходстве братьев-близнецов. Сходство это они намеренно доводили до крайности, одеваясь совершенно одинаково и нося одинаковые бороды. Разумеется, не проходило дня, чтобы не возникали отсюда смешные положения.

На вечерах, например, танцуя визави друг с другом, они сговорятся меняться дамами по несколько раз во время кадрили, дамы же продолжают начатый разговор, не подмечая подтасовок, а братья только перемигиваются и смеются про себя, забавляясь, как дети. Им и в голову не приходило, к чему приведет их эта забава.

Родство Дягилевых с Гирсами, как я, наконец, узнала, было близкое и объяснялось тетей Катей так: «У покойного деда моего Литке, душенька моя, от первого брака на дочери доктора Энгеля Анне (нашей покойной бабки) было двое сыновей — Евгений и Феодор (дяденька Федор Петрович) и трое дочерей — Наталья (покойная маменька), Анна (замужем за Гирсом) и Елизавета (замужем за бароном Розеном). От второго же брака, душенька моя, были сыновья — Владимир, Петр, Николай, Александр; дочери — Эмилия (замужем за Маресовым) и Роза, незамужняя. Следовательно, Nicolas,

Alexandre и Fritz Гирсы — сыновья тетеньки Анны Петровны, наши двоюродные братья. Alexandre был женат на Буниной, овдовел, и у него осталось два сына — Саша и Сережа. Саша женат на Левицкой, а Сергей — шалопай, душенька моя».

О дяде Александре Карловиче [17] и его семье, которая из всех семей Гирс была самая близкая молодому поколению Дягилевых, будет еще говориться своевременно.

Николай Карлович [18] был в очень хороших отношениях с двоюродными сестрами, то есть с мамашей и с тетками, но для нас был уже гораздо дальше. Он подолгу живал за границей на разных дипломатических постах, делая свою карьеру, которая привела его, наконец, к портфелю министра иностранных дел.

Я помню, как мне странно и смешно казалось, когда мамаша и тетки с умиленьем вспоминали прелесть Коли Гирса ребенком. Его привезли из провинции в Петербург к доброму Ивану Саввичу для определения в лицей. (Все Гирсы по очереди привозились к старику и росли на его попечении.) Дело было зимой. В столовую внесли теплый мешок, поставили его на стол, и из него вдруг выскочил очаровательный маленький мальчик с голубыми глазами и золотыми кудрями. В первый раз, когда я слышала этот рассказ, Николай Карлович только что вышел от мамаши, где мы все находились. Его согбенная фигура, впалые глаза, лысоватая голова, исключительно не по годам морщинистое лицо и слащавая дипломатическая улыбка только что исчезли за дверью. Я добросовестно старалась мысленно соскоблить с него все это и восстановить очаровательного мальчика с золотыми кудрями. К моему собственному удивлению, вдруг после больших усилий мне это удалось. У меня осталась потом привычка воображать себе, какого рода детьми были старики и, наоборот, какими стариками сделаются дети.

С семьей же Николая Карловича, часто отсутствующей из Петербурга, отношенья то вспыхивали, то потухали. Одно время было что-то вроде начала романа между старшим сыном Николая Карловича, Никсой, и Юленькой, то есть он пленился ею, ухаживал, но тут же появился Пьер, и дело приняло другой оборот. Две старшие дочери — Наташа и Ольга — были симпатичные девушки. Мы с ними виделись большею частью у нас. Я же у них бывала очень редко.

Мать их — Ольга Егоровна, рожденная княжна Кантакузина, — не понравилась мне с первого же знакомства. Приехав отдать мне визит, она потребовала, именно потребовала, чтобы ей показали Сережу. Когда я привела его в гостиную, она оглядела его критическим оком и авторитетным тоном объявила мне, что «этот ребенок долго не проживет. Посмотрите, какая у него голова... Случись с ним малейшая детская болезнь, хоть корь — конец, он не вынесет. Это я вам говорю, вы можете поверить. Я опытная мать». У ней, действительно, было множество детей, но пророческого дара ей это не давало и не делало ее ни любезнее, ни приятнее.

О третьем дядюшке Гирс, Федоре Карловиче,[19] могу сказать немного. Я мало знала его; обмениваясь визитами, мы не заставали

друг друга и встречались очень редко, большею частью у Ноночки на тех ее вечерах, где толпились вместе все родственники, хорошие знакомые, мало знакомые, а для хозяина Владимира Дмитриевича подчас и совсем не знакомые. Слышала я, что дядя Фриц славился своим враньем, слышала постоянно анекдоты о новых его проделках... И не знаю почему, — совершенно субъективно, конечно, — все, что относилось до него, казалось мне неинтересным. Он дослужился хоть не до портфеля, как брат Николай, но все-таки, как брат Александр, «до степеней известных» и, несмотря на «хлестаковщину», считался дельным и даровитым человеком.

Племянник его, сын его родной сестры, Сергей Сперанский занимался собиранием его импровизаций, из которых, чуть ли не самая характерная, произнесена была им в одном из высших государственных учреждений, где он отстаивал какое-то дело. Федор Карлович кончил свою речь, объявив присутствующим, что доклад свой он считает настолько важным, что не решился его отложить даже по случаю смерти жены. «Она умерла час тому назад и лежит на столе», — заключил он со слезами. Римская доблесть Федора Карловича была оценена заседающими по достоинству, дело решено согласно его докладу, а жена его продолжала себе жить да поживать.

Но бывали случаи, когда дядя Фриц зарапортовывался наподобие другого гоголевского героя; явился он, например, однажды с визитом к Владимиру Дмитриевичу[20] и торжественно сообщил ему новость о своем назначении на пост губернатора в Псков. Владимир Дмитриевич, сам псковский помещик, в ответ на это улыбнулся и, указывая на сидевшего тут же другого визитера, сказал: «Позвольте вас познакомить, — наш Псковский губернатор... такой-то». Картина.

Насколько двоюродные братья мамаши вылезли в чины, настолько родным ее братьям они не дались. Из всех четырнадцати человек детей Ивана Саввича и Натальи Петровны Сульменевых в живых осталось, кроме трех дочерей, всего два сына — Николай и Петр.[21] Николай был года на три старше мамаши, моряк, как отец, и дошел до капитана первого ранга. Тут с ним что-то стряслось, я не могла добиться наверно, что именно; кто говорил — несчастная любовь, кто говорил — вино, но он вдруг бросил службу и постригся в монахи в Коневецкий монастырь,[22] где вел смиренную, труженическую жизнь рыболова и дровосека.

Я видела его только один раз в жизни в первый год моего замужества. Вошла как-то к мужу в кабинет и застала там благообразного, высокого-высокого старика в рясе и клобуке. Это был дядя Коля, или отец Никанор. Он посидел с нами, весело поговорил и очень мне понравился. Когда он стал прощаться, муж, которому подана была коляска, вызвался довезти его куда-то, на что, помню, он воскликнул: «Что ты, что ты, кавалергард с монахом... Виданое ли дело?» Они поспорили, пошутили в передней и все-таки поехали вместе: «Ну, едем, коли тебе не стыдно», — решил дядя.

В это время он уже был переведен в Киновею (отделение Александро-Невской лавры по ту сторону Невы).[23] Он упорно отказывался от посвящения в иереи, не считая себя достойным совершать таинства, но митрополит вызвал его в Лавру, посвятил насильно и назначил жить в Киновее. Умер отец Никанор в 1876 году смертью, достойной своего сана. Он заразился черной оспой, причащая и напутствуя умирающего. Помню, что меня поразила на его похоронах величина громадного заколоченного гроба, стоявшего на каком-то возвышении, — точно гроб сказочного великана.

Петр Иванович, тоже моряк по профессии, был очень скромный, тихий и несколько угнетенный семейной жизнью человек. Жена его, Настасья Константиновна Полторацкая, очень хорошенькая избалованная женщина из когда-то бывших в моде женщин — сахарных куколок, упорно желала оставаться таковой до конца своих дней, несмотря на несоответствие этого типа с стесненным матерьяльным положением и большой семьей. Муж и дети кротко и почтительно переносили все ее капризы, прислуживая и угождая ей через силу. Жили они в Ревеле, изредка наезжая в Петербург.

В год моего замужества сын их Робушка, маленький, худенький мальчик, был привезен и отдан в корпус. В настоящую минуту этот Робушка — Роман Петрович — полковник с седой головой, воспитатель Сербского королевича.[24]

Нельзя сказать, чтобы мамаша была очень дружна с братьями. Монашество, которое было ей так ненавистно в силу известных обстоятельств, не могло, конечно, улучшить ее отношений к отцу Никанору, но замечательно, что оно не сблизило его и с Павлом Дмитриевичем. Предполагается, что между свояком и зятем произошло что-то именно на религиозной почве, что, наоборот, отдалило их друг от друга.

Мамаша, которая так охотно, так много и так подробно рассказывала мне о всей семье, редко упоминала о брате Николае. О Петре Ивановиче она говорила чаще, всегда несколько пренебрежительно за его безвыходное пребывание под туфлей Настасьи Константиновны. Об истериках и мигренях последней у теток и у мамаши хранились вороха анекдотов, но уделять им здесь место не стоит. Гораздо интереснее мамашины belles-soeur'ы,[25] сестры папаши.

Старшая из них, Татьяна Дмитриевна, была замужем за Сведомским (известные художники, братья Сведомские Павел и Александр, приходились ей внуками).[26] Муж ее, Павел Сведомский, а после его смерти брат его Михаил, были опекунами над папашей, когда он в шестнадцать лет осиротел. Впоследствии, когда Татьяна Дмитриевна овдовела, папаша взял ее к себе в Петербург и в свою очередь сделался опекуном ее единственного сына Саши.

Выйдя замуж, Анна Ивановна застала в доме у мужа совершенно расслабленную золовку, за которой ей пришлось ухаживать. Уход был трудный и сложный, потому что больная находилась в столбняке и отличалась от трупа только тем, что дышала. Мамаша часто описывала нам, как лечили Татьяну Дмитриевну, стараясь возбудить

в ней чувствительность. Пробовали обливать ледяной водой, прижигать каленым железом, втыкать в тело булавки, но все напрасно: она лежала под этими пытками молча и неподвижно, как мертвая.

Так продолжалось два ли, три ли года, может быть, и больше, не помню. Наконец, как-то вечером, по возвращении Павла Дмитриевича и Анны Ивановны домой с обеда от Ивана Саввича, их встретила в передней одна из крепостных девушек Татьяны Дмитриевны и объявила им, что барыня ее зовет их к себе. Ошеломленные таким известием, они кинулись к больной. Она встретила их ласковыми словами, благодаря мамашу за заботы, а потом перешла к повествованию до мельчайших подробностей своих страданий за все время болезни. Оказалось, что она буквально все слышала, все видела, все сознавала, все чувствовала и, главное, все ясно помнила, что творилось с ней и вокруг нее.

Мамаша плакала от скорби и жалости, слушая непрерывно льющуюся речь, полную ужасов, начиная с каленого железа и кончая разоблачением всего, что говорилось и делалось в ее присутствии, думая, что она не видит и не слышит. Раз, когда одна родственница вошла, открыла сундук, достала из него ее жемчуга и унесла их, она почувствовала, что вот-вот сейчас крикнет, но звук не вылетел из горла. Проговорив таким образом несколько часов без умолку, Татьяна Дмитриевна на следующий день скончалась.

Это случилось в начале сороковых годов, так что и старшие дети Павла Дмитриевича и Анны Ивановны не помнили свою больную тетку, а я, разумеется, застала только отдаленное воспоминание о ней.

Другая же тетка — меньшая сестра папаши Елизавета Дмитриевна Протейкинская — умерла только в 1889 году, так что ее мы все отлично знали.

Раз в год, в день ее именин, собиралась у нее вся родня. Тесно заставленные темной громоздкой мебелью комнатки заполнялись крупными дягилевскими фигурами, их громким оживленным говором и смехом. Хозяйка усаживала своих гостей за накрытый и покрытый угощеньями стол, но сама не садилась, — не для того, однако, чтобы суетиться и хлопотать. (Это предоставлялось ее прислуге — знаменитым Дашеньке и Наташеньке.) Она же все время почти стояла, подбоченясь, с интересом слушая разговоры и подзадоривая племянников на шутки своим отрывистым говором, чрезвычайно похожим, как я впоследствии узнала, на говор Павла Дмитриевича. Она вообще очень напоминала брата чертами лица и низеньким ростом. Ее приземистая фигурка в пелеринке, каких уже больше не носили, косички, свернутые крендельками на висках, чепец с лентами — все это было очень стильно и подходяще к окружающей обстановке.

Мамаша называла Елизавету Дмитриевну Коробочкой.[27] Коробочка не Коробочка, но все-таки, переступив ее порог, забывалось, что вошел с Литейной...[28] Петербург вдруг исчезал за этим порогом. По одному запаху квартиры можно было вообразить себя в маленьком

деревянном с мезонином домике на тихой немощеной улице любого губернского городка, но когда к этому запаху старых шкапов, ширм, кожаных диванов кипарисового дерева и лампадок присоединялся еще аромат подрумяненного пирога с сигом и визигой, то Нева, Исаакий,[29] торцовые мостовые, Невский окончательно изглаживались из памяти, как будто их никогда не бывало.

Пирог с сигом был гордостью тетушки Елизаветы Дмитриевны и славой ее кухарки Дашеньки. Каждый год он, как феникс, возрождался вновь, и появление его встречалось гостями большим одобрением. К нему неизменимо подавалась киевская наливка в обсыпанной песком бутылке.

Принимал и угощал всегда вместе с матерью за хозяина дома меньшой ее сын Александр, которого в семье называли Санькой. Муж Елизаветы Дмитриевны, Петр Павлович, Кишиневский вице-губернатор в отставке, скончался незадолго до моего вступления в семью, оставив вдову с детьми, из которых дочери были замужем, а два сына жили при матери. Младший сын [30] был горбатый и болезненный, вследствие чего он не мог нигде доучиться, не мог и служить. Мать не чаяла в нем души и с гордостью говорила об его успехах в обществе.

Он имел, действительно, большое знакомство и проводил всю жизнь, снуя из дома в дом. Его везде принимали и даже баловали, частью, может быть, из состраданья, но частью и потому, что он был человек не без дарований, не без вкуса и на все руки. Он сочинял романсики, бренчал на фортепьяно, недурно рисовал карикатуры, клеил, выпиливал, вышивал и т. д.<...>[31] В семье менее дорожили этими свойствами и часто вооружались против Саньки, наткнувшись на какую-нибудь его сплетню. Даже мужу моему случалось выйти из терпенья, позвонить лакею и приказать подать пальто Александру Петровичу. Санька обижался, но ненадолго и скоро опять появлялся, принимая участие во всех семейных затеях и увеселениях.

Старший брат [32] был совсем другой. Я, конечно, попыталась бы по мере сил описать этого странного и необыкновенного человека, если бы в литературе не существовал его портрет, набросанный с совершенством, на какое способен такой мастер, как В. В. Розанов.[33] В газете «Русское слово» от 17 февраля 1909 г. помещен был фельетон за подписью Варварина (псевдоним Розанова, когда он не пишет в «Новом времени»). Неточности и ошибки, которые в нем встречаются, больше внешнего характера — не важные, и они вполне искупаются тонкостью, художественностью и забавностью всего фельетона. Озаглавлен он «Анна Павловна Философова» — о ней, разумеется, идет главным образом речь, но мимоходом задеты и другие члены семьи, а самое пространное описание после Анны Павловны посвящено Виктору — Висеньке, как мы его называем. Поэтому я и помещаю здесь это описание, невзирая на то, что между ним и эпохой текущей главы лежит пропасть в целых тридцать пять лет.

Взвесив все «за» и «против» подобного уклонения от строго хронологического порядка, я пришла к заключению, что оно не повредит ясности рассказа. При этом маленькое замечание: в 1909 году даровитейший современный журналист избирает Висеньку предметом своего творчества, а другой журналист и художник называет его «одной из самых достопримечательных личностей теперешнего Петербурга». В 1874-м же никто не подумал бы обратить на него такого вниманья, считали его безобидным чудаком и говорили о нем не иначе, как с усмешкой. Мистическую подкладку чудачества или юродства не видели шестидесятники, да и родная мать Висеньки, хотя и не принадлежала к ним, однако видела его в том же свете. Она недоумевала над его образом жизни и вместе с меньшим сыном жаловалась всем родным главное на то, что человек с университетским образованием не служит — не «желает» служить.

«А впрочем, кто его знает, может быть, он и служит, — говорила тетушка, взмахивая руками, — я ведь ничего не знаю, что он делает, где пропадает целыми днями... Он нам ничего никогда не скажет».

Действительно, он всю жизнь облекал малейшие и самые незначительные свои поступки в какую-то тайну. Несмотря, однако, на всю его скрытность, до нас доходили слухи о нем, то об его монашеском поведении, то о присутствии его при больных и умирающих, даже у совершенно незнакомых ему людей, то об занятиях его с детьми, преимущественно бедных семей, безвозмездно, в то время как и сам он нуждался. Брат его хорошо одевался, пользовался лучшей комнатой в квартире, а он помещался где-то, как-то, одет был всегда плохо, бедно и имел дома вид скорее приживальщика, чем хозяина, следовательно, помогал он не от избытка.

У меня не хватает духу обрезать фельетон там, где кончается речь о Висеньке, не поместив здесь все, что касается и до Анны Павловны, облик которой, я уверена, тоже не пострадает от хронологического скачка. Таким образом, ниже прилагается почти весь фельетон, за исключением двух-трех параграфов о женском клубе, показавшихся мне неинтересными для этих страниц.

АННА ПАВЛОВНА ФИЛОСОФОВА [34]

(«Русское слово», 17 февраля 1909 г.)

I

По растерянному своему обыкновению, я обо всем забыл и ничего не сделал, чтобы обеспечить себе право посещать заседания первого всероссийского женского съезда.[35] *Потом только я вспомнил, что ведь вездесущий Виктор Петрович предлагал мне недели за две «достать билет» туда, но я из страха, что таковой билет обяжет меня «писать о съезде», с гневом замахал на него руками... «Не надо! Некогда! Сто тем своих». Вездесущий и всеведущий Виктор Петрович улыбнулся, засмеялся, похлопал меня по плечу и отве-*

тил: «Ну, ладно! ладно! Вы устали, и я не хочу вас утомлять. Но я думал, что вы сами захотите!»

Сам захочу!.. Боже, как давно «сам» я ничего решительно не хочу, кроме как сидеть дома, обув туфли и надев халат.

Вы удивляетесь, что я называю «Виктора Петровича» без фамилии. Но в Петербурге немногие знают его фамилию, никто решительно не знает его адреса и жилища, и все решительно знают «Виктора Петровича», иногда переименовываемого в дружеское «Виктор» и в любовное «Висенька»... Как-то раз в разговоре со мною известный наш живописец, историк живописи и журналист А. Н. Бенуа назвал его «одною из самых достопримечательных личностей теперешнего Петербурга», и мне кажется, что это так. Никто не знает не только адреса и жилища этого «Виктора Петровича», но никто не знает и лет его, а все его помнят, и уже давно помнят, — все равного, все не усталого, всем занятого, всем интересующегося, все или очень много могущего. Катехизические свойства «существа Божия» — вездесущие, всеведение, всемогущество — до изумительности соединены в этом «образе и подобии Божием», которое я, грешный человек, много раз порывался определить в уме своем как «колдуна», и только останавливала меня постоянная доброта, постоянная ласковость, постоянная филантропия этого «Виктора Петровича»...

— Вы говорите, — что у вас дети хворают? Кашляют, повышенная температура, бессонница? Поищем...

И, распяливая допотопное пальто, он вытаскивает из далекого кармана целую книжицу, которая называется «Руководством гомеопатии», роется, находит страницу, списывает рецепт и подает его вам.

— Во всяком случае безвредно. Вода как вода. Но, может быть, и поможет. Если дадите с молитвою, то и поможет.

И непременно поможет; оттого-то «Виктора Петровича» я и определял иногда в уме своем «колдуном», что решительно чего бы он ни захотел, это непременно исполнится. Точно он и «стихиям повелевает», — как сказано в Евангелии о бесах.

Или в белую петербургскую ночь вы идете целой литературной компанией по Литейному. Смех, шутки, споры. Вдали намечаются две черные точки, недвижно стоящие, которые при вашем приближении вырисовываются, как две человеческие фигуры, о чем-то разговаривающие.

— А ведь это непременно Виктор.

Подходим, — и в самом деле «он», в жарком споре с известным математиком. Восклицания удивления с обеих сторон, и взаимные рукопожатия.

Захожу в редакцию «Мира искусств»,[36] *на Фонтанке. Никого не застал и с досадой спускаюсь с 3-го этажа. Вдруг меня окликают по имени и отчеству. Поднимаю голову и вижу Виктора Петровича.*

— Что же мне сказали, — гневно я кричу, — что в редакции никого нет?

— В редакции и нет никого, а я лег соснуть и не велел себя будить, потому что ночь эту не спал. Сергей Павлович (Дягилев) вернется через час, и тогда же соберутся все...

И с Сергеем Павловичем и со «всеми» Виктор Петрович был на «ты» и приходил сюда выспаться, когда было далеко идти домой. И для всех Виктор Петрович — близкий, и всем он — далекий; и все о нем «очень много знают», и никто о нем, «в сущности, решительно ничего не знает». Кроме «колдуна», я его еще мысленно называл иногда «сумасшедшим», — в смысле человека, одержимого манией или меланхолией, или черт знает чем-то, но, во всяком случае, далеким от нормальности, от нормального человеческого вида и нормального человеческого образа жизни, хотя говорил он замечательно связно, последовательно и логично. Будучи на «ты» и меняясь ласкательными уменьшительными именами с Дягилевым,[37] Философовым,[38] Бакстом,[39] Серовым,[40] Нуроком,[41] Нувелем,[42] — кружком «Мира искусств», — он, к удивлению моему, говорил на «ты» и со старцем-генералом П. Д. Паренсовым, автором «Воспоминаний» [43] о русско-турецкой войне и бывшим нашим военным министром в Болгарии, первым после ее освобождения! А ведь как давно это было!

Раз я захожу к Анне Павловне Философовой.

— Вы совсем меня забыли... Я была больна. Инфлюэнца с осложнениями. Вылежала две недели в постели, и если бы не Висенька...

— Какой Висенька?..

— Да мой милый, добрый Висенька, Виктор Петрович, которого и вы знаете; с утра он приходил ко мне, каждый день, и читал мне газеты и брошюры. Если бы не он, я не знала бы, как пережить эти недели. Все заходят на минутку и для себя, а он приходил на целый день и для меня. Такой добрый... Ну, садитесь.

Этот-то «Виктор Петрович» готов был провести меня и на всероссийский съезд женщин, когда я резко отказался... И вдруг — съезд, и все поднялось и зашумело в Петербурге. Подчиняясь всеобщему движению, и я захотел «непременно» быть там. «Непременно! Во что бы то ни стало!»

— Поздно. Не достанете билета...

— Я журналист.

— Все равно не достанете.

— Я буду писать о нем.

— Не достанете. Все хотят писать.

— Я к Анне Павловне Философовой.

— Вы знакомы? Попробуйте...

Никакого не было сомнения у меня, что уж «Анна-то Павловна может»: она была и официально «почетной председательницей съезда», а, главное, с незапамятного времени, еще с эпохи 60-х годов,

она была одушевлена женским движением и одушевляла всех. Оказывается, она переменила квартиру, и я приехал на новую.

Но квартира как бы и не менялась: множество «вещей» поглощали квартиру, задрапировывали перемену ее... Не очень светло, как всегда в Петербурге... И эти «вещи» мягкие, старинные, с завитушками — столики, этажерочки, полочки — и портреты, портреты с надписями, с подписями, в рамках разных эпох и стилей...

— Это все «мое», это все «мои»...

«Мое» и «мои» не в смысле собственности, — очень растерянном и всегда, я думаю, нетвердом у Анны Павловны Философовой, а «мои» в смысле «мои дорогие», «мои милые», которых я люблю и любила, которые со мною жили, со мною трудились, которые «мне помогали» или «я помогала им»... Квартира небольшая, «ничего себе», но во всяком случае небогатая. «Только есть, где принять».

— Где же Анна Павловна? — спрашиваю я у идущего за мною человека в белых перчатках, если и не «бывшего дворового», то очень похожего на «бывшего дворового» или «дворецкого», вообще что-то из Тургенева, из «Рудина», из бывшего помещичьего быта...

— Я здесь! — раздается голос с кушетки. Оглядываюсь, — в углу, укутанная пледами и окруженная подушками, лежит или полулежит Анна Павловна Философова. Лицо счастливое, веселое и утопленное.

— Больны?

— Здорова.

— Почему же вы лежите?

— Я же должна сегодня вечером открывать съезд. Собираю силы... Лежу и молчу.

Но глаза «так и говорят»... Тут я понял, что умная деятельница с 60-х годов, женщина 68-ми лет от роду, собирает «капельки сил», «гаснущие искорки» жизни в себе, чтобы на один час вечера стать перед многочисленною толпою еще женщиною, полною бодрости, и громким, отчетливым, слышным на огромный зал голосом сказать несколько «вводных», «открывающих» съезд слов. Само собою разумеется, что было бы ужасно некрасиво, тускло, наконец, грустно для всеобщего впечатления, если бы первые слова на таком молодом и энергичном собрании, как этот «первый всероссийский съезд женщин», были «прошамканы», «промямлены» почетною старухою... Между тем, по связи с историею, по почтению к истории, по традиционности всего этого «женского движения» съезд, конечно, и мог быть открыть только старухою, непременно старухою! Задачи молодые, нет, — брызжут молодостью, а открытие и первое слово вручены старости, разрушению... Нужно было сделать иллюзию, преодолеть натуру: нужно было во что бы то ни стало устранить «старость» из впечатления, по крайней мере, старость, как б е с с и л и е, как н е м о щ ь... И Анна Павловна старалась; а, как мне потом передали, это ей и удалось: в 8 часов вечера она, сильная, поднялась на эстраду, произнесла несколько милых, ласковых,

приветливых слов, но голосом столь твердым и ясным, что слова донеслись до самых далеких уголков зала. И все услышали этот привет и ласку, не переспрашивая, «что сказано», «как сказано», — услышали сами и все.

— Да что было сказано? — переспросил я.

— Очень хорошо, умно, мило. Всем понравилось. Она сказала, что они, деятельницы старого времени и члены устроительного комитета, с дорогим приветом встречают женскую молодежь, съехавшуюся со всех концов России и, очень много, из других стран, — женщин-тружениц, женщин-деятельниц... Да я не помню, что она говорила, но это всех согрело, связало и подняло. Все были страшно довольны и с любовью глядели на ее милое и ласковое лицо.

Только это и нужно было. Не рефераты же ей писать в 68 лет. Да и всякий реферат есть уже подробность, но ведь надо создать то целое, в чем будут, как подробности, все речи, рефераты, шум, движение, плоды. Нужен план, вдохновение, идея, а не работа: и Анна Павловна, не только в этот год и на эту минуту, но на целых полвека более, нежели кто-либо, более, нежели ее ученые сверстницы и сотрудницы, созидали это вдохновение, созидала эту идею своею удивительною душою, своею удивительною личностью.

— Мне нужен билет, Анна Павловна!

— Билета не было ни одного уже вчера. Но я дам вам записочку к действительной председательнице съезда, д-ру Шабановой,[44] и уж если она не может, — значит, сам Бог...

Она не кончила. Как же это, «Анна Павловна Философова не может»... Значит, действительно, трудно. Я забеспокоился.

— Но я непременно хочу быть. Во что бы то ни стало.

— Поезжайте и поспешите. Может быть, еще захватите. И вот, чтобы помочь вам и словом, с вами поедет моя невестка, которую лично знает Шабанова. Ты свободна, милочка? — она обратилась к стоявшей тут же молодой, белокурой женщине, которая была «готова», как и все Философовы всегда и ко всему «готовы»...

Мы поспешили. В обыкновенной «докторской квартире» к нам вышла «известная д-р Шабанова», но она была так черства, тверда, последовательна в своих упреках, «отчего мы не позаботились ранее», наконец, она была так больна мигренью или чем-то, что мы благодарили Бога, когда нам было, наконец, возможно пожать ей руку и отправиться вспять.

— Значит, безнадежно, — сказал я угрюмо своей незнакомой спутнице.

— Подождите еще. Последняя попытка.

И она дала извозчику адрес «женского взаимного благотворительного общества». Это был клуб, или, точнее, тот женский улей, где и зародился самый съезд, то есть и его идея, и осуществление <...>

Невестка А. П. Философовой — жена большого административного чиновника — вошла в этот «свой клуб», как пчелка влетела в шумный пчелиный улей. Все — «свои», всех «можно просить», можно «хлопотать и добиваться», и «получить все, что возможно»... Клуб дает эти возможности, увеличивает индивидуальные силы. Сейчас же она провела меня к «секретарю клуба», какой-то урожденной княжне, теперь — вдове профессора или доктора, у которой единственный сын-гимназист; и сын этот всякое воскресенье проводит здесь же, в клубе, около матери, а эта мать его, овдовев, совершенно слила свое личное существование с существованием клуба. Я отмечаю этого секретаря и этого гимназиста, так как здесь проявилась одна черта, которая сейчас же кидается в глаза, как только войдешь внутрь женского движения, и черта эта совершенно противоположна той, которая предполагается о женском движении всеми, состоящими вне его: именно, что так называемое «женское движение» все глубоко женственно и семейно! Оно движется отнюдь не «холостыми девицами» и не женщинами «холостого типа», не «обездоленными», не «уродами», не исключительностями, а глубоко нормально исходит из (личного) счастья и порывается ко (всеобщему) счастью, и ведется глубоко нормальными женщинами, без всякой вражды к мужчинам, без малейшей вражды к семье, семейному началу <...>*

*Ну, вот этот секретарь,** с пунцовым бантом на груди, княжна, богата, образованна, вдова, имеет прекрасного сына *** подростка, которого, по обычаю матерей, «боготворит», — чем она не нормальная и не полная женщина с полною судьбою? И вместе с тем она «весь день в клубе, в хлопотах, в заботах». Я переспросил:*

— Почему?

— Любит клуб!

Самый нормальный, счастливый ответ: «любит это дело». Любит, и ничего более, как и все мы хорошо делаем то единственное дело, которое любим! И сын от нее не отходит, «тут же», и ничуть она не перестала быть семьянинкой, и сын любуется на то, что мать его всем нужна, все ее спрашивают, к ней обращаются, она всем помогает. Сын любуется на то, что мать его полезный человек, — гордится этим, и этою хорошею сыновнею гордостью воспитывается более, чем как если бы мать вечно вязала чулок, сидя с ним vis-á-vis,[46] в чепчике и по образцу немецкой картинки. «Каждому времени свое» и «каждому народу свое», и каждая эпоха достигает наилучшего своими приспособленными, новыми средствами и путями.

— Ну, если и секретарь клуба не сможет добыть вам билета на съезд, тогда никто не может, — сказала обессиленно невестка А. П. Философовой.

---

* Жена старшего сына Анны Павловны (Владимира Владимировича) — Зинаида Германовна, рожденная Тобизен.

** Вера Кронидовна Воронец, рожденная Панаева.[45]

*** Кроня Воронец.

Оказалось, и она «не могла». Но сейчас же она отдала свой билет, сказав о себе, что «уж как-нибудь обойдется»... Все уладилось, округлилось. Но я еще задержался несколько времени в клубе, любуясь на этот шумящий рой. «Ж-ж-ж», «Ж-ж-ж»... Совершенно пчелы.

* * *

Много потом я видел, слушал, посещал «с билетом», выхлопотанным с таким трудом. Много размышлял. А. П. Философовой я с того времени не видел: «Некогда!» Но сколько раз за эти дни женского съезда, думая обо всем «женском движении», я возвращался мыслью к этой женщине, которую знаю столько лет и которая собою и своею личностью столько мне уяснила в «женском вопросе». Ведь когда-то, именно все время до знакомства с нею, я был враг или пересмешник «женского движения», как многие, как почти все <...> Пока А. П. Философова не то чтобы доказала мне, а показала в себе мне, что это... совсем, совсем не то! Совсем, совсем другое!

II

*В кабинете ее сына, декадента и эстета Д. В. Философова * стоит большой поясной портрет прекрасной женщины в голубом. Это — сама юность, надежда и обещание...*

— Обратите внимание, — сказал, улыбаясь, мне сын ее. — Нельзя сказать, чтобы платье ее было глухо закрыто: и руки, и плечи, вся шея, часть груди обнажены. Это обыкновенное платье того времени, 60-х годов. Но когда я спросил ее однажды: «Мама, для чего же вы так низко опустили волосы на уши, так, что даже края их не видно, — вы точно совсем без ушей», — она густо покраснела и ответила негодующе: «Я не могла допустить мысли дойти до такого бесстыдства, чтобы открыть уши!»

Он любяще улыбнулся. «Дама в голубом» была так красива... Плечи еще узкие, совсем детские, лицо немножко удлиненное, глубоко нежное, а в очерке губ уже то сложение, какое я знал в «Анне Павловне Философовой».

Бывая у нее, я любил заходить в эту комнату сына, и еще, и еще любовался портретом. Сын редко бывал дома, когда «у мамы кто-нибудь». Он пропадал в кружке художников и писателей «Мира искусства», не любил друзей матери, смеялся над ними, над Стасовым,[48] и вообще имел вид «дэнди и аристократа», которому «противно все это»...

---

* Теперь — писатель на религиозные и философские темы. Только что вышла из печати его интересная книга: «Слова и жизнь».[47] Он не обещает быть огромным писателем, но он уже теперь — значительный писатель. (Прим. В. В. Розанова).

— Дима не любит ничего «из моего». Прочтите, какую опять он ужасную статью написал о Стасове: хоть бы подумал о сорока летах дружбы своей матери к этому человеку...

И она плакала, подавая мне листок «Биржевых ведомостей» или чего-то.

Стасов громыхал в ответ, громя «декадентов» и молодого философа-эстета. Мать растерянно расставляла руки:

— Я не знаю, кто тут прав. Но я со Стасовым и особенно с сестрою его Надеждой Васильевной Стасовой,[49] прожила всю жизнь, и никогда, никогда, ни ради сына и никого, я не изменю святым заветам, которым мы служили. Но это так горько, горько, что уже в сыне рушилось все!..

Правда, это была трагедия: она так же любила сына, как и «все, все, что шло от священных 60-х годов».

— Нет, оставим все это, — сказала она в один вечер, отодвигая тетради «Мира искусства» и иллюстрированные каталоги с «декадентскими женщинами», всегда голыми и волосатыми. — Оставим! Кто хочет и не скучает, пусть прослушает мое дорогое, прежнее...

Я согласился, все согласились.

Она прошла к шкапу и достала книгу.

— Теперь другие песни, теперь это не нужно и скучно. Но я вам прочту... «Рыцарь на час»,[50] Вы извините, и кому скучно, — пусть не слушает, я одна или с немногими.

Все остались.

«Дама в голубом» — теперь полная, немного рыхлая, слабая женщина в сером читала стихотворение, которое «читывали на вечерах в то время». Читывали, как новость, это скорбное исповедание поэта, которого любили и которого «заподозрили»... Голос ее волновался. Она превосходно читала, повторяя некоторые места, — и, когда кончила, лицо ее было все в слезах.

— Вот... Ну, и прошло... Теперь другое время, и этого ничего не надо... Я, конечно, пережила свое время, но я уж умру такая, как есть, и с тем, что люблю...

Она кашляла. Ее обнимали. Она в том возрасте да и в той психологии, где «мужчина» и «женщина» заливаются «человеком», и ее можно всегда взять и обнять.

* * *

— Ну, теперь я вам покажу мою радость, мою гордость, — говорила она как-то вскоре после юбилея женского медицинского института в Петербурге. Она присела к полу, раскрывая какой-то большой картон. Я присел за нею.

Она смеялась и вся была счастлива. «Женщина в голубом» нет-нет и светилась еще в этой женщине «в сером». Она вынимала папку за папкой, вынимала старые пожелтевшие листы каких-то бумаг и газет и подавала мне. Теперь я все забыл, что она пока-

зывала, но это были всевозможные «адреса» ученых общин и учреждений, приветствовавших ее как руководительницу, или, точнее (гораздо точнее!), как вдохновительницу женского движения. Помнится, тут были и письма или «адресы» и простых людей, «баб», но в этом я могу сбиться и ошибиться. Было несколько всемирно-знаменитых имен. Вдруг она рассмеялась своим удивительным ребяческим смехом, какой иногда звенит из ее увядших уст:

— Посмотрите, какой меня представили. Что за рожа, — разве я такая? Это в японской иллюстрированной газете, — и редакция прислала мне номер.

Действительно, была какая-то мазня. Но «Анну Павловну» все же можно было признать. Я смотрел на нее. Да, она гордилась. Но в этой до редкости гармоничной и спокойной натуре, которая, казалось, ни разу не была возмущена, взволнована пороком, самые недостатки, как «гордость», «самолюбие», «тщеславие», преобразовывались и улегались во что-то мягкое, красивое, ласкающее вас. Все переходило в это обыкновенное:

— Я так счастлива... Меня столько любили... Свет еще полон доброты: посмотрите, посмотрите, читайте, читайте...

— Свет так полон доброты. Как мне не любить, когда я сама видела столько любви... Как мне не помогать другим, когда другие постоянно помогали мне...

В этом почти суть «Анны Павловны», что граница между нею и другими, между ее «моим» и чужим, «мое» почти никогда не чувствуется около нее: и не то, чтобы она усилием отстранила эту границу, но ее точно и не образовывалось никогда около нее, или эта граница таяла и исчезала, едва «Анна Павловна» входила куда-нибудь в чужое общество, в чужое дело. Мне кажется, я не ошибусь, сказав, что Анна Павловна не понимает этой границы.

Я никогда не видал такой «социальной женщины», без усилий, без рефлексии, «само собой»: и, между тем, это была типичная женщина тургеневской живописи, тех тенистых парков, тех хороших садов, где-нибудь около Тулы или Орла. Хотя, кажется, она родом из-под Смоленска. Но ведь это все равно: важен дух эпохи, важен стиль быта, зарисованный Тургеневым. Но только тургеневские женщины «сломались»: или неудача в любви, или болезнь, у некоторых — бедность и одиночество. Богатые условия, хорошие средства, бесконечная любовь и нежность мужа (она мне говорила об этом) — все подняло и вынесло эту «тургеневку», не дало в ней ничему хрустнуть, ничему надломиться, ничему даже измяться. Но она «отдала сердце всему мятущемуся, волнующемуся» того времени, отдавала его беззаветно, необдуманно: и «что же ей было делать, что ее так любили» и вынесли из водоворота событий, даже не дав запачкаться ее голубому платью.

— Ну, да! Александр II потребовал моего выезда за границу, сказав мужу: «Я тебе доверяю, но она должна уехать, иначе она будет

арестована». Я уехала. Это было после бегства кн. Крапоткина,[51] *о котором я знала заранее и в котором принимала участие.*

Подробности, как было дело, — я забыл.

— Вот как... Значит Александр II был причиной... все-таки такого большого жизненного неудобства, как обязательная «заграница». И вы не поминаете его добром...

— Я его боготворю: он освободил крестьян. Вы этого времени не помните, но мы все, видевшие освобождение крестьян, боготворили государя, сделавшего это...

Я вспомнил Герцена: ведь и он так же чувствовал и думал тогда.

* * *

Вошел как-то священник, старый-престарый, кажется, откуда-то из дворцового ведомства, «пропеть Рождественский стих», — «как еще бывало при муже». Анна Павловна все-таки с репутацией «передовой женщины», а «попы — гасители просвещения», и я смотрел с любопытством. Но вот она вся поднялась и оживилась, и нужно было видеть тот «уют и привет», ту деликатность и ласку, хорошую деревенскую ласку, которою она моментально его встретила и окружила. Тут-то всего более я и подумал: «Тургеневский мягкий стиль».

* * *

Однако, я не сказал о самом главном, что много лет наблюдал в этой «женщине в сером», в которую превратилась «женщина в голубом»: о ее молодости. Ее сын, декадент и эстет, теперь — религиозный писатель, на много лет старше, дряхлее ее... Дано ли ей было при рождении утроенное, учетверенное количество сил, или любящие руки пронесли ее так бережно над невзгодами жизни — я не знаю, но в ней не осталось и нет ничего горького, ничего желчного, ни малейшего разочарования в жизни, ни малейшей усталости от жизни. Она вся — готовность, но не торопленная готовность, а спокойная, ожидающая. «Всему придет свой час, и хороший час». Не только усталый от чувств и дум сын, — но ее замужние дочери и, наконец, даже внучки — старее, старообразнее ее. Тем «не удались танцы», «не достали билета в оперу»: и эти маленькие неудачи и огорчения все-таки положили свою паутину на лицо. Я не знаю, может быть, так, может быть, не так, — но этого равного «вот придет вечер», «вот будет полдень», «вот настанет утро», и вечером «будет так же хорошо, как утром», а «в полдень будет нисколько не хуже», — я не встречал ни у кого и никогда на лице. Что это такое? Иногда кажется, что это — даже непонимание. Ведь горя так много, и Анна Павловна знает это демократическим знанием. Но удовлетворение соучастия этому горю — а она полна им, — до того перевешивает внутренним чувством внешнее впе-

чатление горя, что «небо все-таки остается голубым», хоть под ним и ужасы. В основе все-таки лежат громадные природные силы: эти «волны», как «барашки» на реке, внучек, внуков, зятьев, невесток, сыновей, дочерей, сестер, племянников и племянниц, и еще кого-то и кого-то, в лицах и именах которых невозможно не спутаться, — говорят о могучем истоке сил, брызнувших когда-то на землю и хорошо оросивших землю. Некоторое объяснение ее организации можно найти в ее племяннике С. П. Дягилеве, создавшем «Мир искусства», устроившем ряд выставок и, в заключении их — знаменитую и прекрасную «Выставку исторических и русских портретов»,[52] и который за минувшую зиму[53] знакомил Париж и Францию с русскою музыкою. О качествах и направлении его деятельности можно спорить, и спорят многие; я в этом не компетентен. Но вот что несомненно: это — присутствие огромной веры в себя у этого еще молодого человека, и что для русских совсем удивительно — наличность неистощимой инициативы, вечной изобретательности, придумчивости, неотступности в исполнении планов. «В итоге» — все-таки отсутствие хотя бы малейшей усталости, жалобы, разочарования. Его очень напоминает Анна Павловна Философова, но только «в женском преобразовании», — вся смягченная, нежная, кроткая. Заверните бурю в бархат и обложите цветами — и получите ее сущность.

— Я этого ничего не понимаю и не признаю, это враждебно моим друзьям и мне, — говорит она, отодвигая «Мир искусства».

Как-то зашел вопрос о дороговизне жизни, о средствах к жизни.

— «Мир искусства» очень падал последний год. Ему многие помогали, и, в том числе, и мои средства значительно растаяли...

Я удивился. «По идеям — ты мой враг: но пусть кошелек будет общий». Это реально.

Но каков дождь, таковы и капли, — и мне все нравится не только в этой женщине «в сером», но и в отпрысках, идущих от ее корня, и, бывая на женском съезде, или потом на религиозно-философских собраниях, если среди тысячной толпы я увижу миловидное личико, как-то беспредметно улыбающееся всему кругом и без торопливости указывающее, кому куда пройти, где сесть, откуда лучше можно слышать или видеть, то всегда подумаю: «Это кто-нибудь из Философовых». Улыбка так ласкова, что, очевидно, можно подойти и спросить о чем-нибудь ненужном. И спросишь, и скажешь:

— Как будто я вас видел где-то?

— Не знаю. Нет. Но я внучка Анны Павловны Философовой.

В. Варварин.
(Василий Васильевич Розанов)

2

Продолжение 1-й.

...здесь и мы.

А теперь обратимся вспять, вернемся к тем временам, когда у Анны Павловны и в помине не было внучек, к тем временам, когда мы сами были внучками.

Моя бабушка, Анна Александровна Мельгунова,[1] была жива, когда я выходила замуж и очень полюбила «ce cher» [2] Павел Павлович. Он победил ее сердце раз навсегда, проводив ее как-то домой, когда она засиделась у нас до темноты. Жила она в Смольном, во вдовьем доме, и боялась возвращаться туда не засветло. Как это казалось нам смешным тогда.

Теперь же, когда по Петербургу мимо меня шмыгают трамваи и неистово на все голоса дудящие моторы, мое трусливое, унаследованное от милой бабушки сердце сжимается от страха, и я понимаю ее. Понимаю нервную торопливость, с которой она надевала свой старенький атласный салоп, собирала свои мешочки и узелочки, волнение, с которым она усаживалась в санки и пускалась в путь на мирном Ваньке по нашей тихой Шпалерной.

Но вспять, вспять, благо туда можно отправиться без электричек, вспять к порогу 1875 г., на котором мы находились до вторженья Розанова.

Мамаша всегда встречала новый год «у дяденьки Федора Петровича». Там собиралось много родственников и появлялись такие, с которыми только тут и виделись за весь год.

Я не помню где, как и с кем мы провели канун 1875 года, но у дедушки мы не были, а, по всей вероятности, у моих родителей. Помню прекрасно только Рождество 1874 года, так как оно сопряжено было с первой, лично мною устраиваемой елкой — для Сережи; событие, без сомнения, гораздо более значительное для меня, чем для него.

Мне хотелось непременно, чтобы Сережа не подозревал даже приготовлений к елке, и это отлично удалось. Ему сказали, что в гостиной открыты форточки, и потому туда нельзя ходить. Когда же свечи были зажжены, двери открыли и Сережа вошел в гостиную, я забежала вперед, чтобы видеть его вход и проследить за первым его впечатлением. Как сейчас вижу его фигурку в синем костюмчике, со штанишками по колено, в коротеньких носочках, в туфельках, с выпяченным вперед животиком и заложенными за спину ручками. В такой позе он остановился почти на самом пороге, серьезно оглянул сверкающую огнями елку, бросил быстрый взгляд на игрушки, расставленные кругом нее, и спокойно произнес: «Недурно...»

Это было так неожиданно, что я растерялась, — не знала смеяться мне или огорчиться... Надо сказать, что Сережа был немного героем дня в данную минуту. В силу последних событий он занял вниманье целых трех семей... Кто из любви к нему и к его отцу, кто в память его матери, кто из приязни ко мне, кто просто из любопытства, но все интересовались им и баловали его, так что к Рождеству он был буквально завален со всех сторон прелестными подарками. Тем удивительнее было знаменитое «недурно», которого я не могла забыть всю жизнь. Помню, что тоже очень озадачилась им мамаша Анна Ивановна и восхитилась сестра моя Лина.

Она питала какую-то особенную трогательную нежность к Сереже. Ни разу не приезжала она ко мне, не посвятив, если не все посещение, то большую его часть детской, хотя была совсем не из тех, которые любят детей вообще. Ее привычная молчаливость исчезала с Сережей... Опустится, бывало, на пол перед ним и разговаривает, и рассказывает, а он стоит и смотрит, смотрит на нее своими большими черными глазами, а потом обнимет ручкой ее шею, задумчиво погладит ее по щеке и скажет: «Тетя Лина, отчего ты такая бархатная?» Невозможно придумать более удачного определенья ее красоты. Она сама и все, что было надето на ней, казалось всегда именно бархатным.

Благодаря тому, что во время нашей молодости царила фотография, не осталось ни одного портрета, по которому можно было судить, как Лина была хороша собой. Предпочитали платить по сто рублей за большой фотографический портрет вместо того, чтобы увековечить прелестные черты хотя бы маленькой акварелью или пастелью. Последняя особенно шла бы к мягкости Лининого облика.

Обе мы были в ожидании ту зиму. Она решила, что у нее будет сын и что она назовет его Сергеем в честь нашего Сережи. «Хотелось бы, чтобы мой мальчик был похож на него», — повторяла она часто.

Отрадна была мне эта любовь тогда, отрадно вспомнить о ней и теперь. Когда многие кругом постоянно ужасались болезненным видом Сережи, его бледностью, величиной его головы и слабостью его ножек, а некоторые даже прямо решались мне говорить, что он наверно долго не проживет, Лина всегда утешала меня, предрекая, что я отлично выращу его.

Если предсказанья ее, слава Богу, сбылись, мы, конечно, в этом многим обязаны дягилевскому семейному другу Эмилию Федоровичу Тэрмену. Он был старшим врачом воспитательного дома, француз по происхождению, и именно во французских романах прежних времен встречаются типы таких докторов, каким был наш маленький, черненький, косоватый, дорогой дядя Эмиля. Дети Корибуты называли его так, а за ними и другие стали.

Всех нас он знал вдоль и поперек: и больших, и малых; всех любил, всех баловал, никогда не напрашивался на интимность, но просто, дружески и деликатно входил в нее, когда открывали ему дверь. Он был, собственно, детский врач, но никто из нас не обращался к другим специалистам, не посоветовавшись предварительно с дядей Эмилей. Что бы ни случилось, первым движеньем было скорей, скорей послать за ним, а вторым — действовать по его указаньям.

Я лично благодарна ему за все, чему он научил меня. Он не ограничивался визитами и рецептами, когда дети хворали, но, помимо этого, поучал мою полнейшую неопытность, руководил и направлял ведение детей. Жалею только, что пришлось так рано расстаться с ним. Вероятно, многое было бы лучше, если бы мальчики наши кончили расти под его наблюдением.

Избалованная таким примером, я всегда впоследствии искала во врачах неоцененных качеств нашего друга и только раз наткнулась на некоторое подобие их.

По отношению к Сереже он был особенно внимателен, так как считал его действительно не очень надежным. Он имел дар говорить правду, не запугивая, и как-то утешительно подставлять рядом с опасностью способ борьбы с нею.

С первого же раза, как мы обратились к нему по поводу какого-то пустяшного заболевания Сережи, он предупредил меня, что этого ребенка надо вести осторожно, особенно до семи лет. После семи лет корни жизни в нем очень окрепнут, а после десяти можно будет успокоиться. Стараться развивать его запретил, а позже даже, помню, Эмилий Федорович советовал мне задерживать развитие, так как рассказы мои о Сережиной пытливости и наблюдательности не нравились ему. Когда же я на это спрашивала, что же мне делать, он говорил: «Просто не отвечайте на его вопросы... Прибегайте к способу отмалчиванья... Это гораздо лучше, чем сочинять что-нибудь или путаться в объяснениях».

Не могу сказать, чтобы я неуклонно следовала этому мудрому наставлению. Трудно было... Отчасти, может быть, благодаря моему собственному нраву, но, главное, благодаря беспримерной настойчивости Сережи. Не добившись ответа от меня, он не унывал, и с удвоенными усильями искал других способов удовлетворить свою любознательность. Заметив это, я предпочла, чтобы он получал сведения не из неведомых источников, а от меня.

Когда он добивался чего-нибудь, казалось, что ему весь мир не мил, не получи он просимого... А только что добьется, бывало смот-

ришь, ему уже и не надо того, чего он минуту перед тем так страстно желал.

Черту эту он сохранил до сих пор. Он гораздо больше живет стремленьем к цели, преодолеванием препятствий на пути к ней, чем успехом, достигнув ее.

Вообще я думаю, что Сережа мало изменился с трехлетнего возраста. Глядя теперь на его детские карточки, мне кажется, что даже в наружности мало перемены. Как тогда у него бывало совсем не детское выражение, когда он, например, не двигаясь с места, часа по два просиживал, приткнувшись к роялю, сосредоточенно слушая музыку, так и теперь у него бывают минуты, когда по лицу его пробегают струйки, превращающие тридцатисемилетнего мужчину в ребенка. Многие не подозревают в нем этой детской подкладки, но Серов вещим глазом истинного художника усмотрел ее под верхней оболочкой и передал в портрете, к сожалению, не оконченном, портрете в красном халате,[3] который мне особенно приятен, благодаря знакомому-знакомому выраженью глаз маленького Сережи.

Он тогда очень напоминал свою мать. Все это говорили, и даже однажды злобно изрекла бабушка его Евреинова.

У Ольги Брандорф праздновали именины или рождение кого-то из ее детей, и все мы званы были на шоколад. Собралось большое детское общество. Я пошла в детскую взглянуть на ребят, да там и застряла, до такой степени они показались мне занимательными. Вследствие этого я не видела, кто прибывал в гостиную.

Вдруг дверь в детскую открылась, и в сопровождении хозяйки дома вошла пожилая дама. Окинув взглядом всех малышей, она както принужденно громко произнесла: «Который же из этих детей мой внук Сережа?» Ольга смущенно обернулась ко мне, а потом показала ей Сережу, который сидел на столе с какими-то игрушками. Услыхав свое имя, он поднял голову и взглянул на вошедших. Бабушка поглядела на него издали и опять таким же принужденным голосом сказала громко на всю комнату: «Косой, как мать».*

С этими милыми словами она повернула спину и вышла вон. Ольга последовала за ней, но, проводив ее, прибежала ко мне, возмущенная происшедшей грубостью, и стала объяснять мне, что Варвара Николаевна в бешенстве, что Павел Павлович не счел нужным познакомить ее со своей женой, и что я не вожу к ней Сережу, тогда как постоянно бываю с ним у Ольги в казармах Измайловского полка против ее дома.

Выражение «постоянно» было очень преувеличено, но что мы видались — это правда.

Как я уже говорила, появление Ольги на нашей свадьбе и доброжелательное отношение ее возбудили во мне благодарное чувство, а кроме того Поленька дорожил братской связью с сестрой Жени́ и делал все возможное, чтобы сохранить ее.

---

* Ни мать, ни сын не были косыми.

Это долго ему удавалось. В продолжение почти четверти века продержались между нами родственные отношения. Почему они, наконец, пошатнулись, утвердительно сказать не могу, так как между нами ни ссор, ни объяснений не происходило, но мы предполагаем, что причина охлажденья Ольги кроется в нашем расположении к дочери ее Жене, которую она всю жизнь преследовала, как ее мать преследовала ее самое. Ненависть эта дошла до того, что теперь она запрещает произносить при себе имя Жени, и все, кто желают продолжать знакомство с матерью, должны забыть о существовании дочери.

Точно так же, как и Варвара Николаевна, Ольга с самого рождения любила одну только старшую свою дочь, Наточку,* капризную, кислую девчонку. К сыну, Коле, она была равнодушна, а меньшую дочь, похожую на нее, как две капли воды, и названную в память сестры, терпеть не могла с пеленок.

Когда мы познакомились, двухлетняя девочка была очаровательна, и я постоянно восхищалась ею. «Возьми ее, если она тебе так нравится», — ответила мне раз Ольга. Я думала, что она шутит, но она уверила меня, что нисколько, и я серьезно увлеклась этой мыслью. Василий Александрович Брандорф положил конец нашим переговорам на этот счет, объявив, что он не согласен дарить свою дочь. Он всегда заступался за нее, вследствие чего она сделалась яблоком раздора между отцом и матерью, которые и без того не очень ладили.

В сценах между ними часто принимал участие друг дома — Ольхин (конногвардеец). Тогда они делались такими бурными, что кто-нибудь из трех экстренно посылал за Поленькой, и на него возлагалась обязанность судьи.

В первый раз, когда при мне получилась от Ольги отчаянная записка, призывающая его немедленно, я заметила, что он, ни мало не всполошившись, отправился, как на привычное дело. Каково же было мое удивление, когда несколько дней спустя муж мой получил опять подобное приглашение, но только уже от других пациентов. Я не могла удержаться от смеха, провожая его на практику. На этот раз требовали его к себе супруги Баралевские, ссорившиеся с глазу на глаз.

Я еще не упомянула о том, что Баралевский тоже женился. Мог ли он отстать от Поленьки? Он сделал предложение Ольге Адамовне Иенишь вслед за тем, как друг его стал женихом Евгении Николаевны, но венчаться пришлось ему раньше, так как судьба, посмеявшись над ним, не послала на его долю препятствий в этом деле.

Дальняя родственница его, привлекшая вниманье государя Александра II своей красотой в бытность свою в Екатерининском институте, по выходе оттуда пришлась по вкусу Михаилу Ардальоновичу.

---

* Если бы дети мои когда-нибудь сдумали печатать этот труд, то очень прошу не печатать подобные выраженья. 16/29 окт. 1918 г.

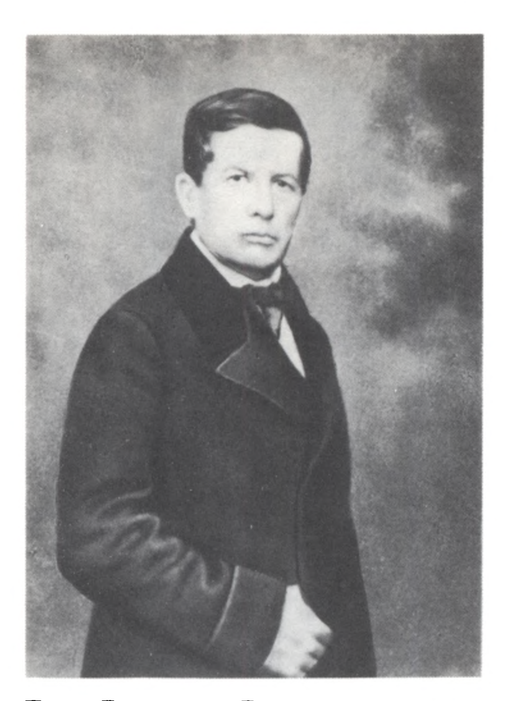
Он посватался, получил согласие и спокойно женился. Старший сын его, Вася, родился годом раньше Сережи, а меньшой уже после смерти Жени и назван Евгением в ее память.

Не знаю, на чем зиждились распри у Баралевских, но знаю только, что они разгорались чем дальше, тем больше, пока не кончились полным разрывом на тринадцатом году супружества. Но об этом речь впереди.

А теперь расскажу случай, которым закончился для нас зимний сезон — первый мой в Кавалергардском полку.

С наступлением весны Кокушка, к радости своей, получил назначение следователем в Осу,[4] чего он добивался, чтобы быть вблизи Бикбарды, и стал готовиться к отъезду. Мамаша тоже собиралась туда на лето, Мариша уехала с детьми в Женеву, намереваясь провести там год для здоровья Юрия, а Паренсовы переселились в лагерь.

Нам же родители мои наняли в Царском верхнюю квартиру на даче, в которой сами занимали низ. Так как по мнению сведущих людей появление на свет маленького Шуленбурга [5] должно было произойти не позже пятого-шестого мая, мы решили дождаться племянника в городе. Но прошло седьмое, восьмое и девятое, и даже пятнадцатое число, а его все еще не было. Меня стали уговаривать пользоваться хорошей весной для Сережи и для себя, и мы подогнали свой переезд на дачу к восемнадцатому, чтобы успеть устроиться на ней до моих именин 21 мая. Восемнадцатого был назначен в полку смотр начальника дивизии, и мы намеревались ехать в Царское, как только Поленька вернется со смотра. Приготовив все к отъезду с утра, я нарядила Сережу в новое хорошенькое, белое драповое пальтецо, вышитое белыми шнурками, в новую белую шляпу и повела его проститься с тетей Линой. Мы застали ее одну, прохаживающуюся взад и вперед по комнатам. Она показалась мне бледной, и на мой вопрос, что с ней, она отвечала, что почувствовала боли и ждет акушерку. Несмотря на это, она, по обыкновению, опустилась на пол перед Сережей, разглядывала, хвалила его обновы и ласкала его. Вернувшись домой, мы не застали там Поленьку, как я предполагала... Ждем-пождем, а его все нет, нет и нет. Наконец, раздается звонок... Мы с Сережей кидаемся навстречу, слышим звук шпор и палаша, входит кавалергард, только не наш. Это был полковой адъютант. Первые слова его о том, что Павел Павлович не может прийти, так меня испугали, что я долго не могла понять все последующее. Когда, наконец, выяснилось, что он жив и здоров, известие о том, что начальник дивизии отправил его под арест и что его сейчас собираются везти на Сенатскую гауптвахту, показалось мне чуть ли не счастьем, но зато няня приняла заточение своего барина более трагично. Она плакала в голос и страшно сердилась на службу, на начальство и на матушку-казну. Таким образом, вместо того чтобы катить в Царское Село, я покатила на Сенатскую площадь навестить узника. Когда я проезжала по Миллионной, Кокушка выходил из какого-то подъезда, увидал меня, окликнул и



Павел Дмитриевич Дягилев.
Фото нач. 1850-х гг.



Павел Дмитриевич Дягилев.
Фото 1870-х гг.



Анна Ивановна Дягилева.
Фото 1850-х гг.



Анна Ивановна Дягилева.
Фото 1860-х гг.



Валерьян Александрович Панаев.
Фото 1880-х гг.

Софья Михайловна Панаева
с дочерью Еленой Валерьяновной.
Фото нач. 1870-х гг.



Елена Валерьяновна Панаева
(в замужестве Дягилева).
Фото нач. 1870-х гг.



Софья Михайловна Панаева
с внуком Сережей Шуленбургом.
Фото ок. 1880 г.



Сестры Панаевы:
Валентина (В. В. Панаева-Шуленбург),
Елена (Е. В. Панаева-Дягилева),
Александра (А. В. Панаева-Карцова).
Фото нач. 1870-х гг.



Александра Валерьяновна Панаева-Карцова. Портрет маслом. Середина 1870-х гг.





Павел Павлович Дягилев.
Фото нач. 1860-х гг.



Павел Павлович Дягилев.
Фото кон. 1870-х гг.



Евгения Николаевна Евреинова-Дягилева и Павел Павлович Дягилев.
Фото 1871 г.



Елена Валерьяновна Дягилева с маленьким Сережей Дягилевым. Фото 1875 г.



Братья Дягилевы: Юрий, Сергей, Валентин. Фото нач. 1880-х гг.



Сергей Павлович Дягилев (гимназист).
Фото середины 1880-х гг.



Павел Дмитриевич Дягилев с сыновьями Мишенькой (крайний справа), Ванюшкой (в центре) и племянником Николенькой Быковым (слева).
Фото нач. 1850-х гг.



Надежда Эдуардовна Фохт-Дягилева
с дочерью Женей.
Фото нач. 1880-х гг.



Анна Павловна Дягилева-Философова.
Фото 1875—76 гг.



Дягилевы. Сидят (слева направо):
Елена Валерьяновна,
Павел Дмитриевич,
Иван Павлович.
Стоят (слева направо):
Павел Павлович,
Михаил Павлович,
Надежда Эдуардовна,
Николай Павлович. Пермь.
Фото 1876 г.



Иван Павлович Дягилев
с дочерьми Лилей (слева)
и Маней (справа).
Фото нач. 1880-х гг.

Георгий Павлович Карцов в театральном костюме для спектакля в Эрмитажном театре. Фото 1880-х гг.



Павел Павлович Дягилев в костюме Тараса Бульбы. Акварель. 1880-е гг.

Авдотья Александровна Зуева (няня Дуня). Фото 1890-х гг.





Михаил Ардальонович Баралевский. Фото 1880-х гг.



Анна Ивановна Дягилева (сидит),
Юлия Павловна Дягилева-Паренсова (стоит справа),
Лиля Дягилева (стоит с тростью),
Маруся Паренсова (стоит с кистью винограда),
Маня Дягилева (стоит сзади).
Швейцария. Фото 1878 г.



Слева направо: Пчеляков (управляющий Бикбардинским заводом), Павел Сергеевич Корибут-Кубитович, Виктор Петрович Протейкинский, Павел Павлович Дягилев;
на полу сидит неизвестный.
Петербург. Фото нач. 1890-х гг.





Слева направо: Анастасьев Александр Константинович — Пермский губернатор, Тася — его дочь, Елена Валерьяновна и Павел Павлович Дягилев, Маня Дягилева, Оксана — дочь А. К. Анастасьева. Пермь. Фото 1880-х гг.

Дом Дягилевых в Перми. Фото 1887 г.





На переднем плане: Сергей Николаевич Кубитович, Валентин Павлович Дягилев, Павел Павлович Дягилев, Георгий Павлович Карцов.
На заднем плане: неизвестный, Александра Алексеевна Дягилева, Ольга Георгиевна Карцова, Юрий Павлович Дягилев, Юлия Павловна Паренсова, Мария Петровна Паренсова. Петергоф. Фото нач. 1910-х гг.

Наталья Павловна Дягилева-Антипова-Кубитович (на переднем плане) и Мария Павловна Дягилева-Корибут-Луньяк (на заднем плане) у бикбардинского дома. Фото 1880-е гг.



Валентин Павлович Дягилев. Тюремная фотография. Ок. 1929 г.

Сергей Валентинович Дягилев. Тюремная фотография. Ок. 1937 г.



Сергей Валентинович Дягилев.
Фото 1963 г.



Елена Сергеевна Дягилева.
Фото 1986 г.

остановил. Узнав, куда и по какому случаю я еду, он сел со мной, и мы отправились дальше вместе. Совсем не помню, как нас провели к Поленьке, но отлично помню, как мы застали его в большом подвальном помещении со сводами, окруженного толпой товарищей, которые волновались, шумели и сердились не меньше нянюшки. Из их разговоров я узнала, что командир полка усиленно отстаивал невиновность Дягилева и даже упрашивал начальника дивизии не накладывать на него незаслуженного взыскания, но князь Голицын, пользовавшийся репутацией добрейшего старика, оказался на этот раз упрямейшим стариком. Ему показывали учение по старому уставу, а потом по новому, только что вводившемуся. Когда Дягилев перешел на новые команды, светлейший забыл, что они еще незнакомы ему, и закричал, что не так, а когда ему попытались объяснить, в чем дело, он не захотел признать своей ошибки и объявил, что всякому молодому эскадронному командиру здорово посидеть. (Муж был командующим вторым эскадроном). Мой приезд сократил шум и выпивку молодежи, сочувствовавшей обиженному товарищу... Офицеры скоро разъехались, а Кокушка привез нам из Татарского ресторана обед, за который мы мирно уселись втроем. В окнах мелькали ноги прохожих, а у стены перед нами стоял солдат на часах у денежного ящика. Этот немой свидетель стеснял только одну меня. Собеседники мои болтали себе, как ни в чем ни бывало и, между прочим, вспомнили, как дня два тому назад Поленька говорил, что никогда не сидел под арестом, даже в школе, причем прибавил: «Плох кавалерист, не падавший с лошади, плох военный, не сидевший под арестом».

На следующее утро Поленька вернулся очень рано домой, и мы уехали в Царское, все-таки не дождавшись племянника. Он родился, наконец, 20 мая... Пришлось сделать маленькую операцию, но все сошло благополучно, так что в мои именины у нас было радостное, успокоенное настроение. Дня через два мы отправились навестить Лину... Застали мы ее в кровати, но в сидячем положении, нарядной, двери и окна настежь... Все входили, выходили, разговаривали, как в комнате у здоровой. Ненормальность этих порядков не бросилась мне в глаза потому, что я не имела понятия об уходе за роженицей, но Поленька пришел в ужас. Когда мы с ним вышли от нее, он с волнением начал мне объяснять, что так нельзя, что он в жизни не видал и не слышал ничего подобного, что прямо становится страшно... Если б я больше его знала, я бы, конечно, обратила особое вниманье на его волненье, как на очень редкий случай, но тут я ограничилась тем, что успокаивала его и себя мыслью, что, вероятно, можно уже сидеть и принимать, если этого не запрещают сведущие люди. (А их-то около нее и не было...) После этого меня не пускали больше в город, говоря, что в моем положении трястись по железной дороге и по мостовым вредно, но муж сам ездил ежедневно, и от него я знала, что Лина медленно поправляется, что появились некоторые осложнения, но что она окружена всеми петербургскими знаменитостями... Я ждала известий с трево-

гой, конечно, и мы ходили с Сережей каждый день на поезд встречать Поленьку. И вот раз ночью вижу я во сне, что я спрашиваю у Поленьки: «Как Лина сегодня?» — а он отвечает мне: «Папа приедет и скажет тебе». Вслед за этим я слышу в соседней комнате шаги и с мыслью, что это папа, иду к нему навстречу... Но вдруг ноги у меня подкашиваются... Я чувствую, что меня подхватывают под локти и что делает это Поленька. Из дальнего угла комнаты кто-то приближается ко мне... Мне страшно и благоговейно как-то... Я сознаю, что это не папа, а кто-то другой, выше, и не смею взглянуть. Закрываю глаза... Чья-то рука касается моей руки, и я внезапно просыпаюсь в холодном поту с возгласом: «Лине хуже». Поленька успокаивает меня, уверяя, что нет, что именно сегодня ей даже было лучше... Тем не менее я не могла забыть своего сна. Хожу, гуляю, играю с Сережей, читаю — все как будто ничего, но вдруг сразу вспомнится, и сердце заноет...

Девятого июня, в день Жениной смерти, мне было особенно грустно на кладбище. Невольно приходило в голову сравнение между нею и Линой. Вся семья Евреиновых, кроме матери, была в сборе. Я познакомилась с ними, они приняли меня радушно; но зимой, когда мы только вдвоем приезжали 24 декабря на могилку под большой елью, громадные ветви которой одни зеленели в окружающей белизне, мне тут показалось лучше и теплее даже, чем теперь в этот летний день среди зелени и цветов. Тогда кругом было светло, было и, главное, тихо... Тихо... Настоящий покой.

На другой день, 10 июня, из города приехала сестра моя Татуся. И она, и мои родители не переезжали еще на дачу, выжидая, как мне говорили, серьезного улучшения в здоровье Лины. Я стала расспрашивать Татусю, она отвечала неопределенно... Но одиннадцатого я проснулась почему-то веселой, какой давно не была, совсем забыв мою тревогу и мучивший меня сон. Проводив мужа в город, я затеяла съездить с Татусей и с Сережей на Павловскую ферму. К завтраку приехал друг нашего детства Миша Дундуков, недавно поступивший в Кавалергардский полк, и мы взяли его с собой, посадив его вместо грума на заднее сиденье паньэ, запряженного парой белых пони (мои любимчики, совсем заброшенные за последнее время). Сели мы в шарабан и поехали на ферму. Первый, на кого мы наткнулись, войдя в ворота, был хозяин фермы великий князь Константин Николаевич. Он остановился и, окинув нас откровенно недоумевающим взглядом, спросил: «А что графиня?» Я ответила, что ничего: ни хуже, ни лучше... Он тотчас же опустил глаза и устремил все свое вниманье на Сережу, тыкал его палкой в животик, приговаривая: «Пузан, пузан, весь в отца...»

Сереже такая фамильярность, очевидно, не нравилась. Константин Николаевич посмеялся, подразнил его и пошел. Недоумевающий и быстро опущенный взгляд смутил меня, но только на секунду... Точно кто-то сейчас же смахнул с сердца моего это смущенье. Потом, когда все подробности этого дня по очереди стали всплывать в моей

памяти с удивительной ясностью, я вспомнила и встречу с великим князем и поняла, что он уже тогда слыхал то, чего я еще не знала.

С фермы я отправилась прямо на Царскосельский вокзал навстречу Поленьке к пятичасовому поезду. Он приехал с моей матерью. «Значит, Лине лучше?» — спросила я, увидав маму. Поленька ответил: «Папа приедет и скажет тебе про Лину». Слова эти показались мне знакомыми, но я все-таки не узнала их.

За обедом, на который остался Дундуков и приехал Чичагов, я одна разговаривала и смеялась даже. Все остальные были странно молчаливы. Я это замечала, но не воспринимала еще... Мелькнет мысль: «Отчего они такие?» — и отскочит, как от какой-то выросшей передо мной стены. Однако после обеда оживленье мое внезапно исчезло. Я тоже замолчала и села внизу у окна ожидать приезда отца. И вот слышу я лошадиный топот, слышу звук колес на песке, из-за кустов показались лошадиные головы... Мне стало страшно... Отец подъехал к крыльцу... Слышу, как открывают ему входную дверь, слышу его шаги в передней и встаю, чтобы встретить его... Но вдруг подо мной подкашиваются ноги, Поленька подхватывает меня под локти... Я зажмуриваю глаза и, как молния, озаряет меня сознание: мой сон... Мой сон... Тогда молча, не оглядываясь на входящего отца, ухожу я к себе наверх.

Когда Поленька пришел ко мне немного погодя, я не спросила ничего, я сама сказала ему, что все знаю... Знаю, что кончено.

Мы вместе пошли к спящему Сереже, которого она так любила, и долго стояли у его кроватки.

Что рассказывать больше? Все?.. Слишком много, да и не сюда оно относится. Не надо ничего больше...

Месяц спустя, с 7-го на 8-е июля в двенадцать часов ночи, родился несколько преждевременно сын наш Валентин,[6] названный нами так в память только что отошедшей Лины.

Крестили его: в первой паре — мой отец с Анной Ивановной, за отсутствием которой стояла у купели Юленька Паренсова, а во второй паре — Татуся и Шуленбург, за отсутствием которого у купели стоял мой двоюродный брат Саша Панаев.

Роды мои сошли благополучно, но были причиной многих неприятностей и осложнений в отношениях, до тех пор прекрасных, между моими отцом и мужем. Отец мой, только что перенесший продолжительный и тяжелый нервный недуг, очень легко раздражался. Кроме того, он весь был подавлен свежим горем, в котором ожесточенно и всецело винил докторов, лечивших Лину. Мой муж же считал, что скорее можно было искать вины в отсутствии за больной умелого ухода. Эти два противоположные мнения не мешали друг другу, пока им не пришлось встретиться у моего изголовья. Тут между ними произошло столкновение.

Я ничего о нем не знала, но случай открыл мне то, что от меня тщательно скрывали, оберегая меня от всякого волненья.

На третий или четвертый день после моих родов я лежала себе спокойно одна и дремала. Дверь в соседнюю комнату была полуот-

крыта, и там кто-то тихо переговаривался. Вдруг среди этого шепота, производившего на меня впечатленье однообразного усыпляющего журчанья, я услыхала совершенно ясно произнесенные голосом моей акушерки слова, которые помню до сих пор с буквальной точностью: «Несчастный молодой муж». Дремота моя мгновенно улетела, и я так громко крикнула: «Елена Христиановна», что она прибежала в испуге. «Что случилось?» — «Ничего не случилось... Я только хочу спросить вас, про кого вы сейчас сказали: „несчастный молодой муж“».

Моя добрая немка совершенно растерялась. Она попробовала было сначала отнекиваться, потом сочинить что-нибудь, но видя, что я настаиваю и начинаю волноваться, она решилась все рассказать мне, умоляя не выдавать ее Павлу Павловичу, который запретил доводить до моего сведения все, что происходило в доме. Вот вкратце, в чем было дело.

У отца моего был один любимец — гомеопат Дерикер, которого он приводил ко мне несколько раз и который был мне всегда неприятен, а особенно, когда он вошел во время родовых страданий. Я не протестовала, ради успокоения папы. Оказывалось теперь, что отец настаивал, чтобы этот господин, сумевший втереться в его доверие, лечил меня. Муж же мой, в душе не переваривавший появлений «этого бывшего учителя чистописания, не имевшего ни малейшего понятия о медицине», терпел, однако, их, боясь скандала в критическую минуту родов, тем не менее, со своей стороны, пригласил известного гинеколога Грюнвальда.

Из такого положения вещей возникали ежеминутные острые стычки. «Одним словом, — объявила Елена Христиановна, — это такая каторга, что я готова бежать... Не мудрено, что Павел Павлович, оставшись вчера один в своем кабинете, упал головой на стол и заплакал. Я нечаянно видела это, проходя по гостиной. Вот отчего я сказала „несчастный молодой муж“. Я преклоняюсь перед его терпеньем».

Когда я немедленно после этого допросила Поленьку, он сознался мне, что действительно ему было трудно. С одной стороны, необходимо было удалить Дерикера, чтобы свободно принимать Грюнвальда, а с другой стороны, нельзя было этого сделать без решительного поступка, который мог испугать меня, не подозревавшую всех этих смут. «Теперь, раз ты все знаешь и обещаешь быть спокойной, я не буду чувствовать себя связанным по рукам и по ногам», — сказал Поленька. На другой же день он доказал это, остановив Дерикера у наших дверей и попросив его не беспокоиться, так как мы ждем к себе «настоящего доктора». Разумеется, тот обозлился, нажаловался отцу и подбавил этим неприязнь, которая росла с каждым днем между самыми любимыми мною существами.

Вскоре прибавился ко всему остальному и денежный вопрос, всегда готовый подлить яду в каждую малейшую ранку, которая с его помощью делается в десять раз больнее и часто становится неизлечимой.

Вопрос этот возник вот каким образом. После Лининой смерти папа стал харкать кровью, и хотя доктора не признали в легких ничего угрожающего, они все-таки посоветовали ему провести зиму в теплом климате. Давнишней его мечтой было, чтобы Татуся брала уроки пенья у мадам Виардо,[7] и он придрался к этому случаю, чтобы упросить маму поселиться в Париже, обещаясь тогда исполнить предписание врачей и самому прожить холодные месяцы в Ментоне. Ему очень хотелось, чтобы и мы поехали тоже. Считая, что отца лучше не оставлять одного, я уговорила мужа взять отпуск, но у него были долги, с которыми нельзя было не разделаться хотя бы отчасти, уезжая из Петербурга на несколько месяцев. Со страхом и трепетом пришлось признаться в этом отцу. Он заплатил, но раздраженье его против Поленьки еще усилилось.

Сначала уехала мама с Татусей и маленьким Сережей Шуленбургом. Мы должны были последовать за ними с отцом, но он откладывал отъезд с недели на неделю и, наконец, попросил нас отправиться вперед, обещаясь приехать, как только покончит необходимые дела.

Это было уже в конце ноября. Забрали мы своих чад и домочадцев и пустились в дорогу. Поленька был сам-шест с грудным младенцем, Линчиком, включительно. Корзинка-кроватка, пеленки, грелки и няня со своими подушками и узелками составляли главную заботу всего путешествия. Ехала с нами еще Саша, бывшая горничная Евгении Николаевны. С осени нянюшка стала говорить мне, что Саша спит и видит поступить к нам, очень расхваливала ее и всеми силами старалась устроить это дело. Я согласилась на том условии, если мамаша сама скажет мне, что ничего не имеет против перехода Саши от нее ко мне. Мамаша сделала это (как я потом узнала, очень неохотно), и Саша перешла во служение к нам, как раз перед отъездом нашим за границу. Сразу же, как только началось наше путешествие, я убедилась, что репутация ее не преувеличена. Она оказалась способной, ловкой помощницей во всем, великолепно ухаживала за всеми нами, в том числе и за нянюшкой, которая вне своего прямого дела — ухода за ребенком, была вполне беспомощна в чуждой ей обстановке.

Приехали мы в Париж в холодное снежное утро и остановились на улице Риволи в гостинице «Лувра».

3

Из края, где цветет лимон златой,—
В тот край, где ель, сосна и мох седой.[1]

Ментона. 3—4 дек. 1875 г.

Дорогой отец мой. Я хотела написать тебе еще из Парижа, но так как мы пробыли там всего четыре дня, и все эти четыре дня я бегала, как только бегают в Париже, то я ограничилась одной телеграммой. Приехав в Париж, мы нашли маму и Сашу здоровыми и довольными. На другой день нашего приезда они были у мадам Виардо. Впечатленье, произведенное на них, не уступает тому, которое она произвела на тебя, так что я рассудила, что с этой стороны ты можешь быть совершенно спокойным, и сочла мое присутствие ненужным для того, чтобы, как ты говорил, повлиять на расположение к мадам Виардо. Она сама, кажется, очень искусно распорядилась очаровать маму и Сашу. С другой стороны, мы увидали, что дальнейшее пребывание в Париже лишит нас возможности доехать до Ментоны, ибо проезд дорог, да надо ведь и прожить до первой получки из России. Холод и снег покинули нас только в Марселе, но зато здесь мы наслаждаемся солнцем, зеленью, цветами и нашим с тобою любезным морем. Отели здесь дороги, особенно теперь, в сезон, так что мы с первого же дня приезда пустились искать дачу, а на следующий день уже и переехали. Мы наняли дачку у самого берега моря, твоя комната ждет тебя. Папочка, приезжай скорее, пожалуйста; ведь самые холодные месяца проходят, а тут просто блаженство. Ведь без здоровья и дел нельзя делать. Мне больно вспомнить, что ты, для которого, в сущности, мы, то есть, собственно Поленька и я, поехали — ты еще мерзнешь в Петербурге, а мы здесь, семейство пузанчиков, прибавляем себе жирку. Напиши мне два словечка, как положение дел, что предстоит? Когда ты сможешь освободиться? и т. п. Детишки мои катаются, как сыр в масле. Сережа играет на бережку, Линчик

спит в корзиночке в тени лавровых кустов, а мы с Поленькой похаживаем, греемся и любуемся всем окружающим.

Обнимаю тебя, милый мой голубчик папенька, Господь над тобой. Ждем тебя с величайшим нетерпеньем.

Твоя дочь Леля.

Это письмо, написанное недели через две после нашего выезда из Петербурга, и нижеследующие выдержки из некоторых других моих писем дадут в коротких словах полное понятие о пребывании нашем в Ментоне.

Из письма к Анне Ивановне от 26 дек. 1875 г.

...И я вспомнила нашу прошлогоднюю елку в то время, как увешивала тут другую при открытых окнах и блестящем солнце. Мы делали елку вместе с Ольгой, которая нарочно для этого приезжала к нам из Ниццы. Дети были, конечно, в восторге: здесь можно достать такие славные игрушки и так дешево <...> Благодарю, мамаша, за известие о папе, но, в сущности, было бы гораздо лучше, если б я могла вам про него что-нибудь сказать, а не наоборот...*[2]

Из письма к матери моей и сестре от 11/23 янв. 1876 г.

Первое, о чем волей-неволей приходится говорить всякий раз, это о приезде папы. Я упоминаю об этом не для того, чтобы навести на вас грусть, но ведь это вот уже скоро два месяца остается животрепещущим вопросом. Я написала папе раз, получила ответ и больше не пишу, потому что нахожусь в постоянном ожиданьи. Когда подъедет экипаж к дому или отворят внезапно дверь, я вскакиваю, воображая обнять отца, — не тут-то было. Я не хочу ворчать, так как надеюсь, что детки запасутся тут здоровьем; это единственное, что утешает нас с Поленькой в нашей неудачной поездке, неудачной потому, что теперь уже во всяком случае цель ее не достигнута. Папа провел самые страшные холода в Петербурге. Не знаю, как вы, но меня берет злость при этой мысли. Знаете, что бы мы сделали, если бы были свободные люди и могли бы двигаться без хвоста? Мы взяли и покатили бы назад в Петербург и притащили бы папу силом сюда.

Из письма к отцу от 12/24 янв. 1876 г.

...Не писала я тебе, бесценный голубчик мой папа, по той простой причине, что по твоему же письму, по известиям из Парижа, по другим письмам из Петербурга ждала тебя сюда со дня на день. Я все воображала, что ты хочешь сделать мне сюрприз и вдруг явиться... К праздникам я была глубоко убеждена, что ты будешь, и разочарованье заставило меня немного побранить тебя. Не пеняй

---

* Ольга Брандорф еще с весны 1875 г. уехала за границу лечиться.

же ты на меня за невниманье, родимый. Не знаю, застанет ли тебя это письмо в Петербурге. Ты пишешь маме, что думаешь наверно выехать в конце недели <...>

...Ах, папа, папа, как бы ты наслаждался здесь. Что за солнце, что за тепло, и море под самым носом. Мы нарочно искали такую дачу, думая, что ты отдохнешь около своего любимого моря. Впрочем, хотя времени много упущено, я надеюсь всей душой, что ты все-таки приедешь <...>

...Сережа сейчас подошел и спросил, кому я пишу. Я сказала ему, и он просил меня сказать тебе: «Милый дедушка с хорошим лицом, приезжай совсем ко мне в Ментон в виллу Гастальди. Ментон хороший город...»

Как ни убедительна была эта похвала Ментоны, но и она не подействовала, и дедушка с «хорошим лицом» не ехал.

Вилла Гастальди, на которую Сережа приглашал его к себе, стояла на самом краю Ментоны, в том месте, где узкая полоса берега между горами и морем, постепенно суживаясь, сходит на нет и упирается в громадную, выступающую в море скалу на самой границе Франции и Италии. На верхушке этой скалы одиноко торчал розовый домик — итальянская таможня. Передний фасад нашей виллы был обращен к морю, и в бурную погоду волны обдавали своими брызгами белые ступени крыльца. Сзади к самой стене крошечного дворика примыкали уже горы, по первому уступу которых пролегала железная дорога — немного выше нашей крыши. Поезда мчались мимо окна нашей столовой и тут же у нас на глазах с пронзительным криком влетали в черное отверстие тоннеля.

Сережа не пропускал ни одного поезда и очень любил махать платком пассажирам, выглядывавшим из окон вагонов. И если минут через двадцать после исчезновения поезда в тоннеле мы, бывало, услышим шум приближающегося экипажа, то бежим навстречу к дедушке, потому что знаем, что мимо нас некуда уже ехать. Кто едет сюда, тот едет на одну из четырех-пяти вилл нашей променады.

Но экипаж подъедет, уедет, а дедушки все нет и нет. Так мы его и не дождались в «хороший город Ментон».

Из письма к Анне Ивановне от 27 янв./9 февр. 1876 г.

...Мы продолжаем свою ультраскромную жизнь, теперь минус прогулок на ослах. Вообразите — я даже в Ницце не была, потому что надо ехать туда со всем хвостом, а дороговизна такова, что ни тпру, ни ну. Ментонцы дерут же за свое голубое небо и теплое солнце, благо, больные должны волей-неволей оставаться по предписанию докторов. Кстати, о больных, Ольге Брандорф, кажется, получше. Она как-то оживилась, цвет лица лучше стал, и она похорошела. Она, говорят, производит фурор в Ницце. К нам она наезжает, проводит день с Наточкой, а иногда и ночует <...>

Только что я успела отправить это письмо, как несмотря ни на что пришлось нам все-таки забрать «свой хвост» и ехать в Ниццу: Ольга Брандорф заболела.

Сначала Поленька раза два навестил ее, но так как ей не становилось лучше и около нее никого близкого не было, мы решили перебраться в Ниццу на неделю, на две; так мы предполагали, а на деле вышло, что мы провели около нее целых два месяца, в продолжение которых она все время колебалась между жизнью и смертью.

Мы застали при ней доктора-старика, прибалтийского немца, который, очевидно, ничего не понимал в ее состоянии. Когда дело дошло до того, что она не могла проглотить чайной ложки воды без рвоты, то мы взяли на себя переменить доктора. Попался нам совсем молодой русский врач, путешествовавший с какой-то богатой больной и успевший в очень короткий срок приобрести в Ницце известность. Это был И. В. Чернышев, который и теперь считается в Петербурге хорошим акушером. Он нашел Ольгину болезнь очень опасной и принялся за ее лечение с особенным рвением.

Мы тотчас же послали телеграмму ее мужу, считая необходимым предупредить, что Чернышев не ручается за исход болезни. Каково же было мое удивление, когда на это мы получили от Васеньки Брандорфа вопрос: «Надо ли приезжать или не стоит?»

Как раз в это время в состоянии Ольги нахлынула новая волна ухудшения. Один раз она совсем напугала нас: похолодела, посинела, пульс еле бился, дыханье постепенно замедлялось... Она скрестила руки на груди и сказала мне: «Перекрести меня, я умираю...»

К счастью, тут подошел Чернышев. На случай повторенья подобного припадка он дал нам наставленья: 1) все окна настежь, 2) дыханье кислородом, 3) и скакать за ним.

Когда Васенька, наконец, явился, мы обрадовались, надеясь на существенную помощь в уходе за больной. При ней, кроме нас, находилась горничная ее, Верушка, старшая сестра нашей Саши, но она вместе с тем справляла за границей обязанности няньки, спала с Наточкой, ходила за ней, прогуливала ее, так что особенно рассчитывать на нее, как на сиделку, было невозможно.

В первый же вечер своего приезда Васенька вызвался дежурить при Ольге. Он отправился к ней, а мы остались сидеть в гостиной. Не прошло и часу, как из дальней комнаты послышалось шлепанье туфель, и к нам вошел Васенька в халате, таща за собой громадную подушку. Он остановился перед нами и сказал: «Изгнание Авраама».

Эта фраза осталась у нас надолго в семейном обиходе и вызывала всегда дружный хохот. Мамаша особенно любила этот рассказ и всегда неудержимо хохотала над ним.

Причиной «изгнания» оказалось то, что «Авраам», прилегший на диван в комнате у больной, не замедлил задать ей концерт, от которого она пришла в полное отчаяние. Свист, завыванье, скрежет зубов, громовые раскаты неистового храпа заглушали ее слабый голос, молящий о пощаде. Тогда было прибегнуто к звонку, приказано

появившейся Верушке растолкать Василья Александровича, а ему, только что он открыл глаза, предписано немедленно убираться вон.

Тем и покончились его дежурства. После этого помощь его направилась преимущественно на беготню в аптеку и за покупками.

Через несколько дней с Ольгой опять сделалось очень худо: пульс ослабел, конечности похолодели... Я распахнула одно окно... Кинулась к другому, а за мной Васенька методически запирал то, что я открывала, громким шепотом приговаривая, что так можно простудиться... Что тут было делать? Смеяться?.. Как мы потом и делали, вспоминая все Васенькины выходки, но в ту минуту было не до смеха. «Скорее скачите за Чернышевым», — шепнула я ему и, спровадив его, опять открыла все настежь.

На улице солнце, тепло, хохот, группы ряженых, прокатил экипаж, укутанный в розовый коленкор и обвитый цветами... Карнавал. Мы и забыли о нем. Знаменитый ниццский карнавал промелькнул на минуту перед моими глазами. Странное впечатленье: за окном маски и песни, а тут в комнате борьба со смертью.

Чернышев опять поспел вовремя и опять после долгой возни привел Ольгу в чувство. Уходя, он прописал лекарство, которое приказал немедленно ей дать. Ищу Васеньку, чтобы послать его в аптеку... Нет его... Спрашиваю Верушку... Та, со своими по обыкновению строгим лицом и строгим голосом, объявляет, что «Василий Александрович как уехали за Чернышевым, так еще и не бывали...» «И Наточку с собою увезли», — прибавляет она сердито. Она обожала девочку и беспокоилась ее долгому отсутствию. Обошлись и тут без помощи Васеньки.

Когда он, наконец, вернулся, я не могла удержаться, чтобы не побранить его: «Где вы были, Васенька? Нельзя же пропадать в такие минуты!» — «Я же за Чернышевым ездил... Разве он не был?» — «Был... Долго возился и уехал... А вы-то, вы-то где были все это время?» — «Я?.. Я прокатился с Наташей... Купил ей сладких пирожков... И остановились на бульваре у гадалки... Взяли билетики с гаданьем... На Олечку, на Олечку гадали, — прибавил он, вероятно, в ответ на то, что прочел на моем лице. — Ну, ну что? Не сердись, преподобная мать Елена (прозвище его собственного изобретения), не сердись». И положив одну руку на другую ладонью вверх, он сделал вид, что подходит под благословение. Откормив Наточку сладкими пирожками до полного расстройства желудка, он уехал обратно в Петербург и оставил опять Ольгу с нами, так что нам пришлось уж писать «дяде Васе Хитрово», чтобы просить его принять ее на свои руки ввиду предстоящего нам отъезда.

Вскоре после Васеньки приехал вдруг мой отец, которого мы совсем уже перестали ждать. Приезд его совпал с улучшением здоровья Ольги, так что мы стали по его желанию выезжать и успели еще захватить конец сезона в Ницце.

В ней царствовал тогда Павел Григорьевич Дервиз,[3] известный архимиллионер. Отец мой был давно дружен с ним и поехал к нему с визитом. Узнав от отца, что его дочь и зять провели целую зиму

в Ментоне и Ницце, он выразил свое удивление, что они не познакомились с ним и не пожелали даже послушать его знаменитый оркестр. Правда, вся Ницца только и говорила о концертах замка Вальроз, но вместе с тем ходили рассказы о том, с какими трудностями сопряжен доступ на них, и о том, как публика, подзадоренная препятствиями, добивается вожделенных билетов даже путем унижений. Мы и не пробовали попасть туда, тем более что Ольга была все время так плоха. Но тут отец потащил нас к Дервизу.

Как часто бывает с людьми, избалованными обществом, он сразу стал расточать перед нами всевозможные любезности только потому, что мы не искали их, а через несколько дней совсем пленился Поленькой после того, что тот поспорил с ним о чем-то. Оказывается, что ему редко кто решался возражать (даже мой отец избегал этого), чтобы не вызвать припадка бешеного гнева, которым он был подвержен. Мы этого не подозревали, и Поленька совершенно бессознательно поразил его своею «храбростью». А в другой раз подобная «храбрость» создала довольно любопытный инцидент.

Демонстрируя нам один из своих роялей, чудесный «Стануэ»,[4] Павел Григорьевич сыграл нам романс своего сочинения, а Поленька, просмотрев его, спел и привел автора в восторг своею музыкальностью и своим голосом. С нервным увлечением, свойственным ему, Дервиз стал строить планы о постановке у себя русской оперы и уговаривать Поленьку петь в ней. Поленька отказывался и советовал выбрать кого-нибудь из присяжных певцов.

«Кого же, кого же?» — с возбуждением выкрикивал Дервиз. — «Энде», — отвечал Поленька.

Чтобы понять значение этого ответа, надо знать, кто такой был Энде. Никто другой, как меньшой брат Павла Григорьевича, — Николай Григорьевич фон Дервиз,[5] шалопай, кутила, но чрезвычайно талантливый человек. Братья отступились от него и, когда тот пошел на провинциальную сцену, объявили ему, что запрещают ему носить их имя и что знать его не хотят. Ничуть не смущаясь последним обстоятельством, Николай Дервиз устроил себе псевдоним из двух начальных букв своих имени и фамилии, и вскоре Энде сделался известным. Из Киева он был приглашен в Петербург на императорскую сцену и имел большой успех, выступив в роли шута в «Рогнеде» Серова[6] и потом в роли Финна в «Руслане».[7] Его красивый и гибкий тенор был невелик и не позволял ему браться за сильные партии, но те, за которые он брался, были всегда исполнены художественно, как в отношении пения, так и в отношении игры. Его появление на Мариинской сцене очень ценилось в петербургском музыкальном мире и потому естественно, что имя его вырвалось у Поленьки.

Это не удивило меня, но я ожидала, что он спохватится и что ему станет неловко. Смотрю, — ничуть... Смотрит на него и Дервиз, очевидно ожидая того же, что и я... Смотрит в упор, пронзительно... Молчание не из приятных. А Павел Павлович не замечает ничего по той простой причине, что совершенно забыл отношение Энде к

владельцу Вальроза, и это написано на его лице. Тогда Дервиз вдруг делается любопытным и осыпает своего гостя вопросами об артисте Энде, об его голосе, манере пения, ролях и т. д.

Впоследствии, по возвращении нашем в Россию, мы узнали, что Дервиз выписал к себе в Лугано тенора Энде для исполнения, кажется, «Жизни за царя». Вернувшись оттуда, сам Энде рассказывал нам, как гастролировал у брата и как в утро своего отъезда он получил от управляющего пакет с гонораром в сто тысяч рублей.

Так братья и расстались.

Несмотря на выдающийся ум Павла Григорьевича и на его образование (он кончил Правоведение [8]), волшебное превращение из бедняка в богача все-таки одурманило его, как и первого встречного Тит Титыча.[9]

«Все могу, что захочу... Разве только птичьего молока не достану... Да и то...»

Вот его фраза, которая дословно осталась у меня в памяти. Мне становилось жутко, когда он произносил ее со своим нервным смехом; да и вообще его вечно нервная беспокойность вселяла в меня жалость к нему и к его близким. Достаточно было взглянуть на испуганное лицо доброй Веры Николаевны, его жены, и на невеселые рожицы детей, чтобы понять, как мало могущество миллионов внесло в их жизнь удовлетворения. Отсутствие душевного покоя хозяина отражалось на всем доме, даже на неодушевленных предметах. Я не помню в Вальрозе ни одной комнаты, которая манила бы к себе, в которой хотелось бы посидеть, ни одного удобного приятного уголка, в котором охотно приткнулся бы с интересной книгой. Единственное, что мне нравилось там, — это белая концертная зала, построенная на отлете от замка, но соединенная с его салонами величественной мраморной лестницей, да, пожалуй, примыкающая к зале маленькая гостиная, предназначенная для опоздавшей публики, которая выжидала в ней окончания музыкального номера, так как во время исполнения никто не допускался в зал. Много мы испытали в нем истинного наслаждения, слушая действительно идеальный симфонический оркестр, весь состоящий из артистов.

Сильное впечатленье произвело тоже на меня пение в маленькой церкви Вальроза. Оно неслось непонятно откуда. Певчих не видно было совсем, и чудные звуки церковных напевов точно летали по воздуху. Я потом узнала, что певчие помещались за алтарем, от которого отделял их занавес. Оркестр и этот хор певчих (преимущественно чехов) составляли самую благородную и ценную из роскошей Дервиза. Они действительно были неподражаемы.

Кроме Дервизов, мы виделись еще с Соллогубами. Старик граф Соллогуб,[10] автор «Тарантаса», жил вместе со своей милой дочерью, княгиней Гагариной, которая зимовала в Ницце для своей больной девочки. С ними находился и сын Соллогуба Александр, который много лет спустя так печально попал под суд. Поленька его называл «шалым», и он сам стал называть себя так, сознавая, что не знает ни дней, ни часов и все путает. Может быть, его и погубила эта

умственная беспорядочность, но человек он был скорее симпатичный. На дневном рауте у Соллогубов мы познакомились с Юмом, известным спиритом. Он был тогда совсем больной и спиритических сеансов не давал, но иногда можно было уговорить его декламировать, что и удалось старику Соллогубу. Он устроил концерт от имени русской колонии в пользу бедных города Ниццы, сам взялся прочесть одну французскую сценку своего сочинения и упросил Юма декламировать. Такой декламации я никогда не слыхала. Ни пафоса, ни патетических жестов, ни крика, а подлинное вдохновение.

И мы участвовали в этом концерте (наш первый публичный концерт). Поленька пел партию Собинина в трио «Не томи, родимый»,[11] а я арию Вани «Бедный конь».[12] (У Дягилевых она называется «бедная тпруська»).

Перед самым отъездом нашим из Ниццы отец как-то позвал меня прокатиться. Не говоря ни слова, он привез меня на русское кладбище и подвел к могиле, над которой возвышалась мраморная большая статуя во весь рост. Я тотчас же узнала Герцена. Мой отец знал и любил его, мне же было семь лет, когда мы виделись в Лондоне с Александром Ивановичем и его семьей, из которой в памяти остались у меня только его две дочери, Наташа и Ольга, в нарядных сарафанах и кокошниках. Его самого я помню особенно хорошо, когда он раз пришел к нам и велел мне запустить руку в свой цилиндр, чтобы достать из него сюрприз, который он мне принес. Я сунула руку и схватила что-то мягкое, барахтающееся. Крики ужаса были единственной моей благодарностью за редкую мышку-альбиноса, которую он где-то раздобыл, чтобы обрадовать меня.

Выйдя с кладбища, отец перешел через улицу и вошел в какой-то подъезд, приглашая меня следовать за ним. Мы поднялись в первый этаж по темной лестнице и были впущены в темноватую комнату, окна которой выходили прямо на кладбище. К нам вышла пожилая дама, худая и тоже вся темная... Отец целовал ей руку, она плакала, потом они стали говорить о Герцене, об его болезни, о том, как он последние годы все более и более тосковал по России, об его предсмертном бреде,[13] теперь всем известном, но о котором я услыхала тогда в первый раз. Меня тронуло и поразило, что его страстное желание вернуться в Россию было все-таки удовлетворено, хотя бы и в бреду: ему казалось, что он несется по снежной равнине на тройке и что колокольчик звенит под дугой. Про себя она сказала, что поселилась тут около «н е г о», что тут она и кончит, что для нее на свете больше ничего не существует. Когда мы сели опять в коляску, я, разумеется, спросила отца, у кого я была, на что он отвечал мне, что дама эта, — Огарева,[14] «друг» Герцена, как он выразился.

Ницца уже начала пустеть, когда мы покинули ее. Приехав в Париж перед самой Пасхой, мы застали его в полном разгаре прелестной весны. Тут мы получили совершенно неожиданное известие, что мамаша Анна Ивановна находится в Женеве у Мариши, проводившей там зиму. Поленька сейчас же отправился повидаться с ма-

терью и попросить ее, когда она поедет в Бикбарду, выяснить его дела, так как за всю зиму ему ничего не высылали из Перми, вследствие чего нам было довольно трудно. Вернувшись из Женевы через несколько дней, он привез большую новость: Кокушка жених... Свадьба предполагается в Бикбарде, куда многие из семьи собираются съехаться. Возник вопрос и о нашей поездке в Пермь, так как нам оставалось еще три месяца отпуска.

Осуществить это оказалось, однако, не так легко. Мои родные требовали, чтобы я и дети оставались с ними в Париже и чтобы я отпустила Поленьку одного в Россию. Борьба была тяжелая. Они настаивали, мы не уступали, решив ни за что не расставаться. До последней минуты отец не покидал надежды победить: когда мы уже сидели в вагоне, он предлагал мне выйти из него с детьми.

Следует все-таки заметить, что несмотря на бури, пережитые нами в Париже, память о последнем нашем пребывании там не вполне омрачена ими: были очень приятные дни и интересные эпизоды. Скажу несколько слов о том, что кажется мне интереснее всего.

Начну с вечера у мадам Виардо, на который я попала тотчас же по приезде в Париж. Сестра моя постоянно бывала у Виардо помимо уроков и, воспользовавшись первым попавшимся приглашением, попросила позволения привезти меня с собой. Поехали мы, я — с трепетом ожидания, так как с самого детства слышала рассказы о гениальной Полине Виардо и знала через Татусю, что она сама часто поет на своих музыкальных собраниях. Но мне не повезло, — она в этот вечер не пела.

Народу было много. После первых приветствий (самых лаконических) я была совершенно предоставлена самой себе, как, впрочем, и все гости, сидевшие тесно рядышком вдоль стен залы. Я поместилась у дверей, в которые мы вошли. Неподалеку от меня находился рояль. Кругом него стояла небольшая группа оживленно разговаривающих между собою лиц, на которых было устремлено общее внимание молчаливых зрителей у стен. Центром группы была, разумеется, хозяйка. Как известно, она в молодости не слыла красотой, но я нашла ее в старости благообразнее всех ее портретов и поражена была ее моложавой прекрасной фигурой.

После долгих переговоров один из окружающих ее мужчин с козлиной бородкой и крючковатым носом сел за рояль. Это был Сен-Санс. Он сыграл свой «Danse macabre».[15] Мы только что слышали эту вещь в Ницце и Монте-Карло в превосходном оркестровом исполнении, после которого исполнение автора показалось мне средним. Когда он кончил, кругом рояля возобновилась беседа все тех же лиц, между которыми находилась и моя сестра. Они перелистывали какие-то нотные тетради, искали чего-то, очевидно; и вдруг мадам Виардо, возвысив голос, позвала: «Tourguéneff!..»[16]

У меня екнуло сердце. В противоположной от меня стороне залы была открытая дверь, в которую с моего места видна была часть гостиной с большим портретом мадам Виардо, ярко освещенным боковой лампой. Послушная зову, высокая фигура с седой головой на

широких плечах появилась в рамке этих дверей и остановилась на пороге. Не знаю, что Виардо еще сказала ему... Все внимание мое было приковано к этим таким знакомым, хотя никогда раньше не виданным, чертам. Но Тургенев, молча выслушав приказание, появился через несколько секунд с какой-то тетрадкой в руках, подошел к роялю, подал ее и опять скрылся в гостиную с портретом.

Во второй раз мы видели Тургенева через несколько дней после первого у моих родителей. Они знали его еще раньше в Петербурге, постоянно встречаясь у Ивана Ивановича Панаева,[17] двоюродного брата моего отца и издателя «Современника». Когда же Татуся сделалась ученицей мадам Виардо, старые отношения возобновились. Отец мой, желая доставить нам случай познакомиться с Иваном Сергеевичем, позвал его как-то на чашку чаю.

Мы давно уже успели выпить по две чашки, а Тургенева все еще не бывало. Отец сердился и ворчал, говоря, что он всегда кривляется, нарочно заставляет себя ждать, потом явится поздно на минутку или совсем не придет. К счастью, последнее пророчество не сбылось: он пришел, хотя, правда, довольно поздно и очевидным образом не в духе. Общее настроение упало... Разговор не клеился... Не знаю уж, каким путем, прихрамывая, он добрел до вопроса, сделанного Ивану Сергеевичу мною: которое из своих сочинений он больше всех любит? «А вы?» — спросил он. «Конечно, „Отцы и дети“».

Ответ этот произвел совершенно неожиданное впечатленье: скучающий вид вдруг исчез, сонные глаза оживились, выражение удовольствия промелькнуло на лице, и он повторил: «Конечно».

С этого слова он заговорил... Говорил много, то вставая с места и похаживая, то опять садясь, а мы, разумеется превратились в слух, изредка только подталкивая его каким-нибудь вопросом.

Он особенно настаивал на том, что природа лишила его всякого воображенья, что он никогда не был способен сочинить что-нибудь, что всех лиц, им описанных, он знал лично...

«Вот Базаров, например...» И он рассказал встречу с молодым человеком, послужившим ему образцом для Базарова.

Он познакомился с ним в вагоне, едучи из Москвы в Петербург, и всю дорогу пробеседовал с ним, увлеченный его умом и крайне заинтересованный новым типом, только что появившимся в нашем быту. Приехавши в Петербург и прощаясь со своим спутником, Иван Сергеевич осведомился об его имени и адресе. «А на что вам?» — был ответ. «Желал бы продолжать приятно начатое знакомство». — «А я так совсем этого не желаю». Иван Сергеевич, предполагая, что молодой человек не знает, с кем имеет дело, назвал себя: «Я Тургенев». — «Знаю, что же из этого?» — отрезал нигилист и удалился, вероятно, торжествуя (это уже мое замечание), что удалось ошеломить «великого человека».

О том, что он тем не менее не терял из вида своего спутника и перевоплотил его в Базарова только, когда узнал об его смерти, Тургенев прибавил в конце рассказа как-то неопределенно и нехотя.[18]

Охотнее всего он распространялся о своем творчестве: говорил, как он всегда долго носит в себе образы своих героев, как они постепенно становятся неотвязчивыми, преследуя его всюду, где бы он ни находился: в одиночестве ли, в веселом ли обществе, в театре, в путешествиях — везде они с ним, он ставит их в различные положения и спрашивает себя, как каждый из них поступил бы в данном случае... (И Тургенев считал себя лишенным воображения!) Наконец, когда ему от них нет ни места, ни покоя, он садится и пишет. Тут ему легко, дело льется быстро, гладко, и последняя точка ставится с наслаждением, но — после нее наступают самые тяжелые минуты расставания. Отсылая вещь в печать, он испытывает чувство, похожее на разлуку с самыми близкими и дорогими существами. Носишься, носишься с ними день и ночь, и вдруг их уже нет... Сам отдал их в чужие руки... На суд... Может быть, на поругание...

Вечер с Тургеневым на Place Vendôme [19] остался для меня памятным на всю жизнь. Больше никогда не приходилось беседовать с ним.

Видели мы его тогда в Париже еще раз на концерте, ежегодно им устраиваемом у себя в пользу русской молодежи, учащейся в Париже. Участвовали в этом концерте всего четыре человека: сам Тургенев, Золя, Полина Виардо и моя сестра.

Тургенев прочел свои «Два помещика». Начал он будто нехотя, но потом воодушевился, читал просто, хорошо.

Золя произвел неблагоприятное впечатление. Позднейшие его портреты гораздо симпатичнее, чем он был, когда мы увидали его в 1876 году. Буржуа с брюшком, с маленькими заплывшими глазами, со взглядом исподлобья. Читал он невнятно, тихо, под нос сцену у колодца из Rougon Macquart [20] и сцену в basse-cour [21] из «La faute de l'abbé Mouret».[22]

Мадам Виардо пела по-русски романсы своего сочинения. Ее немолодое некрасивое лицо преобразилось и сделалось привлекательным, когда она запела, а от дикции ее мороз пробегал по коже. Никогда не забыть, как она исполняла «Шепот, робкое дыханье, трели соловья» и «Орел и узник».

Сестра спела арию из «Руслана и Людмилы» — «Любви роскошная звезда». Молодой могучий голос полился мягкими волнами, наполняя всю залу страстной тоской жалобы Гориславы. Публика, уже наэлектризованная появлением на эстраде очаровательной девушки, пришла тут в полный восторг.

По окончании программы этого необыкновенного концерта дверь, из которой выходили артисты, слегка приотворилась и в нее просунулась белая голова Тургенева. Начавшая было подниматься со своих мест публика остановилась и выслушала сделанное в такой позе заявление Ивана Сергеевича о том, что малороссийский певец самоучка, г. Гордеев, только что прибывший в Париж, просит позволения выступить сверх программы. Мадам Виардо заставила сестру спеть с ним дуэт из какой-то малороссийской оперетки. Му-

жичок во фраке обворожил всех своим чудесным тенором. Впоследствии он певал у нас в Петербурге и очень любил рассказывать, как он однажды «дебутыровал в Хваусте».

Тогда же, в Париже, познакомились мы с модным в то время художником, Константином Егоровичем Маковским. [23] Он только что женился на своей второй жене, красавице Юлии Павловне, и оба находились в числе лиц, окружавших в Париже моих родных. У Маковского был хороший баритон, и мы часто пели с ним квартеты — сестра, муж и я.

Вернулись мы в Россию около двадцатого апреля, как упомянуто выше, не без труда, и вот что я писала отцу через неделю, в ответ на его письмо, в котором он выражал свою тревогу, что огорчил меня, но все-таки настаивал на том, что мы поступили не так, как следовало.

Дорогой, бесценный папа, сейчас получила твое письмо и сейчас хочу отвечать тебе. Милый мой, разве я не знаю, что все, что ты говоришь, идет от сердца, преисполненного любви. Это сознанье всегда уничтожает во мне всякое неприятное чувство после более или менее резкого разговора. Не мучься, голубчик папа, мыслью, что надо было нам поступить иначе. Нет, даже с твоей любовью и с твоим умом ты не можешь устроить счастье, которого желаешь для меня. Оно дается Богом. Не ищи его для меня, я никогда не гонялась за ним, не искала его, мне сам Бог поставил его на пути <...>

...Я знаю только одно — я люблю мужа и уважаю его, следовательно, место мое около него. Неужели, папочка, ты не видишь, как это ясно, просто и хорошо. А что Богу угодно будет послать нам на долю, того не отвратит ничто, потому будь покоен, родной, как и я в этом случае покойна за себя <...>

...Перед отъездом еще напишу. Вчера получили телеграмму из Перми о высылке нам денег и думаем ехать во вторник 27-го.

Так и вышло. Мы пустились в путь 27 апреля, предварительно всю неделю пробегавши по магазинам с Юленькой. Ей были присланы из Перми деньги и мерки с поручением закупить весь подвенечный наряд для Кокушкиной невесты и подвенечное платье заказать у мамашиной портнихи. Все приданое делали Павел Дмитриевич и Анна Ивановна, и делали его, как для родной дочери.

В это время Наталья Павловна находилась с Кубитовичем в Москве, где нам надо было пробыть целый день между поездами. Поленька захотел навестить сестру и повез меня знакомиться с ней. Вошли мы к ним нежданно-негаданно. Нас провели по какой-то странной сводчатой галерее. В гостинице ли это было или в меблированных комнатах — не знаю, и открыли перед нами дверь в невзрачное помещение. Я пропустила Поленьку вперед, а сама отстала немного. За столом, спиной к нам, сидела полная дама. Она кормила с ложечки ребенка в высоком стуле. Рядом, но лицом к двери стоял

молодой человек. Он взглянул на входящего и, вдруг узнав его, бросился в дальний угол к окну. Таленька, увидав его движенье, тоже вскочила, обернулась к двери и не успела еще крикнуть, как брат уже обнимал ее. Потом он прямо пошел к Николаю Николаевичу, который, не двигаясь, смотрел исподлобья на приближенье, как, вероятно, казалось ему, врага. Поленька протянул ему руку, и тот пожал ее, молча, с недоуменьем. Тут появление в моем лице элемента нового, не причастного к семейной драме, перевело натянутое положение на обыденную почву.

Мы пробыли несколько часов вместе на Николаевском вокзале, где они обедали с нами. Таленька была в заметном ожиданьи уже третьего маленького Кубитовича, и состоянье это ее не красило. Кубитович тоже не показался мне интересным. Говорил он много, умно, но без простоты. Темой разговора послужила наша поездка в Пермь и предстоящее знакомство мое с папашей. Кубитович вдался в подробную характеристику Павла Дмитриевича, подчеркивая все его качества и мимоходом задевая Анну Ивановну с невыгодной стороны. Это шло совершенно в разрез с личным моим настроением. Мамашу я успела уже полюбить, а к папаше относилась с известным предубеждением, основанном на рассказах об его странностях и ханжестве.

На другой день мы прибыли в Нижний и попали на пароход компании «Кавказ и Меркурий» — «Сибиряк».

Павел Павлович был принят на нем, как бы на своей собственной яхте. Щеголеватый капитан с помощником, серьезные лоцмана, официант — все обрадовались, забегали, засуетились... Пароход был маленький, немного побольше тех, которые ходят теперь по Неве в Шлиссельбург, но считался одним из лучших ходоков. Про него даже существовало четверостишие:

Кама-матушка шумит,
«Сибиряк» по ней бежит;
Он свисточки подает
И к Перми уж пристает.

Разместились мы на нем с удобством и поплыли.

Волга и Кама были в полном разливе. За Казанью у Богородска, где встречаются обе реки и где бурная, суровая Кама врезается в светлые воды Волги, не сразу соглашаясь слиться с ними, — там половодье стояло такое, что берегов не было видно. Местами мы шли, задевая верхушки деревьев затопленных островов.

Ни за́мков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор...[24]

Никогда так не чувствовала я этих слов Некрасова, как тогда, когда и мы, тоже только что пожив за «дальним Средиземным морем, под небом ярче твоего...», вернулись домой.

Движенье снующих пароходов и тянущихся караванов барж заметно уменьшилось, как только мы вошли в Каму. Одни только неизменные плоты сплавного леса продолжали часто попадаться и беспокойно колыхаться, потревоженные волнами из-под пароходного колеса. Издали уже заметно, как начинают копошиться на плоту, завидя пароход: вооружаются баграми, усиленно действуют ими, бегут на переднюю часть, из хорошенькой еще не посеревшей избушки непременно показывается любопытная баба с ребенком на руках... Поравнявшись, и я тоже с любопытством гляжу на этот плывущий уголок жизни, который мне почему-то всегда казался заманчивым: в котелке что-то варится, на веревках сушатся, развеваясь по ветру, цветные рубахи и шаровары, собака, надсаживаясь, лает на торопливо бегущий мимо пароход...

Чем дальше, тем берега становятся холмистее, лесистее и пустыннее. Пристани все реже и реже. На тех, где берут дрова, остановки долгие. Только что причалят, толпа нарядных баб и девок кидается на пароход, как на приступ... Крик и хохот оглашают воздух, сразу спугивая всю тишину плаванья. Начинается беготня взад и вперед с носилками дров и грохот бросаемых со всего размаху на палубу поленьев.

Оживленная веселая картина, но пристани, где стоят недолго, еще лучше: береговые звуки не заглушаются суматохой, а эти звуки и запахи, мимо которых прошел бы на суше без вниманья, производят особенное впечатленье, когда долго плывешь и целыми часами кругом все только одна вода. Звяканье бубенчиков у помахивающей головами тройки, которая привезла кого-то на пристань, запах дегтя, потрескиванье и дымок костра, благовест — все это кажется таким милым и близким...

Я проводила целые дни на палубе, а когда наступала ночь, мирная, весенняя белая ночь, совсем уж не хотелось уходить. Кончилось, однако, все это сиденье простудой и зубной болью — пришлось спуститься в каюту.

Накануне прибытия нашего в Пермь мы сидели там вечером, когда «Сибиряк» наш стал неожиданно замедлять ход и остановился. Пристани никакой не полагалось, пассажиры всполошились, спрашивали, что случилось... Сверху слышны были громкие переговоры в рупоры. «Дягилевы здесь?» — загудел вдруг явственный вопрос. Поленька схватил фуражку и побежал наверх. Вслед за этим там поднялась усиленная ходьба, и вдруг раздались громкие знакомые голоса. Казалось, только их и ждали, чтобы продолжать путь... Свисток... Колеса зашлепали, зашумели, но не заглушили смеха и говора, доносившихся из рубки. «Братья тут», — радостно объявил мне Поленька, вбегая в каюту.

Оказывается, они собирались проехать к нам навстречу до Осы, но, встретив «Сибиряка», уже миновавшего ее, попросили своего капитана пересадить их на него. Нравы были еще настолько патриархальны, что капитан вошел в положение пермских Дягилевых, желавших встретить своего петербургского брата, и согласился ис-

полнить их просьбу. Таким образом пароходы «Купец» и «Сибиряк» вне всяких правил подошли друг к другу вплотную посреди реки, и пассажиры перешли с одного на другой по переброшенным сходням. Вся компания спустилась ко мне: Ванюшка, Мишенька, Кокушка и Кокушкина невеста, Надежда Эдуардовна Фохт. Наши возгласы и смех прерваны были строгим шиканьем нянюшки, появившейся, чтобы не разбудили детей, и братья убежали опять наверх, где засели вчетвером за веселый ужин, «затянувшийся далеко за полночь».[25]

Невесту оставили со мной. С первого взгляда можно было назвать ее недурненькой, и только: она тогда еще далеко не была той хорошенькой женщиной, какою сделалась впоследствии. Уродливый ли туалет и прическа были тому виной, и, может быть, неуменье показать товар лицом, но через год, через два нельзя было узнать в красивой, нарядной, пикантной жене Николая Павловича ту миловидную немочку в мешке травяного цвета вместо платья, с которой мы познакомились на «Сибиряке». Говорю «немочка», потому что общий облик ее производил это впечатленье, несмотря на совсем не немецкие черные глаза и брови в еще менее немецком сочетании их со светлыми волосами.

С первых же слов я почувствовала, что намерение мое ободрить молодую девушку, попавшую в чужую семью, совсем излишнее. Она свободно завела сама беседу со мной и, не прерывая ее, стала располагаться на ночлег: разделась, легла на спину и, закинув совершенно обнаженные руки за голову, продолжала в этой позе свои рассказы. Они были очень откровенны. Подробности часто запутывались и противоречили друг другу; но суть повествования твердо держалась на одной точке — победах Надежды Эдуардовны и ее неотразимости.

Она была невестой технолога ли, лесничего ли — не знаю, который служил в Нытве, где жили и ее родители. Отец, Эдуард Богданович Фохт, ссыльный, но не политический (о чем обыкновенно умалчивалось), имел там какие-то занятия по бухгалтерской части. Он служил раньше управляющим в одном из имений великого князя Николая Николаевича [26] и был замешан в злоупотреблении при продаже леса, кажется (наверно, впрочем, не помню), вследствие чего и приговорен к ссылке в «места не столь отдаленные». Таким образом, молодой лесничий повстречался в Нытве с Надеждой Эдуардовной, в которую влюбился. Предложение его было принято с радостью, свадьба назначена в недалеком будущем, но невеста упросила его свезти ее раньше в Пермь, чтобы она могла сама выбрать и заказать приданое, которое он делал ей на свой счет. Какой прекрасный возок «страшно влюбленный» жених купил для этого путешествия, как он ее усаживал, укутывал — все это было подробно рассказано мне тут же, в первый час нашего знакомства. В Перми лесничий сдал свою невесту уважаемой даме, жене управляющего Государственным банком Семевского.

Супруги Семевские, хотя уже пожилые и бездетные, много выезжали, любили играть роль в обществе и стояли во главе благотворительности. Невесте это было на руку. Ее свезли раз-другой потанцевать в клубах, и она так разохотилась, что когда жених вновь появился со своим возком, она и слышать не захотела о возвращении в Нытву. Пришлось уступить и даже сделать ей новые туалеты для вечеров, а самому опять скрыться.

Судя по рассказам Надежды Эдуардовны, мужское население Перми, все без изъятия, перевлюбилось в нее на этих вечерах. В числе влюбленных оказался и наш Кокушка. Он ухаживал не стесняясь, как во всем, что он делал. Анна Григорьевна Семевская забеспокоилась, стала уговаривать «вверенную ее попечениям» девицу и доказывать ей, что подобное ухаживание компрометирует ее, так как не может же она предполагать, чтобы молодому Дягилеву вздумалось жениться на ней. Надежда Эдуардовна сознавалась, что, конечно, это сомнительно, но ведь случались же и не такие происшествия. Ей перестала улыбаться судьба жены лесничего в Нытве. Римский-Корсаков и Дягилев, два молодых судейских, — вот на кого устремились ее мечты. Не один, так другой.

До лесничего дошли, наконец, слухи о предприятиях его невесты, и он поспешил в Пермь. Как раз в это время подоспела масленица, folle journée [27] и катанье на тройках, на другой день после которого Надежда Эдуардовна объявила Семевским, что они могут поздравить ее невестой Николая Павловича Дягилева. Лесничий рыдал, падал в обморок, упрекал Надежду Эдуардовну в измене и в расходах, сделанных им на нее. Кокушка будто бы швырнул ему деньги в лицо... Будто бы вызывал на дуэль и так далее...

В версии же самого Кокушки история его сватовства слагалась несколько иначе. Пермское общество было такое скудное, что когда Семевские стали вывозить новую барышню, хорошенькую и кокетливую, все оживились. Началось ухаживанье. Два самых блестящих кавалера отбили, конечно, у других вниманье девицы, и между этими двумя — Кокушкой и Римским-Корсаковым — состоялось пари, кому она достанется до окончания сезона, то есть до наступления поста. В последний день масленицы Кокушка сильно выпил и под пьяную руку на тройке решил свою судьбу. Проснувшись на другой день и вспомнив случившееся, он с места укатил в Бикбарду, где находился в то время папаша, который сам неоднократно рассказывал мне этот приезд.

«Стою я в чистый понедельник в алтаре. Служба уже приближается к концу... Вдруг вижу, входит Кокушка, падает на колени поодаль от меня, склоняет голову к земле и рыдает. Содрогнулся я внутренно, подумал: умер кто-нибудь — не мамаша ли? Кокушка, верно, приехал предупредить... Но молчу, не двигаюсь. Когда служба кончилась, он подошел ко мне и сказал: „Я жених, благословите меня“. Я только спросил: „А возврату нет?“ Он отвечал: „Нет“. Я тут же благословил его».

На другой день после нашей встречи на Каме, когда «Сибиряк» стал подходить к Перми, братья наперерыв показывали мне собравшихся на пристани: «Папаша, вот папаша». Я долго не могла различить никого, наконец, увидав впереди всех старика в мягкой серой шляпе и с бритым лицом, узнала в нем Павла Дмитриевича. «Вот и мальчики мои», — говорил Ванюшка. Их было трое около дедушки, все три в черных полуфрачках, в белых жилетах и белых галстуках. Преуморительные торжественные фигурки... Как сейчас вижу их.

Папаша приветствовал нас спокойно и сдержанно, а меня даже церемонно. Стали подавать экипажи. Первой подъехала двухместная коляска. «Садись», — сказал мне папаша. Я села. Тогда он приказал нянюшке подать мне Линчика и прибавил: «Войди в мой дом с сыном твоим на руках».

И так мы вдвоем с Линчиком совершили свой первый въезд в Пермь во главе целой процессии экипажей.

Я знала, что пермский дом большой, но вот и все... Никогда восторженных отзывов о нем, как, например, о Бикбарде, ни от кого в Петербурге не слыхала; может быть, оттого я и была так поражена им. Большой большому рознь. Я никак не ожидала размеров, в которые попала, переступив его порог. Он произвел на меня впечатленье продолжения Камы. Те же ширина, свет и обилие пустых пространств, как, например, в длинных, широких белых залитых солнцем коридорах с блестящими паркетными полами. В конце одного из них нам отведены были две прелестные комнаты с выходом на балкон и в сад.[28] Я была очарована домом...

Хозяином же его не очень. Мне теперь не больно вспомнить взаимную холодность, с которой начались наши отношения с папашей, только потому, что она как-то удвоила цену появившихся впоследствии его расположения ко мне и моей глубокой привязанности к нему. Мамаша сразу привлекла меня к себе лаской и родственностью, папаша же наоборот. После первого обращения ко мне на «ты» он перешел на «вы» и называл меня даже «Еленой Валерьяновной» с несвойственной семье Дягилевых церемонностью. Кроме того я чувствовала в его тоне недружелюбие к моему (не знаю, как иначе назвать)... петербургству. Это не очень смущало меня, потому что молодая часть пермского лагеря баловала меня своей лаской. Мы были все молоды, пока еще п о ч т и беззаботны, и нам было очень весело вместе. Когда во исполнение папашиного приказания мы с Поленькой месили в продолжение нескольких дней грязь по немощеным улицам, делая десятки визитов, и это не казалось скучным. Нас смешило и удивляло только, что мы всех заставали дома и что нас, по-видимому, даже везде ожидали. Мы всюду передавали приглашения Павла Дмитриевича на танцевальный вечер в честь жениха и невесты.

Этим вечером в день именин Кокушки, 9 мая, начинались свадебные празднества. После него назначен был выезд всей семьи в

Осу, навстречу мамаше, едущей из-за границы, а оттуда переезд в Бикбарду, где в Духов день должна была состояться свадьба.

Помню, что 9-го утром мы отправились к обедне в летних платьях. Было просто жарко. После обеда, который подавался на старый лад в три часа, мы разошлись по своим комнатам, и я занялась туалетом Кокушкиной невесты, так как он просил меня об этом. Ей было заказано белое кисейное платье; мы с Сашей постарались пограциознее подобрать тюник, украсили его великолепным муаровым кушаком с длинными концами, сделали ей легкую прическу, в которую прикололи живой цветок. Только что мы успели кончить, в дверях раздался стук и послышался голос папаши: «Гости съезжаются, пора выходить».

Я взглянула на часы — восемь часов... И несмотря на сумасшедшую торопку, с которой я принялась одеваться, вся Пермь с вице-губернаторшей мадам Лысогорской во главе была уже в полном сборе, когда я вошла в залу четверть часа спустя. Вот как еще жили тогда в Перми. С постройкой железной дороги через четыре года патриархальность эта значительно поубавилась.

Мне было совестно, что я так неудачно начала возложенные на меня обязанности хозяйки дома, не встретив приглашенных, и потому с удвоенным усердием принялась занимать гостей, но и тут мне не повезло... Со мной лично не отказывались беседовать, но при малейшей попытке моей обобщить разговор, соединиться группой, я встречала отпор: наступало грозное молчанье, и взгляды дам скрещивались как шпаги. Оказалось, что большинство в ссоре друг с другом и не разговаривают между собой. Братья смеялись над моими вопросами, что же мне делать, и посоветовали мне предоставить их самим себе. Вскоре начались танцы и принесли оживление. Поленькино дирижерство всех расшевелило и развеселило. Оно подействовало даже на папашу, присутствие которого в зале во время танцев все сочли за событие. Я с удивлением увидала, что суровые морщины его вдруг разгладились и что на лице появилась добрая улыбка. Он следил за Поленькиной мазуркой, смеясь и то и дело приговаривая: «Каков... Каков...»

За ужином ожидал нас сюрприз. Из дальнего угла громадной столовой, где был накрыт отдельный стол, раздалось вдруг стройное красивое пенье: это был лидертафель [29] Пермского музыкального кружка, основанного Иваном Павловичем. Эти квартеты a capella [30] были прямо удивительны. Голоса чудесные, исполнение прекрасное. Музыка окончательно подняла настроение до такой степени, что гости вышли от нас только в семь часов утра — и на крыльце очутились в сугробах снега. Никто не подозревал, что летний день превратился в зимнюю ночь, и все обомлели, увидав при утреннем свете белые улицы, крыши и деревья.

Накануне дня приезда мамаши в Осу мы выехали туда же всей семьей из Перми. Надежда Эдуардовна была с нами. Наш добрый великан Мишенька снабдил ее большим букетом, который она должна была по его совету поднести мамаше. Надежда Эдуардовна страш-

но трусила и все время повторяла: «А вдруг Анна Ивановна что-нибудь такое скажет».

Разумеется, ничего «такого» мамаша не сказала, и встреча обошлась благополучно. Только увидав флаги, которыми управляющий Осинским складом украсил дом и двор, она насмешливо пожала плечами. С нею вместе приехала Мариша с детьми. Они уехали в Бикбарду на следующее утро, а мы через день, проводив жениха, невесту и Мишеньку в Пермь, откуда они должны были вернуться уже прямо к свадьбе.

Я много путешествовала на лошадях с самого детства, но проезд между Осой и Бикбардой был тем не менее для меня совершенной новостью. В громадный казанский тарантас приходилось лезть чуть ли не подставляя лестницу. Я по крайней мере забралась в него прямо с балкончика, а там внутри устроено не сиденье, а лежанье с помощью подушек и тюфяков, покрытых коврами. На козлах татарин в тиковом халате; лошадей маленьких и с виду невзрачных держат, однако, несколько человек под уздцы и опускают только, когда ямщик гикнет. Тогда они с места пускаются вскачь и летят так до следующей станции с горы на гору, по мостам, по кочкам без оглядки. Разве только перед особенно крутым спуском татарин предупредит седоков, крикнув: «Держи рылá». В первый мой приезд дорога была исключительно плоха все девяносто семь верст, а особенно в дягилевском лесу, которым приходилось ехать верст пять. Притащились мы в Бикбарду поздно, в темноту, в слякоть и под проливным дождем, так что я ничего не видала; только один балкон, воспеванием которого я начала эту запись, сразу поразил меня. Папаша и мамаша встретили нас в зале старого дома и тотчас же повели в другой дом, где было приготовлено нам помещение. Для этого надо было пройти через балкон, и как я ни была растрясена путешествием, все-таки, войдя на него, я с изумлением встала, оглядываясь и спрашивая себя, почему он мне так знаком и где я его раньше видела. Потом уже я вспомнила, что он жил в моем воображении всю жизнь, что я постоянно изображала его в своих детских рисунках и воспевала в отроческих французских повестях, которыми любила угощать своих терпеливых сестер.

Со следующего же дня мамаша принялась сама знакомить меня с Бикбардой. Лучший вид на нее считался «у колокольчика». Так назывался выступ над крутым берегом пруда, где стоял столб с колоколом и будка для сторожа. В семье была заведена привычка приходить сюда каждый вечер посидеть на скамейке, полюбоваться с высоты на окрестную даль. Впереди расстилался обрамленный лесом широкий пруд, более похожий по величине на озеро. Он уходил направо и терялся из виду в изгибах, а налево замыкался плотиной, у которой стояли завод и мельница. На противуположном низком берегу пруда разбросаны были разные строенья: сушилки, солодовни, склады, конный двор, казармы для рабочих. Между ними пролегала, то прячась, то опять выглядывая, дорога, ведущая от въезда в завод на плотину. В конце плотины она сразу бросалась в гору, разделив-

шись у подножия ее на два подъема: один, крутой, — к колокольчику, другой, более пологий, — к господскому дому.

Старый дом, как его называли в отличие от других господских домов, построенных позже, находился недалеко от колокольчика вдоль того же крутого берега и отделялся от края обрыва дорогой, обсаженной липами. Он был одноэтажный, длинный, серенький с зеленой крышей, белыми маркизами и живой изгородью из акации под окнами.

На том же месте стояли прежде два маленьких домика, разделенных друг от друга воротами. Один принадлежал Марье Ивановне Дягилевой, другой Авдотье Ивановне Суховой — двум сестрам, рожденным Жмаевым, то есть матери и тетке Павла Дмитриевича, от которых он и унаследовал Бикбарду. У папаши висел старый рисунок Бикбарды в конце XVIII столетия, на котором эти два наивные домика изображены на голом пространстве площади в недалеком расстоянии от церкви. Они так и простояли до 1851 года, но тогда ворота были сняты, на их месте появилась большая комната, соединившая домики сестер в один корпус; к заднему фасаду примкнула обширная пристройка, и образовался большой удобный дом, в котором многочисленное их потомство отлично поместилось, когда приехало в первый раз в свое родовое гнездо.

Быстро совершились и другие перемены. Базарная площадь между домом и церковью превратилась в сад, а базар был перенесен за ограду сада на еще большего размера площадь, которую Павел Дмитриевич подарил церкви, предварительно выстроив посередине нее гостиный двор.

Вероятно, выбор места для господского дома объясняется желанием Павла Дмитриевича не менять выбора, сделанного его дедом Иваном Романовичем Жмаевым, и потому у нас не было такого чудного вида на пруд, как, например, из дома управляющего, выстроенного папашей в нескольких шагах от колокольчика. Но все-таки с нашей ротонды тоже открывалась прелестная картина, о которой я говорила уже в предисловии.

Мамаша с очевидным наслаждением показывала и рассказывала мне, новому лицу, все, что было ими здесь создано за двадцать с небольшим лет, и вместе с тем все время хлопотала о приготовлениях к свадьбе.

Был призван Дмитрий Иванович Юхнев, столяр, которому поручили устройство помещения для молодых. В несколько дней была готова очаровательная большая спальня с окнами в сад, вся заново отлакированная и заново обитая глянцевитым ситцем с бледно-лиловыми полосками и бутончиками роз по белому полю. Рядом были общая для них и нас столовая, гостиная и широкий балкон, на который выходили комнаты, отведенные нам. Для Паренсовых были приготовлены комнаты в этом же доме, но в отдельном крыле. Маришу с детьми поместили в старом доме около мамаши. Дом Ивана Павловича предназначался для приема невесты, ее родителей и посаженных — Семевских. Тут же приготовлена была комната для Вла-

димира Философова, который ехал в Сибирь по делам службы и должен был завернуть с дороги в Бикбарду. Шаферам и молодежи отвели большое помещение в четвертом доме под названием «над садовником». Одним словом, приходилось устроить сорок человек с лишним, но места было так много, все было так обширно и обильно, что когда гости съехались, незаметно было ни тесноты, ни суматохи, не ощущалось ни малейшего нарушения полного удобства каждого.

В этом и заключалась главная роскошь Бикбарды. В ней не было ни редкой мебели, ни картин, ни драгоценных фарфоров, ни элегантных экипажей, но везде рядом с простором было удобно, уютно, симпатично. Я смеялась теперь, вспоминая, как я спрашивала мамашу в ответ на приглашение ее в Бикбарду, не стесним ли мы прибавкой целой семьи к ожидаемым приездам.

Большой гордостью мамаши был сад. Красиво распланированный, он начинался у южного фасада дома, закрывая его всего тенистыми деревьями, и спускался с горы уступами. Содержался он по-царски, что часто заставляло кряхтеть папашу. Аллеи, усыпанные песком, сходились посереди сада у белой каменной беседки с колоннами, с готическими окнами. От нее широкая лестница спускалась к первому уступу, как будто в следующий этаж сада. Еще ниже в уголку приткнулась другая заросшая хмелем беседочка, из которой виднелась дорога на солодовские луга, плотинка через другой маленький прудик и по ту сторону него подымающийся в гору сосняк — любимая прогулка детей, потому что в нем росло видимо-невидимо земляники.

В саду было еще одно место, которое многим из нас, наверное, особенно пямятно и дорого. Под группою берез стояла скамеечка прямо против восточной стены церкви с большой фреской «Моления о чаше». Гулянье взрослых и беготня детей как-то инстинктивно, может быть, сосредоточивались в других аллеях, и тут всегда чувствовалась близость храма. Он был небольшой (хотя папаша и увеличил его на два крыла), из типа сельских церквей, с остроконечной колокольней над папертью и с круглым куполом посередине. Мне особенно нравилась эта старенькая, но с любовью сохраненная церковь, вошедшая в сад, как в жизнь людей. Такой всегда казалась она мне и внутри со своими потертыми чугунными плитами, доступной, жизненной, интимной, полной святости не только праздничных, но и будничных дней.

Ни одна молодая девушка в мечтаниях своих о свадьбе не могла бы пожелать себе более поэтичного венчанья, чем то, которое выпало на долю Надежды Эдуардовны в этой прелестной церкви.

Весенний день... Праздник Сошествия Духа Святаго... Сад, нежная листва деревьев, цветы, птицы и невеста, вся белая... Идет к венцу с отцом, матерью и друзьями. Легкая фата развевается, длинный шелковый шлейф платья сметает цветы, которые бросают ей под ноги дети, бегущие впереди на пути ее в церковь. В открытые двери она видит сияние свечей и слышит голоса, призывающие ее: «Гряди, голубица». Она видит уже и того, кто ожидает ее там, —

молодого, красивого, чернокудрого жениха, — видит кругом него приветливо улыбающуюся ее приближенью семью, имя которой она сейчас примет, и наконец, войдя, видит, как навстречу к ней спускается с амвона старец в золотой ризе. Его согбенная небольшая фигура, рука на груди и весь облик поражают сходством с изображениями святого Серафима Саровского.[31] Этот благостный старичок, почитаемый всей округой, отец Николай, совершает над ними таинство брака, и когда он водружает над их склоненными головами царские венцы, из купола врывается луч солнца, который озаряет их ослепительным светом.

Свадьба продолжает быть живописной и после венчанья. Из церкви гости — как приезжие, так и местные (духовенство и все служащие завода) — направляются на балкон, где накрыт стол для свадебного обеда. Народ же, наполнявший церковь праздничной, яркой толпой, бросается к ротонде, которую обступает снаружи, а на нее выходит Павел Дмитриевич с молодыми. Ему подают мешок с серебром, которое он бросает пригоршнями в толпу. Молодые, вслед за ним, исполняют тоже этот обычай старины. Крик и давка, с которыми кидаются за летящими монетами, схватки бросающихся оземь ловить их напоминают своим неистовством даже дикую старину. Для довершенья торжества стреляют из древней пушки, которая имелась в Бикбардинском инвентаре и которая прыгала и перевертывалась при отдаче.

Вспоминая, как мы провели последующие за свадьбой полтора месяца, я теперь с удивлением спрашиваю себя, как мы ухитрились напихать в этот короткий промежуток времени все катанья, гулянья, пикники и спектакли, которые мы устраивали. Веселье кипело у нас с утра до вечера и позднее даже, так как вся молодая часть семьи собиралась контрабандой поужинать в нашем доме, когда в старом доме все уже улягутся. Подавали что-нибудь холодное закусить, и тут-то поднимался главный смех и говор, как у детей, которые не могут угомониться, когда их посылают спать. Да и дурили и балаганили чисто по-детски.

Каждый день под конец обеда мы видели, сидя еще за столом, как подавали во двор экипажи — все большие линейки, запряженные тройками. Мамаша всегда первая выходила садиться в свою линейку и ехала впереди, указывая путь другим экипажам. Таким образом мы исколесили все окрестности: леса, высоты, с которых открывались виды прямо необъятные, громадные села, наполовину христианские, наполовину языческие, татарские деревни с мечетями. Завтракали на Зотинской мельнице, пили чай в Солодовских лугах, на Ключиках* и пировали 29 июня [32] на горе Парнас.

Мода на мифологию у наших дедов была, видно, сильна, что не миновала даже и медвежьих углов, по которым относительно еще недавно проходили победоносные шайки Пугачева. Возвышенность, названная в стиле ампир Парнасом, находилась в полутора верстах

---

* Самая дальняя граница Бикбардинского именья в девяти верстах от завода.

от завода, в начале Бикбардинского пруда или, вернее, в истоках трех речек, из которых он образовался. Дорога на Парнас шла высоким берегом пруда, все время незаметно подымаясь до более крутого холма, который вел широкой лужайкой на самую вершину горы. Там, на зеленой площадке, обрамленной лесом, стояли вкопанные скамьи, столы и даже деревянная палатка. На Парнас любили приезжать, провести часок-другой и без всяких пикников. Только осенью избегали туда заглядывать, потому что там частенько ночевали беглые из Сибири, а иногда забредали и «Мишеньки». С противуположной от лужайки стороны площадка обрывалась тоже поросшей лесом отвесной стенкой. В ней была устроена деревянная лесенка, которая заманчиво спускалась под темным сводом деревьев к студеному ключу у подножия горы. Ключ этот был героем вечера в день именин Поленьки и Пьера Паренсова.

Обыкновенно Павел Дмитриевич не участвовал в наших катаньях, но 29-го июня он сделал исключение в честь именинников и поехал со всей семьей на Парнас. Там уже бегали и суетились люди около столов, покрытых белыми скатертями, заставленными посудой и угощеньями. Когда шумная, веселая толпа разместилась кругом шипящих самоваров и немного поутихла, Павел Дмитриевич обратился к Пьеру с вопросом, бывал ли он уже на Парнасе и знает ли ключ у его подножья. Петр Дмитриевич отвечал утвердительно. «А знаете ли вы, что в этом ключе водятся стерляди?» Петр Дмитриевич об этом не слыхал. «Как же, как же, вот Александр Михайлович вам скажет». Александр Михайлович Сорокин, управляющий Бикбарды, подтвердил слова Павла Дмитриевича и предложил удостовериться. «Пойдемте, пойдемте, покажите нам ваших стерлядей», — быстро вставая с места, говорит Петр Дмитриевич.

За ним вскочили и другие. Спустившись к ключу по крутой лесенке, Павел Дмитриевич посоветовал именинникам попробовать свое счастье — опустить руку в воду: не поймается ли им стерлядь?.. Недоумевая и смеясь, они засучивают рукава, суют руку в холодный ручеек, и что же?.. Каждый вытаскивает из него не рыбку за хвостик, а бутылочку шампанского за горлышко. Видно, что подарок пришелся именинникам по вкусу, так как они уже без малейшего колебания поспешно опускают вторично руки в ключ при общем взрыве смеха. Удачна ли ловля? Да, да... Оба вытаскивают по второй бутылке... Не рискнуть ли и в третий? Рискуют... И опять удачно. Несут бережно добычу наверх... Пробки летят... Звенят стаканы... Искрится вино... Папаша сам не пьет, но вся затея эта его веселит. Я опять вижу, как суровые морщины (такие рельефные на бритом лице) смягчаются и как в холодных стальных глазах сверкает добрый огонек.

Эти мимолетные проблески оживленья на лице, обыкновенно застывшем в сумрачном выражении, сбивали меня с толку. Надо было видеть, например, как он смеялся по-детски, с самозабвением, глядя на «Беду от нежного сердца», разыгранную нами. Но я заметила

тоже, что вслед за таким «увлечением» наступал всегда период усиленной холодности и сдержанности по отношению ко всей семье.

Мысль устроить спектакль подал нам большой пустой сарай, примыкавший к дому, где мы помещались. Бежим к мамаше просить позволенья. Мамаша говорит: «Позвать сюда плотника Бориса».

Позвали Бориса. Приходит он с саженью в руках (без нее я никогда не видала его), в валенках и в приплюснутой блином фуражке на курчавой голове. «Так и так, Борис, строй нам театр».

И Борис сооружает нам такую сцену, какой мы в Петербурге и во сне не видали. Все крепко, прочно, как будто на сто лет поставлено, высоко, широко... Суфлерская будка такая, что век бы в ней сидел. И все это делалось живо, спокойно, незаметно.

В день представленья сарай наполнился битком народом, и у входа появилась пожарная труба к восторгу детей. Спектакль начался живыми картинами из сказок Перро при участии детей. Первая картина заимствована была из заглавного листа иллюстраций Дорэ:[33] бабушка сидит в саду с книгой и читает сказки окружающим ее внучатам. Мамаша согласилась надеть чепец с большой рюшкой и сесть на сцену, где устроен был сад из живых растений и цветов и где все наличные внуки разместились кругом ее кресла. В одной из следующих картин наш Сережа изображал «Красную шапочку», а в другой — «Мальчика с пальчик». Первая сошла благополучно, но во второй случилось происшествие. Кокушка в роли людоеда, лежавший на репетициях без костюма и грима, не производил на Сережу ни малейшего впечатления, но когда под деревом очутился вместо дяди Коки настоящий людоед в красном кафтане и с черной бородой, он подумал-подумал и убежал со сцены.

По требованию публики состоялось и второе представление, начавшееся тоже с живых картин. В конце же, вместо водевиля, мы имели дерзость спеть сцену из «Жизни за царя» у монастырских ворот, выстроенных Борисом на славу. Образовался большой хор из семьи, церковных певчих и даже с участием отца диакона (великолепного баса), спрятанного от публики за елками. Партию Вани исполняла я с неменьшим волнением, чем в ниццском концерте. Мне никогда не приходилось еще петь в костюме, с игрой. Это еще удваивало волнение, и у меня действительно дрожали ноги от страха, когда я произносила слова Вани: «Замерло сердце, ноги дрожат».

К 8 июля [34] мы все перекочевали в Николаевский завод. Он отстоял в тридцати верстах от Бикбардинского в противоположную сторону от Осы. Именье это Павел Дмитриевич приобрел уже сам, когда переселился в Пермь после смерти своего опекуна. Семья никогда не жила в нем, но установился обычай ездить туда на праздник Казанской Божьей Матери и проводить там с неделю или две.

Мамаша припасла мне сюрприз въезда в Николаевский завод. Она нарочно не предупреждала меня, что путешествие наше близится к концу, а мы ехали по такому густому бору, что всякое жилье казалось еще очень далеко... Вдруг поворот, и перед нами распахнулось широчайшее открытое пространство, опять с необъятным гори-

зонтом. На лугу возвышалась большая каменная церковь — точный снимок Благовещенского собора в Петербурге. Против нее дома с садами, дальше завод со строеньями, извилистая речка Танып, липовые рощи, а в самой дали — поля и разбросанные между ними села. Появленье этой веселой, полной жизни картины после дикости темного леса было так неожиданно, что я ахнула. Этого мамаше и хотелось...

Напротив церкви стояли в недалеком расстоянии друг от друга два совершенно одинаковых двухэтажных каменных дома. Первый принадлежал духовенству (дар Павла Дмитриевича), а второй, господский, принял всех нас в свои широкие объятья. И в нем, несмотря на то, что тут бывали только наездом, оказалась полная чаша. Так же, как и в Бикбарде, никаких драгоценностей, шелков и бархатов — везде кретоны, ситцы, паркетные полы, светлые, как зеркала, обилие помещений, снабженных всем необходимым для полного удобства, обилие света и блистающая чистота, которая была коньком мамаши.

Мы провели в Николаевском несколько очаровательных дней. Вначале храмовой праздник старой, но бережно сохраненной деревянной церкви, помещавшейся в чаще несколько запущенного сада. Потом отбыли прием. После обедни духовенство и представители завода званы были на «пирог», а после этого мы не выходили из семейного круга и наслаждались жизнью.

Одно из самых больших удовольствий в Николаевском было купанье, благодаря необыкновенной чистоте и свежести быстрой реки Танып. Летом она была неширока, но весной разливалась сильно, и по ней сплавлялись большие баржи. По вечерам мы большею частью гуляли все вместе, и помню, что, перейдя какой-то мостик у завода, всегда говорили, что мы перешли из Пермской губернии в Уфимскую.

По возвращении в Бикбарду для приезжих настала пора собираться домой. Петербуржцы и пермяки расставались друг с другом с сожалением после дружно проведенного вместе лета. Ни разу во все время не было ни мелких дрязг, ни ссор, ни даже недоразумений между братьями и сестрами. Вся молодая часть семьи держалась вместе, в тесном единении и в некотором отдалении от родителей. В отношениях детей к отцу и матери не было ни близости, ни откровенности, но сохранялся тон старозаветной почтительности меньших к старшим и важности старших к меньшим. Юленька одна отчасти переступала эти границы в обращении с матерью и говорила ей иногда даже «ты». Я всегда любовалась своим мужем и его братьями, старшему из которых было под сорок лет, когда они, все четверо, один другого выше и красивее, подходили после обеда к ручке отца, исполняя принятую с детства привычку. Это и тридцать пять лет тому назад считалось уже большою редкостью, и многим казалось даже странным.

Проводив нас, мамаша оставалась еще всю осень с пермяками, даже переехала с ними из Бикбарды в Пермь.

«Я здесь совсем захлопоталась, — писала она мне в сентябре, — *обстоятельство, повторяющееся ежегодно по моем приезде в Пермь. Нельзя себе представить более прозаической жизни. Вся поглощена приведением в порядок дома. Покупаны и шиты полотенцы. Водворяю по мере возможности чистоту <...>, вывожу тараканов. Но, кажется, по отъезде моем все опять придет в первобытное состояние. Таков закон Перми! <...>*

Полагаю, что теперь вы уже все собрались, и признаться, очень уж захотелось к вам».[35]

4

Люблю тебя, Петра творение![1]

На возвратном пути из Бикбарды мы заезжали к дяде моему, Крониду Александровичу Панаеву,[2] в его имение у ст. Лыкошино (по Николаевской ж. д.).

Отсюда я писала в Париж матери и сестре следующее:

Михайловское.
19 июля 1876 г.

Голубушка мама и дорогая Тата!

Доехали мы совершенно благополучно до Михайловского. Прибыли мы сюда пятнадцатого утром. Я была очень разочарована, услыхав, что папа уже здесь, пробыл четыре дня и уехал, потому что торопится вернуться к Вам. Мне было очень жаль подумать, что в Петербурге я его не застану. Вдруг 16 утром, в то время как мы сидим за чаем, входит папа. Оказывается, что дядя Кроня ему телеграфировал, и он, милый, прилетел. Я страшно рада была видеть его, и мы провели с ним два дня. Он хотел уехать в тот же день, но я упросила его остаться. Прости меня, дорогая Мама, но мне хотелось поговорить с ним вдоволь...

Третьего дня вечером мы его проводили, а вчера в семь часов утра вдвоем с Поленькой отправились в монастырь. Вчера было*

---

* Иверский монастырь на Валдайском озере.[3] Отец мой построил в монастырском саду часовню над могилой своей матери, и тут похоронена и Лина. Впоследствии, когда мы жили в Перми, Павел Дмитриевич рассказывал мне видение, которое он имел на пути к этому монастырю. Он вез туда новую раку на мощи св. Якова Боровицкого. Тяжелая карета еле двигалась по песчаной дороге. При каком-то подъеме, где лошади отказывались брать, Павел Дмитриевич увидал у дверцы человека, который, держась рукой за отверстие спущенного стекла, подталкивал карету. Когда она наконец выбралась на пригорок, человек исчез, а Павел Дмитриевич опомнился и спросил, кто же это был? Выглянул в окно... На дороге никого не видно... Спросил ехавших сзади других паломников. Никто из них не подходил к карете и никого на дороге не видал. Тогда Павла Дмитриевича осенила мысль, что помогавший был сам св. Яков.

восемнадцатое. Нашей Лине был бы двадцать один год. Я так благодарна, что Господь помог мне съездить туда. Так как мне ужасно хотелось этого, я все думала, что непременно что-нибудь да помешает именно в этот день побывать в монастыре. Однако все отлично устроилось. Я повесила там образ архангела Серафима. Ты помнишь того ангела, которого пишут всегда с кадилом и свечой? Помнишь, Тата, она очень любила его и, когда была маленькой, говорила всегда, что хотела бы быть такой? Я случайно напала на этот образ на вокзале в Нижнем Новгороде. Там продается живопись каких-то монахинь. Одна из них, продавая мне образ, сказала: «Вы будете помнить в каком монастыре это написано». Я отвечала, что не знаю этого монастыря. «Серафимо-Дивеевский, основанный полковницей Мельгуновой около ста лет тому назад».[4] Я купила жизнеописание этой полковницы.[5] Не твоя ли она прабабка какая-нибудь, милая маменька?...

При упомянутом в этом письме свидании с отцом у нас произошел разговор, имевший впоследствии большое влияние на наше благосостояние. Отец сообщил мне, что намерение его издавать в Париже газету, по всем вероятиям, осуществится и, так как в основе его предприятия ляжет полная свобода слова, то он предвидит неудовольствие нашего правительства и даже возможность конфискации его имущества в России. Самая ценная недвижимая собственность эта заключалась тогда в месте у Дворцового моста и в начатой на этом месте постройке дома. Постройка была остановлена вследствие бесконечных запретов и препятствий, которые сыпались на отца. Вот это-то место с начатой постройкой он находил теперь нужным перевести на имя сестры и мое, тем более что и ее и мое приданое вложены были в покупку места.

Отец, однако, уехал, не осуществив своего желания, потому что очень торопился в Париж, но оставил дяде Кроне доверенность на совершение дарственной на имя дочерей.

Некоторое время спустя он писал мне следующее:

La celle St Cloud Seine et Oise
*Maison de Ressensé** [6]

15 августа 1876 г.

Родимая моя Леля, уведомляю тебя, что вопрос об издании здесь журнала, французского, под главной редакцией Louis Blanc,[7] решен окончательно. Со стороны сего господина, а равно и прочих лиц, сделаны были мне такие серьезные уступки, что я не нашел не только повода отказаться от этого дела, но, напротив, вижу в нем теперь большие шансы на успех и вместе с тем возможность

* Дача, которую отец нанял под Парижем в соседстве с дачей Тургенева, где жила вся семья Виардо.

свободно выражать идеи, выработанные мною в течение всей моей жизни. Журнал начнет появляться с первых чисел будущего октября. Я беру на себя, между прочим, обязанность организовать корреспонденцию из Петербурга. По этому случаю я обращаюсь к тебе и прошу тебя отнестись к этому делу серьезно. Мне пришло в голову, что корреспонденция эта может доставляться двумя лицами: 1-е — тобой, 2-е — Матвей Авельевичем Гамазовым.*[8]

В чем должна состоять твоя корреспонденция — я тебя учить не стану. Убежден, что найдешься писать интересные письма, сообщая о петербургской жизни и вообще о русской жизни все, что тебе покажется достойным внимания и интереса. Можешь примешивать и политические взгляды, и разные слухи, в свете бродящие. Придется, конечно, кое-куда и ездить, чтобы быть au courant[9] *всего, что творится в Питере. Подобного же рода письма мог бы посылать и Матвей Авельевич. Он может быть в курсе иностранной политики, а это весьма важно. В настоящую минуту я ему не пишу, а поручаю тебе серьезно переговорить с ним от моего имени. Во-первых, он должен знать, что будет иметь дело с журналом, где мое слово будет веско, во-вторых, что это будет журнал серьезный и организованный так, как, быть может, не организовывался еще здесь ни один журнал. Кроме того, надо, чтобы он не упускал из виду, что главный редактор — Louis Blanc, который играет теперь в высшей степени важную политическую роль и около которого группируется вся передовая интеллигенция Франции. На все это я упираю, чтобы расположить Матвея к принятию на себя звания корреспондента.*

Что касается до того, часто ли нужна будет корреспонденция и какое будет назначено вознаграждение, то об этом напишу после. Эти детали еще не обсуждены, и я сообщу об них своевременно.

*Мне было бы очень горько, если бы ты отказалась и очень досадно, если бы отказался Матвей. Переговори обо всем с Ипполитом*** и Матвей Степановичем****, дабы они повлияли на Матвея Авельевича.*

Затем прошу тебя не замедлить ответом и сообщить окончательное решение Ипполиту, ибо я пишу об этом деле и ему, и в случае вашего отказа прошу его позаботиться о приискании корреспондента. Написавши все предшествующее, мне пришло в голову еще одно лицо, которое, если не постоянно, то иногда могло бы сообщать разные разности относительно мира, занимающегося политикой. Это — Анна Павловна Философова. Но при этом весьма важно то обстоятельство, чтобы корреспонденты строго сохраняли инкогнито, по крайней мере, до поры до времени. Надо, чтобы

---

* Двоюродный брат отца, директор Института восточных языков и замечательный лингвист. Мать его, Екатерина Матвеевна, была родная сестра матери моего отца, Елены Матвеевны (рожд. Лалаева).

** Брат моего отца, с которым он был ближе всех.[10]

*** Лалаев — двоюродный брат моего отца (артиллерист); сын брата Елены Матвеевны Панаевой — Степана Матвеевича.

в той среде, откуда идут сведения, никто и не догадывался о личности корреспондента. На сегодняшний день довольно. Буду скоро писать тебе. Обнимаю тебя, Поленьку, детей.

Твой папа.

Ни дядя Ипполит, ни дядя Матвей Гамазов, ни я не сочувствовали парижскому журналу главным образом из недоверия к лицам, с которыми сошелся отец и о которых доносились отовсюду самые невыгодные слухи. Положение наше было незавидное. Согласиться участвовать в журнале мы не хотели, отказом же боялись огорчить отца. Душевный недуг, которым он страдал в продолжение пяти лет, создал у нас привычку избегать всего, что могло бы волновать отца. Привычка эта сохранилась и когда он выздоровел. Мы все часто мучительно искали выхода, когда считали невозможным подчиниться его воле, которая долгие годы была для многих из нас законом — не от страха, а от любви к нему. Дядя Ипполит, например, страшно мучился возложенной на него миссией воздействовать на Матвея Авельевича и на меня. Он так обожал брата, что когда в 1868 г. отец мой заболел, он и сам впал в меланхолию. Поправился он только, когда и любимый брат его «проснулся».

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь к слову несколько строк, принадлежавших перу дяди Ипполита.*

Строки эти касаются моего рассказа, может быть, только косвенно, но они послужат ясным указанием на то, что отказ дяди Ипполита исполнить желание отца не исходил от недостатка любви к нему или несочувствия к его идеям.

Валерьяну

Горячею любовью к благу человека
Ты с самых ранних лет был болен, милый друг.
Хотел ты быть не праздным сыном века,
Оставить резкий след там, где провел свой плуг.

От мыслей не искал, как люди все, покоя:
Ты звал их, ими жил и с ними отдыхал,
Во имя истины, с отважностью героя,
Забыв свой интерес, в бой с сильным выступал.

Чтоб выдвинуть на свет то, что в тени стояло,
Чтобы открыть труду спокойный, ровный путь,
Где б человечество свободнее дышало,
Где б сильный слабого не мог, как прежде, гнуть.

---

* Перу, не чуждому литературе. Ипполит Панаев — автор романа «Бедная девушка», написанного им в ранней молодости и имевшего тогда успех. Но он более известен своими трудами зрелых лет — популяризацией Канта, Гегеля, Фихте и т. п. среди русской публики.

Но, думая о всех, ты помнил и своих,
Для блага их немало планов строил
И все заботился, чтобы устроить их —
Устроил нас — зато себя расстроил.

Под бременем труда, ты изнемог, заснул,
И все кругом тебя притихло — задремало.
Тут без тебя недуг меня согнул,
И потянулась жизнь томительно и вяло.

Но свежий утра свет сгоняет тьму ночную,
Знакомые ясней становятся черты,
Улыбку узнаю, вновь слышу речь родную.
...Проснулся ты, проснулся ты!...

Ипполит Панаев.[11]

Павловск
1879 г.

Я отвечала отцу, мотивируя свой отказ разными доводами. Писала я откровенно и искренно, но должна сказать, что не все договорила, не все причины отказа высказала. Умолчала главным образом о той, которая не могла быть принятой отцом, которая больше всего возбудила бы его неудовольствие, а именно, о нежелании мужа моего, чтобы я участвовала в парижском журнале анонимным корреспондентом.

Нижеследующее письмо Тургенева тоже касается этого дела.*

Bougival
Les Frênes
Chalet
Понедельник утром.

Любезнейший Валерьян Александрович,

Заранее прошу Вашего извинения в небольшой неприятности, которую принужден Вам причинить. Я не могу прийти сегодня к Вам обедать — и с полной откровенностью скажу Вам почему.

По моему твердому убеждению, журнал, затеваемый Л. Бланом, не имеет никаких шансов успеха, и Вы потеряете — до последнего сантима — все деньги, которые дадите ему в ссуду. В честности и в таланте Л. Блана я сомневаюсь менее, чем кто бы то ни было; я уверен, что он сам твердо надеется на успех своего предприятия, но он не журналист — никогда ничего подобного ему не удавалось — да и, наконец, все места заняты: «République française», «Rappel» и «Droit de l'homme» представляют все оттенки республикански-социального направления, сколько дру-

* Оно было напечатано в воспоминаниях моего отца в «Русской старине» 1901 г., а подлинник я нашла в его бумагах после его смерти. Этот автограф И. С. Тургенева пожертвован мною 1914-го г. в Белевский Музей[12] по просьбе Бориса Александровича Михайловского.

гих журналов было принято, чтобы стать на их место — и все перелопались, как мыльные пузыри. Та же участь ожидает несомненно и журнал Л. Блана.

Имея такого рода убеждение, какое было бы мое положение в отношении его сегодня? Оспаривать его — невозможно и неловко в Вашем присутствии; соглашаться с ним — запрещала бы совесть. Я предпочитаю сделать маленькую невежливость и не сдержать данного слова в надежде, что Вы извините меня, вникнув в изложенные мною Вам причины моего поступка.

Последнее мое Вам увещанье: если ничего еще не решено окончательно, откажитесь — или по крайней мере уменьшите сумму; она во всяком случае п р о п а л а.

Примите уверение в искреннем моем уважении и сочувствии.

Ив. Тургенев.

На обороте:

P. S. Г-н Виардо просит также извинить своего сына: он слишком еще неопытен и молод, чтобы присутствовать на политическом обеде.

Не прошло и году, как предсказание Тургенева сбылось, и даже с лихвою. Не только отец мой потерял «до последнего сантима» все деньги, внесенные им в журнал, но проиграл и процесс, который затеял против Л. Блана, и газета «L'homme libre» [13] действительно «лопнула, как мыльный пузырь».*

Но осенью 1876 г., о которой идет теперь речь, этот мыльный пузырь подымался еще только на воздух, весело переливаясь всеми красками радуги. Отец был оживлен и весел, каким его давно не видали. Он погрузился в деятельность, которая, казалось, осуществила мечту всей его жизни.

Мать и сестра выбрали этот благоприятный момент, чтобы отпроситься у него погостить в Петербург, по которому они за год отсутствия обе соскучились. Они пробыли с нами два-три месяца, и дядя Кронид воспользовался их присутствием, чтобы исполнить поручение отца, то есть совершить дарственную на имя дочерей места с неоконченной постройкой на Адмиралтейской набережной.

Несмотря на то, что имущество это было закреплено за нами, зная, что это сделано с целью избежать конфискации, сестра и я, обе, отказались от своих прав на него, когда отец вернулся в Россию и пожелал продолжать постройку известного в Петербурге «Панаевского театра». Когда здание было окончено и было уже заарендовано за 90 000 р. в год, эксплуатация его была вдруг запрещена вследствие того, что великий князь Михаил Михайлович выстроил себе рядом дворец, а по закону общественные здания не могут помещаться в такой близости от дворцов. Отец, таким образом, разорился.

---

* История эта подробно описана в «Воспоминаниях» отца, которые печатались в «Русской старине» в 1901 г.[14]

Замечательно то, что великий князь никогда сам не жил в этом дворце, так как его женитьба за границей на простой смертной как раз совпала с этим временем, и ему было воспрещено вернуться в Россию.[15] Дворец его был продан, но было уже поздно для отца. Дом его, стоивший около миллиона, ушел за долг в 300 000 р. в 1890 г.

Последующие два с половиной года (с этой осени 1876 г. до весны 1879 г.) были проведены особенно дружно петербургским кругом семьи Дягилевых. Он сплотился теснее, как будто на прощание, хотя члены его не подозревали, что им скоро придется разлететься в разные стороны.

В прошлом (1911 г.) Мариша, Юленька, Маля Литке [16] и я, собравшись в Петергофе, вспоминали этот период нашего дружеского общения и при этом чувствовали, как теплота его лучей все еще согревала нас, несмотря на протекшие многие года и на длинные промежутки разлуки. Маля высказала мысль, которая не приходила мне раньше в голову. Она считает, что отношения, связавшие нас тогда, были совершенно исключительными и что исключительность их состояла в их чистоте.

«Среди нас, — говорит она, — не было места ни ревности, ни зависти. Все мы были молоды — и мужья, и жены, но между нами не промелькнуло и тени флирта. Мы все искренне восхищались друг другом», что, прибавлю я, очень украсило нам эти счастливые годы... Счастливые не отсутствием невзгод (в них тоже были и заботы, и горе), а дружбой и единомыслием в связи с молодостью.

Первый год прошел особенно весело и интересно. Приезд моей сестры из Парижа подал повод к постоянным собраниям, в которых, разумеется, царила она. Ее давно не слыхали в Петербурге и не могли достаточно наслушаться. После ее отъезда собрания наши не прекратились. Царствовать вместо нее осталась сама музыка, и мы увлеклись новыми течениями в ее области. Нам захотелось применить наши наличные силы к исполнению новых вещей, и мы с восторгом принялись осуществлять эту мысль.

Вместо того чтобы «музицировать» случайно и беспрограммно, как прежде, решено было:

1. Собираться в назначенные дни.
2. Заняться исполнением вообще серьезных вещей и изучением новых.
3. Посвятить занятия специально вокальной части, так как все музыкальные силы, которыми мы располагали, принадлежали к ней.
4. Изъять из наших собраний салонное отношение к музыке и «итальянщину».

Последнее было требованием Поленьки и Саши Гирс,[17] которые оказались самыми страстными и боевыми новаторами между нами.

Поленька принялся собирать хор, приобретать ноты, отдавать в переписку партии... Все это при его энергии спорилось, и скоро открылись наши «четверги».

Собиралось от двадцати пяти до тридцати человек у нас на Шпалерной раз в две недели. Ретивые устроители собраний взяли торжественный обет со всех пожелавших участвовать в них, во-первых, не опаздывать на спевки, во-вторых, не изменять им без особо уважительных причин, о которых требовалось извещать заблаговременно.

Такие строгости, принятые во избежание небрежного отношения к делу, обычной помехе всех любительских затей, отвадили от нашей <компании>, как мне помнится, только одного певца.* Остальные же заразились нашим увлечением и старательно исполняли данное обещание.

Некоторые даже изумляли своей аккуратностью. Например, один баритон, очень преданный кружку, некто Кучинский, однажды известил нас, что мать и сестра его, приехавшие погостить из деревни, рассчитывают на него, чтобы сопровождать их на вечер, и просил кружок признать причину его неявки уважительной. Тем не менее, когда мы сели ужинать, в столовую вдруг вошел Кучинский во фраке, с клаком [18] и, по тогдашней моде, в перчатках сиреневого цвета, одним словом, в полном параде. Он объявил, что свез своих дам, устроил их и, хотя поздно, но все-таки явился, не желая из принципа пропустить ни одного четверга. Эта маленькая речь была произнесена, разумеется, не без расчета на эффект, но оратор не ожидал, кажется, все-таки, грома рукоплесканий и возгласов одобрения, какими был награжден за свою верность кружку. Другой участник хора, тенор, младший врач Кавалергардского полка Николай Николаевич Блейш, пропустил только один четверг и то потому, что в этот день делался женихом, о чем известил нас письменно в следующих выражениях: «Черноглазая невесточка помешала мне сегодня, в чем извиняюсь!»

К девяти часам все должны были быть в сборе, и кроме исполнителей не допускалось на вечера никого, за исключением двух лиц: дедушки Литке и мамаши Анны Ивановны. Они были единственными слушателями в продолжение всей зимы. Это решение наше было труднее всего выдержать, так как только что у нас начались «четверги», молва о наших, якобы «больших музыкальных вечерах» разнеслась по городу, и многие желали попадать на них. Приходилось объяснять направо и налево, что у нас вовсе не «большие музыкальные вечера», а самые скромные спевки, на которых присутствовать, не участвуя в них, очень скучно, так как ни разговоров, ни карт у нас при спевках не допускается.

Это-то и нравилось дедушке Литке, большому знатоку и любителю музыки. Он приезжал первый, просиживал часа полтора, выслушивая внимательно даже разучивание партий по голосам, выпивал чашку молока и уезжал домой.

Всем заинтересовавшимся нашими спевками мы обещали, что в конце сезона, когда у нас образуется целая программа, мы устроим

* Кенила — судейского.

вечер с публикой. Пришлось весной устроить их два подряд, так как для одного программа и число гостей оказались слишком велики...

По поводу разговоров, возбужденных нашими спевками, мне вспомнилась одна шутка Бураго (товарища Поленьки). Они встретились на Невском. Поленька спрашивает Бураго, почему он так долго у него не был.

— Заходил, братец! Спросил — дома господа? А человек отвечал: «Вы поете?»

— Нет.

— Играете на каком-нибудь инструменте?

— Тоже нет.

— В шею!

Несмотря, однако, на преграды, у нас оказался через несколько времени третий слушатель, самовольно переступивший их. Это был — Висенька. В один из четвергов я вдруг случайно увидала его в углу маленькой комнаты, смежной с гостиной, и была очень удивлена, когда при моем приближении к нему с приветом, он замахал на меня руками, чтобы я проходила мимо. Он не пропускал впоследствии ни одного четверга, просиживал весь вечер в том же избранном им уголку недалеко от двери в переднюю, не двигался, не разговаривал и так же незаметно исчезал, как и появлялся. Никакими силами не могли мы ни разу уговорить его поужинать с нами.

Ужин подавался в двенадцать часов и был очень простой, но так как за него садились люди, проголодавшиеся после трех часов труда, то скромному меню воздавалась большая честь. Когда мы замышляли свои вечера, то мы останавливались с большим вниманием на вопросе об исключении из них всякой роскоши. Вследствие этого за ужином не было ни закусок, ни неизбежных заливных рыб, шофруа [19] и т. д., а неизменно подавалось лишь одно блюдо, либо большой ростбиф, либо окорок ветчины с гарниром, великолепно приготовленным Дмитрием Ивановичем, знаменитым поваром-японцем офицерской артели Кавалергардского полка. Вино было только «красненькое», как называл Поленька легкое бордо, и вдоль всего стола стояли тарелочки с миндалем, изюмом, финиками и разными сухими сладостями. Вот и все! Но с каким аппетитом ели, и какое тут подымалось оживление! Воздержание от болтовни и смеха, которое соблюдалось во время занятий, сбрасывалось, как только переходили в столовую, где длинный, освещенный канделябрами стол весело манил к себе. За ним засиживались долго в несмолкаемом гуле разговоров и хохоте, но как бы долго ни сидели, вечер никогда не кончался ужином.

Некоторые разъезжались после него, а оставшееся, более интимное общество, возвращалось к фортепьяно, и тогда воцарялась полная свобода; играли, пели, что вздумается, изредка даже танцевали немного. Тут же происходили обсуждения дальнейших действий кружка. Случались на этих обсуждениях споры, вызванные большей частью нетерпимостью Поленьки и Саши Гирс. Увлекаясь новым,

они затирали многое старое, например, восставали против Глюка, говорили, что «Орфей» [20] «скучища непролазная». Полина Гирс и я ратовали за «Орфея» с жаром, но не успешно. Он так и не вошел в программу.

Вместо «Орфея» взялись за сцену клятвы из «Опричника» Чайковского. До какой степени он был тогда еще мало понятен даже в музыкальном мире, может лишний раз подтвердить случай, происшедший у нас с постановкой этой сцены.

Одна из первых наших забот при возникновении кружка была обзавестись сведущим, опытным хормейстером. Выбор остановился на Главаче,[21] который имел уже имя, но не был еще недоступной знаменитостью. Старик Ратковский, его соотечественник, устроил нам это дело, и Главач взялся руководить нашим хором. Аккомпанировать согласился пианист Климов [22] (ученик Лешетицкого [23]), теперешний директор Одесского отделения Русского музыкального общества.

Главач начал свои занятия немного свысока, слегка небрежно. После первых двух спевок он, однако, изменил тон и стал относиться к делу серьезно и усердно. Но как только ему преподнесли сцену из «Опричника», он оледенел, хотя корректно промолчал и приступил к разучиванию. Климов же с места начал путаться, сердиться и ругаться. Первая спевка прошла плачевно, на второй оба заправилы так запутались в лесу, что, наконец, Климов, ударив пятерней по клавишам, выпалил: «Тут сам черт ногу сломает» и выскочил из-за фортепиано. Тогда и Главач присоединился к нему, хладнокровно положив палочку, и подтвердил, что действительно продолжать «невозможно».

В этот четверг, после ужина, когда остались только самые близкие, состоялось экстренное совещание о том, как поступить с забастовщиками и как дальше быть с «Опричником».

Конечно, негодовали, горячились, но и посмеялись тоже. Решили не сдаваться и попросту сказать «наплевать» на приговор, произнесенный с высоты профессионального величия. Но в какой форме это сделать?... Подумали-подумали, потолковали и пришли к заключению: не вступать в препирательство с Главачем и Климовым, начать с ними разучивать что-нибудь другое («Что окажется им под силу», — язвительно объявил Саша), а самим продолжать без их ведома разучивать забракованную сцену и торжественно исполнить ее при них на публичном вечере. Саша брался вести хор и для этого изучить сам каждую ноту, обещая, что все трудности будут преодолены и что мы покажем, на что способны любители.

Когда задача эта предложена была мужскому хору (женский в этой сцене не участвует), он поклялся «иль пасть иль победить».*

И победил!

---

* Фраза из «Руслана и Людмилы» Глинки.

Саша Гирс настолько образованный и даровитый музыкант, что ему было нетрудно заменить Главача с успехом, но найти заместителя Климову оказалось посложнее.

Несравненного аккомпаниатора Свирского не было: он пропадал в Париже. Хватились мы за его приятеля Льва Евгеньевича Бразоля, который тогда был еще студентом Медико-хирургической академии. Он недурно играл, знал и понимал музыку. Сознавая, какую на него возложили ответственность, он отважно принялся зубрить и работал все время с таким рвением, что исполнил свою трудную роль как нельзя лучше.

Поленька пел партию Андрея Морозова; Иван Васильевич Матчинский (ученик Эверарди,[24] кончающий Консерваторию) — партию Вяземского; Александр Дмитриевич Поленов [25] — партию Басманова.

Главач и Климов были поражены, когда «Опричника» исполнили при них не только хорошо, а даже с особенным подъемом на большом вечере в конце сезона. Надо сказать, к их чести, что они имели мужество сознаться в своей ошибке и выразить удивление нашему успеху. После этого слава о наших собраниях установилась и в музыкальном мире. Вернувшись из Парижа весной, сестра встретилась где-то с Ц. А. Кюи,[26] который рассказал ей как петербургскую новость о возникновении в обществе серьезных занятий музыкой и «каких-то Дягилевых» и, не подозревая ее родства с ними, советовал ей войти в их кружок.

Помещаю здесь список участников наших «четвергов», составляя его исключительно на память, с помощью Поленьки и Мариши, так как в переписке, относящейся к этому времени, нашла только очень неполные сведения по этому поводу.

Женские голоса

Гирс Полина Сергеевна [27] — профессор Консерватории, бывшая артистка императорского театра.
Мариша.
Юленька.
Евреинова Мария Владимировна.
Родзянко Мар<ия> Влад<имировна>, впоследствии Пантелеева, жена кавалергарда.
Кемерер — гувернантка Философовых.
Пейкер Анна Федоровна — будущая бабушка Дягилевых (Валентиновичей).[28]
Ольхина Фани Александровна, впоследствии Поленова.[29]
Ольхина Елизавета Александровна — врач.
Брянчанинова Наталья Владимировна — рожденная Алексеева.
Я.

Мужские голоса

Дягилев Павел Павлович.
Гирс Александр Александрович.

Блейш Николай Николаевич — врач Кавалергардского полка.
Поленов Василий Дмитриевич — впоследствии известный художник.[30]
Поленов Александр Дмитриевич — товарищ министра земледелия.
Левицкий Владимир Сергеевич } *сыновья фотографа.*[31]
Левицкий Лев Сергеевич
Кучинский Орест Антонович — судебный следователь по особо важным делам.
Матчинский Иван Васильевич — ученик Консерватории, артист императорского театра.
Оленников — ученик Консерватории.
Оболенский (князь) Платон Сергеевич — кавалергард.
Глебов — кавалергард.
Глебов — двоюродный брат Бразоля.
Плеске Эдуард Дмитриевич — впоследствии министр финансов.
Баралевский Михаил Ардалионович.
Бразоль Лев Евгеньевич — впоследствии известный врач-гомеопат.
Ратковский Осип Матвеевич — учитель пения, бывший артист императорского театра.
Черемисинов Петр Петрович — впоследствии директор Русского музыкального общества (бывал изредка).
Свирский Николай Федорович (когда вернулся из Парижа).

Кроме наших «четвергов» скоро образовались маленькие «подчетверги». Опыт указал на необходимость иметь в хоре кадры, которые были бы очень тверды в своих партиях и для этого стали собираться в немногочисленной компании, чтобы под руководством Саши Гирс репетировать к «большим четвергам».

«Подчетверги» собирались большею частью у Гирс и иногда у Мариши. На них шла самая черная работа. Вся первая часть вечера была ей посвящена. Вторая часть начиналась с ужина в одно блюдо, как у нас, после которого, так как тут уж никогда чужих никого не было, мы дурачились и веселились, надо сознаться, как дети. Не знаю, откуда у нас бралось это детство? «Наше ли время» было тому причиной или наша семья? Может быть, и то, и другое вместе, но, пожалуй, это преимущественно второе, потому что и в наше время в обществе находилось много скучающих людей, именно среди тех, которые проводили всю жизнь в увеселениях. Помню, как жена Ивана Сергеевича Мальцова (товарища и друга Поленьки) сказала мне раз, что наше веселое настроение удивляет ее, потому что нигде в целом свете нет такой скуки, как в Петербурге. Нет, у нас ее не было! Грустили, горевали, разумеется, как и все, но никогда не скучали.

Одна из любимых забав «подчетвергов» была — изображение оркестра. Каждый выбирал себе один или несколько инструментов и исполняли голосом таким образом все, что угодно, — даже увертюру «Тангейзера»,[32] но лучше всего выходили у нас танцы из «Жизни за царя». Шумная была это забава, сказать по правде. А за стеной

начиналась квартира дядюшки Александра Карловича...[33] Как-то спалось ему в такие ночи — спрашиваю я себя теперь. Случалось, впрочем, и тогда вдруг с угрызением совести вспомнить об этом и притихнуть, но Полина Гирс всегда на это говорила: «Cela ne fait rien!.. Papa est un ange!»[34] Довод неопровержимый, не правда ли? И оркестр продолжал греметь.

Но кроме шума, скажу и не совру, что во всех этих наших забавах было много юмору и талантливости, благодаря, главным образом, Поленьке. Братья Гирс (Саша и Сережа) и Никс Литке вторили ему в совершенстве. Близнецы Левицкие тоже участвовали в шалостях, когда мы собирались у Гирс, добросовестно исполняя второстепенные роли.

Но однажды один из них увлекся и захотел блеснуть. Он был женихом, и присутствие невесты, вероятно, побудило его отличиться. Она была девушка удивительной наружности. Я видала ее только раз, но никогда не забуду этой красивой головы с ее трагичным обликом. При ней шутки показались мне неуместными. Совершенно чужая между нами и чуждая настроению, соединявшему нас, она смотрела без улыбки на все происходившее. Мне жутко и беспокойно становилось, когда я встречала грозный взгляд ее необыкновенных глаз, устремленных на жениха, который бездарно прыгал по комнате в капоре и шляпе своей сестры. Я уверена, что тут-то, когда он так старался, и был произнесен над ним приговор. Вскоре мы узнали от Полины, что мадемуазель Фейген отказала ему, говоря, что, давая ему слово, она приняла его за брата. В глубоком горе жених отошел, уступая место брату, но тот не захотел воспользоваться несчастьем своего близнеца, хотя, говорят, тоже был влюблен в нее. С той поры близнецы перестали шутить своим сходством, и один из них сбрил себе бороду. Мадемуазель Фейген уехала в Париж, где поступила на сцену. Она создана была для трагедии, но сыграла ее не в театре, а в жизни, застрелившись вследствие нового неудачного романа.

Более счастливым оказался роман, взращенный на почве наших «четвергов». Хотя, как справедливо заметила Маля Литке, почва эта была неблагоприятна для флиртов, но один все-таки зародился на ней, расцвел серьезным увлечением и кончился свадьбой Александра Дмитриевича Поленова и Фани Александровны Ольхиной.

Той же весной состоялась у нас в семье еще одна свадьба: женился наш милый «добрый великан» Мишенька на Зинаиде Александровне Арсеньевой, которая появилась в Перми, потому что мать ее временно была там со своим вторым мужем Робертом Яковлевичем фон Таль, имевшем на Урале какие-то дела.

В письме папаши к нам от 18 февраля 1877 г. нахожу несколько слов о женихе и невесте:

Миша — настоящий влюбленный Шекспир, ни о чем и разговору другого нет, как о невесте. Две карточки, какие у меня были, фотографического ее изображения, послал Мамаше, а других нету, да и очень об этом нечего жалеть, ибо весьма неудачные. Она в натуре

гораздо благообразнее и вообще есть разумок и самостоятельность, несмотря на то, что восемнадцати лет только. Думаю, что при помощи Божией она выкует Мишу и выведет его на спасительный свет.[35]

На этот раз мамаша поехала одна на свадьбу, да кстати и взглянуть на новорожденную внучку, дочь Кокушки. В семье появилась новая Евгения Николаевна Дягилева, названная в память первой. Анна Ивановна уехала в Пермь с первыми пароходами и вернулась назад очень скоро, потому что намеревалась провести лето с Юленькой под Гатчиной, в имении Брянчаниновых. Пьер был на войне и оставлять Юленьку одну в такое тревожное время мамаше не хотелось.

Но раньше, чем говорить дальше о лете, я скажу несколько слов об одном романе этого сезона (кстати уж о романах), который занимал весь петербургский свет и героиня которого всю зиму протомилась в разлуке с героем, сидя большею частью на белом меховом ковре у камина в моей комнате. Герой был кавалергард Павел Родзянко, наш дальний родственник со стороны матери* и товарищ детства, а героиня — жена другого кавалергарда — Марья Павловна Хитрово, рожденная княжна Голицына. Красавицей назвать ее было нельзя, какой была, например, Софья Петровна Шипова,** рожденная Ланская (тоже жена кавалергарда), или сестра моя Лина, но в свете она славилась наряду с ними. Ее большие синие глаза под густыми черными бровями, милая не то задорная, не то юмористическая улыбка, гибкая тонкая фигура и мягкая грация давали ей на то полное право. С первых же дней замужества у нее появилась бездна поклонников, тем более что мужа ее никто всерьез не принимал. Он казался игрушечным солдатиком, когда щеголял в золотой каске с орлом и бряцал палашом или шпорами. Молва носилась, что он и мужем был игрушечным, однако не называла ему соперников, пока Павля Родзянко не поступил в полк. Тем не менее, когда мы уехали за границу в 1875 г., наружно все еще обстояло тихо. Когда же после почти годового отсутствия мы вернулись в Петербург, скандал уже совершился. Вызван он был рождением ребенка. Алексей Захарьевич Хитрово не мог считать себя его отцом, но, как говорят, не имел ничего против того, чтобы прослыть им. Это, однако, не удалось ему: в одно прекрасное утро его жена ушла от него, не взяв с собой ничего, кроме своей девочки и ее бонны. Куда она девалась, мне не удалось ни от кого узнать. Хитрово и Родзянко оба вышли из полка, а Павля вдобавок еще был сослан своей семьей в деревню.

Подымаясь однажды по лестнице к мамаше, которая после отъезда Кокушки переехала на другую квартиру, против Пантелеймоновской церкви, я узнала, что на той же лестнице живет Марья

---

* Наши бабушки были двоюродными сестрами, обе рожд. Квашнины-Самарины.
** Дочь от второго брака жены А. С. Пушкина.

Павловна. Обрадовавшись, что нашла ее, я позвонила к ней. Между нами существовала до тех пор обоюдная симпатия, а теперь мы подружились. Зима тянулась для нее мучительно в неизвестности, как и когда решится ее судьба, и в относительном одиночестве, так как многие светские знакомые, между которыми раньше протекала вся ее жизнь, «потеряли ее из вида», а некоторые дамы даже не кланялись при встрече на улице. Каково же было удивление этих «добродетельных» особ, когда они узнали, что Мэри Хитрово получила приглашение на маленький бал в Аничков дворец, куда не все они попали. Я сама слышала, как одна из них воскликнула с негодованием: «Cela vaut la peine d'être virtueuse après cela!» [36] На другой день после бала, — на котором Мэри не показалась, руководясь тактом, не покидавшим ее в продолжение всего этого тяжелого времени, — куча знакомых вдруг отыскала ее, и экипажи толпились у ее подъезда. Это тонкое внимание со стороны цесаревны Марии Федоровны и вопрос, который вскоре после этого государь сделал отцу Павли: «Когда же свадьба его сына и Мэри?», прекратили все мучения и волнения. Развод после этого вскоре состоялся, а за ним и свадьба. Вот письмо Мэри по этому случаю.

Москва.
Петровский парк. Дача Кравченко.
25 июля 1877 г.

Дорогая Леля,

извините меня, что не написала Вам раньше, но вышла такая путаница в конце, что не успела моей дорогой Лелечке написать. Отец Павли согласился быть на свадьбе только с тем, чтобы никого бы не было, то есть только Г. А. Строганов с моей стороны с братом, как шафер, и сам отец, конечно, с Павлиной стороны и его братья шаферами. Вот почему я не смела никого приглашать, и я убеждена, что Вы тоже скажете, что следовало поступить, так как он отец, по его желанию. В Петербурге я Вам не писала, ибо ужасно суетилась из-за дела, а последнюю неделю пролежала в постели совсем больная от волнения.*

Теперь же с ч а с т л и в а *и у себя дома. Павлю, конечно, обожаю больше, чем кого-либо, но об этом нечего говорить, ибо одна жизнь может доказать, что действительно есть. Он отличный и заслуживает большого счастья! Вы, дорогая моя, я убеждена, за меня радуетесь; как я была бы счастлива Вас обнять и видеть у себя*

---

* Григорий Александрович был родной брат матери Марьи Павловны. Как известно, он был женат на великой княгине Марье Николаевне, вдове герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Великая княгиня очень любила Мэри и приказывала ей называть себя «тетей», что та и делала только наедине и потихоньку от своих родных Строгановых, особенно от деда,[37] который считал женитьбу своего сына «une mésalliance en haut» [38] и августейшую свою невестку никогда не хотел признать членом семьи. Когда она назвала его в первый раз «Papa», он ответил, что для него она «дочь моего государя».

здесь. Могу ли питаться этой надеждой? Сегодня нужно перестать болтать с Вами...

Следуют разные приветы и кончается так:

...век не забуду Вашу хорошую дружбу в тяжелые минуты моей жизни.

Маруся Родзянко.

И действительно она не забыла!

При встречах наших, случавшихся только от времени до времени (сначала благодаря их отсутствию из Петербурга, а потом вследствие нашего пребывания в Перми), она всегда повторяла ту же фразу и прибавляла, что дорого бы дала, чтобы пришлось когда-нибудь доказать это на деле.

Прошло двадцать два года, и Бог послал ей случай сделать нам большое добро. Я не только не просила ее ни о чем, но даже в горе своем забыла известить ее и Павлю о болезни Поленьки, хотя мы тогда были в близком соседстве (они — на Фурштатской, мы — на Сергиевской). Узнав откуда-то, что под нашими окнами лежит солома, они оба приехали и осыпали меня нежными, дружескими упреками за то, что я ничего не дала им знать. Мери догадалась, очевидно, что в связи с опасным положением Поленьки возникли у меня тяжелые материальные заботы, потому что, прощаясь со мной, попросила меня не скрывать от нее других своих тревог. Видя, что сразу ничего нельзя было добиться от меня, благодаря волнению, в которое привело меня прикосновение к этому вопросу, тщательно мною скрываемому, она быстро ушла, сказав, что через день вернется за ответом. Так они и сделали, оба опять приехали и договорились до того, чтобы я подсчитала, что мне сейчас нужно для облегчения нашего положения. Не стану описывать, насколько оно было, казалось, безысходным. Скажу только, что слух о безнадежном состоянии Поленьки подал повод одному кредитору протестовать свой вексель, и что Сережа,[39] который все время помогал всем, чем мог, в эту минуту не имел возможности выложить большую сумму. Не успела я оглянуться, как, выхватив у меня записку, Мэри и Павля без дальнейших слов исчезли, а еще через день мне была доставлена сумма, которая дала мне возможность не только погасить вексель, но и устранить много других осложнений, а главное, продолжать и довести до счастливого конца лечение Поленьки.

Насколько мне отрадно вспоминать это и всякий раз, что вспоминаю, благословлять Бога и тех, которых он послал ко мне в ответ на мою мольбу о помощи, настолько грустно перечитывать в вышеприведенном письме то место, где говорится о любви к Павле и слова: «только одна жизнь может доказать, что действительно есть». Грустно оттого, что Павля и Мэри разошлись после тридцати лет супружества, имея шесть человек детей и нескольких внучат. При-

чина — денежная. Он кутил, мотал особенно после того, что Мэри унаследовала от деда своего Строганова миллионное состояние и дала ему полную доверенность на управление всем. Разрыв последовал окончательный, когда она отняла у него эту доверенность и, чтобы спасти состояние, выхлопотала опеку на свои имения. Не знаю уж какими ступенями дошло до этого, так как нас судьба опять разбросала на несколько лет, и мы долго не встречались.

Грустно, потому что «жизнь как будто доказала», что не было между ними истинной любви, но жизнь их еще не прожита! Подождем. Мне хочется верить, что конец опровергнет это впечатление.

Когда рушится большое прекрасное здание, остаются развалины, на которые со всех сторон стекаются люди — любоваться ими. Кольми паче не может исчезнуть без следа и великая любовь. Ни сорные травы, ни густой слой пыли не скроют от восхищенного взора остатков ее красоты.

Подходила ли любовь Мэри и Павли к великим? Навряд ли, но во всяком случае в ней были порывы и стремления, как мне известно, которые подняли ее из числа «мелких», потому-то я и уповаю, что во вражде они не кончат.

Хотя мы и разъехались на лето врозь, но все оставались в окрестностях Петербурга, так что могли навещать друг друга. Мамаша, как уже сказано, съездив в Пермь и вернувшись, поселилась в имении Брянчаниновых, родственников Пьера, которые сами жили в большом доме, а маленький, в саду, сдали Юленьке.

Мариша устроилась под Лугой в имении Александра Карловича Гирса, где он сам тоже проводил лето с Сашей и Полиной, а мы очутились в Павловске.

После разрыва отца моего с Луи Бланом родители мои окончательно вернулись в Россию и пожелали, чтобы мы провели лето вместе с ними. С этой целью наняты были две дачи Ивановского в общем саду: для них — большая, для нас маленькая.

Лето протекло очень неспокойно. На первом плане была, конечно, война,[40] которая, кроме общего тревожного настроения, приносила и личные тревоги и огорчения. У нас в семье главным страдающим лицом была Юленька. Пьер уехал еще в ноябре с великим князем Николаем Николаевичем[41] в Кишинев и даже до объявления войны подвергался страшной опасности, исполняя возложенные на него поручения.*

На мою же долю выпало гораздо меньшее испытание видеть в продолжение нескольких дней Поленьку в походной форме и весь полк готовым к выступлению по случаю мобилизации всей гвардии. Оказалось, однако, что в последнюю минуту кирасирская дивизия была оставлена в Петербурге к великой обиде нашего полка. Императрица Мария Александровна[43] даже телеграфировала государю об

* Описанные в его книге «Из прошлого».[42]

огорчении дивизии, что она не призвана им со всей гвардией на войну. Государь, говорят, отвечал, что он потому только оставил кирасирскую дивизию, что вручает ей охрану императрицы и августейших детей.

Помню, что больше всех ворчал на это один из любимейших товарищей Поленьки, командир лейб-эскадрона, так называемый Шашá Барятинский*.

В начале лета приезжали погостить из Перми наши молодые — Мишенька и Зина. По этому случаю была, как всегда водится у Дягилевых, мобилизована вся наличная семья, чтобы принять с распростертыми объятиями нового своего члена. Наша belle-soeur [45] произвела на нас впечатление скорее благоприятное. По наружности ей нельзя было дать только восемнадцати лет: большой рост и крупные черты лица намного старили ее, но вообще она была недурна, воспитана, скромна, но довольно бесцветна. В Мишеньке же была заметна перемена, тронувшая меня, не знаю почему. Он утратил беззаботность, которая особенно шла его богатырскому облику.

После их отъезда начались у нас приготовления к спектаклю, который затеяли в пользу склада Красного Креста, открытого в Царском Селе цесаревной Марией Федоровной. Затею эту мы позаимствовали у Дерзиза, устроившего у себя в Ницце оперный спектакль весной 1877 года.

Он услыхал сестру в первый раз в Париже, как раз во время нашего пребывания там год тому назад. С тех пор мечта увидеть ее на сцене не покидала его. Мечта эта, нашедшая пылкую поддержку в моем отце, привела Дервиза к мысли поставить в Вальрозе несколько оперных сцен. От мысли к делу нетрудно перейти было ему, располагавшему всем, что он имел под рукой: начиная с уймы денег и кончая чудным оркестром. Он решил угостить избалованную Ниццу диковинкой и принялся за дело, судя по рассказам сестры, с буйной энергией и деспотизмом, отличавшими его везде и всегда. В марте месяце 1877 года состоялся этот музыкальный праздник, о котором французские газеты выражались так: «Это торжество — музыкальный венец сезона — оставит в памяти и сердцах присутствующих на нем одно из тех огромных впечатлений, которые не изглаживаются». И все газеты в один голос признавали гвоздем торжества прелестную русскую барышню в роли Маргариты третьего действия «Фауста» Гуно.[46]

---

* Князь Александр Владимирович Барятинский, тот самый, у которого был известный скандал в начале царствования Александра III. Он почему-то не хотел надевать только что утвержденной тогда формы с шароварами и высокими сапогами и являлся несколько раз во дворец одетый по-старому, несмотря на напоминание со стороны дворцового коменданта. Видя его упрямство и желая уладить дело миролюбиво, попросили императрицу намекнуть ему о неловкости поведения. В первый раз как представился случай на балу, Мария Федоровна,[44] танцуя с ним, спросила его, почему он нарушает форму, на что он ответил, что следить за этим дело плац-адъютанта, а не ее. Как государь ни любил его и ни спускал ему многое, однако, после этого Барятинский был отставлен от командования Конногвардейским полком и удален в деревню.

Описывали они и воспевали ее на все лады: то больше всего настаивали на необычайности появления в роли Маргариты настоящей молодой девушки с юно-свежим девическим голосом вместо театрального испетого и отмечали все оттенки игры, в которых сквозила подлинная чистота и наивность; то старались определить качества ее голоса, «неустрашимо достигающего самых верхов и вместе с тем не теряющего мягкости, бархатистости тембра»; то восклицали, что она создала новую Маргариту.

*Белокурая робкая Маргарита уступила место очаровательной девушке с черной головкой, девушке на пороге страсти, сознающей свою любовь и гордою ею.**

Во взгляде мадемуазель Панаевой, в ее выражении и в осанке есть что-то царственное, что привлекает и порабощает. И голос ее такой же царственный, как и она сама. Все его регистры отличаются непогрешимой верностью, не стоящей ему никакого усилия. Тембр его, когда надо, прост, нежен, но чаще всего глубок и главным образом драматичен.

Мадемуазель Панаеву ожидает, конечно, блестящая будущность. Ей предстоит сделаться одной из тех исключительно драматических певиц, которые призваны исполнять произведения величайших творцов.

Даже из этих немногих выдержек можно себе представить, каким блестящим был дебют. Желание повторить этот дебют в России и использовать его для раненых заставило нас приняться за дело.

Решено было поставить III и V действия «Фауста» и III действие «Жизни за царя». Для этого надо было собрать весь персонал, оркестр, хор, костюмы, декорации... Труд немалый, усугубленный тем, что дело происходило летом, когда артисты уже разъехались на отдых. Вся эта работа выпала на долю Поленьки, разумеется, с неминуемыми при всяком предприятии осложнениями и помехами, но он, как всегда во всем, за что брался, довел дело до конца, достигая цели упорно, энергично и весело.

Оригинальны были его поиски за Иваном Сусаниным! Он решил прежде всего обратиться к знаменитому О. А. Петрову,[47] создавшему эту роль. Оказалось, что добиться летнего адреса его невозможно. Известно было, что Осип Афанасьевич проводил обыкновенно лето в Новой Деревне, и ходили слухи, что он имел привычку сидеть в три часа дня у калитки той дачи, которую нанимал. Вооруженный такими сведениями, Поленька отправился в Новую Деревню к трем часам дня и поехал вдоль нее, не сводя глаз с калиток. И действительно, у одной из них на скамеечке показалась, наконец, всем известная фигура и характерная голова с гривой седых волос.

---

* Не знаю, насколько это верно. Я не находила последнего.

Старик принял посетителя тут же у калитки, был мил и любезен, но от участия в спектакле отказался, так как пил воды и боялся нарушить свое лечение. Обращение к другому известному Сусанину — Васильеву 1-му — оказалось тоже неудачным. Этот пил не воды, а винцо через меру, и Поленька застал его спящим посреди комнаты на полу средь бела дня. Добудиться его было нельзя.

Исчерпав все разнообразие комических и трагических инцидентов, которые Сережа называет «дежурными скандалами» своей деятельности, мы добрались, наконец, через все препятствия до «торжества».

По наружному блеску оно не могло соперничать с «музыкальным венцом» ниццского сезона, где «сад Маргариты благоухал настоящими цветами и растениями, букет Зибеля — роскошными розами из дивных партеров Вальроза, где шкатулка, принесенная Мефистофелем для искушения Маргариты, была чудо искусства из темного серебра с голубой эмалью (в готическом стиле), а ожерелье, серьги и браслеты, заключающиеся в ней, — известные своей красотой и ценностью жемчуга и бриллианты Веры Николаевны фон Дервиз».

Ничего подобного у нас, разумеется, не было, и наш Мефистофель не мог соперничать с вальрозским. Тот был заправский артист Жюль Пети. У нас Мефистофеля исполнял Орест Антонович Кучинский, очень добросовестно, с хорошим голосом, но по-любительски, конечно. В остальном же павловское представление не уступило ниццскому, даже и в том, что его пришлось немедленно повторить, так как для желающей попасть на него публики не хватило места, а также и в том, что «Фауст» исполнялся в красивом тексте оригинала, то есть по-французски.

Действующие лица были:

«ФАУСТ»

Фауст — *Энде, артист императорского театра (Н. Г. Дервиз); очень хорош, если бы не наружность. Особенно отличился прекрасным произношением в пении французского текста.*
Маргарита — *сестра.*
Мефистофель — *О. А. Кучинский.*
Зибель — *г-жа Минквитц (небезызвестная в Петербурге учительница пения. Спела хорошо).*
Марта — *г-жа Булычева (молодая любительница с хорошеньким голосом).*

«ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ»

Сусанин — *Ильин, артист императорского театра на второстепенные роли (был в восторге исполнить Сусанина и отлично справился).*
Антонида — *сестра.*
Ваня — *г-жа Минквитц (слишком мелка для Вани).*

Собинин — *Энде (превосходен. Настолько понравился всем, что великий князь Константин Николаевич выразил кому подобало удивление, что Энде не поет Собинина на Мариинской сцене, после чего роль эта, к его радости, была ему предоставлена).*

Л. Е. Бразоль когда-то в порыве восторга выразился так: «Слушать Полину Сергеевну* — большое наслаждение, а слушать Александру Валерьяновну — величайшее страдание». Я особенно убедилась в справедливости этого изречения в тот единственный раз, когда слышала сестру свою на сцене. Единственным разом он оказался потому, что лет через десять после этого, когда она поступила на сцену, мы были уже в Перми и разделены слишком трудноодолимым пространством, особенно зимой: тогда еще железных дорог не было дальше Нижнего.

Поняла я глубокий смысл восклицания Бразоля, когда, откинув страх и волнение за «сестру», я ощутила «возвышающее душу страдание, дарованное артисткой». Думаю, что мое впечатление было впечатлением всей публики и вот почему: Маргарита у прялки, у шкатулки с драгоценным убором, в саду, освещенном луною в окне, очаровала, восхитила весь театр. Крики и вызовы грянули сразу, как только Фауст бросился к окну, а она, изменив традиционное в этом месте объятие, опустила головку в руки и закрыла ими лицо.**

Маргарита же в V действии дала совсем иное впечатление: в сером простом балахончике, с растрепанными волосами и худым бледным личиком она еще не открыла рта, как слезы уже подступали к горлу. Тихо, просто идет вся сцена воспоминаний. Она поет, уставив задумчиво нежный, а не театрально-безумный взор в отдаленную точку, как бы следя там, поверх голов всех зрителей, за картинами прошедшего счастья. Но Мефистофель торопит... Некогда думать о прошлом... Скорее... Скорее... Солнце взойдет и бежать уже будет поздно! Его появление отрывает ее от мечты, она видит его, содрогается, и вдруг все преображается: серый балахончик превращается в торжественную ризу, широкие рукава его — в распростертые крылья, руки не висят уже бессильно под тяжестью цепей, а подымаются все выше и выше вместе с голосом, повторяющим в постепенном повышении все ту же музыкальную фразу, все ту же мольбу:

Anges purs, anges radieux,
Portez mon âme au sein des cieux!
Dieu juste, à Toi je m'abandonne,
Dieu bon, je suis à Toi, pardonne![48]

---

* Гирс.

** Тут отличился граф Александр Иванович Пушкин. Как только занавес опустилась между грохотом аплодисментов, раздались голоса, вызывающие «Панаеву». Он, стоя в партере, властно остановил их, объявив, что барышню по фамилии не вызывают.

Это уже не жалкая жертва. Сильным порывом она сбросила свою беспомощность, всю тяжесть греха и горя, воспрянула в вере и готова улететь ввысь, куда устремлена вся ее фигура и сияющее лицо... Она уже там всем существом своим... Не видит Фауста, не слышит, как он умоляет ее бежать... Но вот он делает последнюю попытку, хватает ее, чтобы насильно унести, спасти от казни... Тогда она в первый раз за все действие вглядывается в него и с криком ужаса, от которого пробегает холодная дрожь, отталкивает его: «Pourquoi ces mains rouges de sang? Va! Tu me fais horreur».[49] И падает мертвая. Когда занавес спустилась, все молчало. Никто не двинулся с места, только в первом ряду стоял неподвижно высокий господин, поднявшийся с места во время молитвы Маргариты и так и оставшийся стоять.* Кто-то, наконец, крикнул и прервал мучительное очарование... Поднялась буря... Театр грохотал, а оркестр, поднявшись весь, как один человек, застучал смычками о спинки инструментов.

В «Жизни за царя» случилось тоже нечто подобное после арии «Не о том скорблю, подруженьки», во время которой плакали и в публике, и на сцене. Сама Антонида пела со слезами на глазах, но на это были особые причины.

Во время устройства спектакля между отцом и нами возникли новые недоразумения, по-прежнему вызванные нахальной навязчивостью одного из многих лиц, которые втирались в доверие отца и злоупотребляли им. На этот раз размолвка коснулась и сестры, деятельно принявшей нашу сторону. Самый острый момент этой размолвки пришелся как раз на день спектакля. Расстроенная сестра не могла удержаться от слез, когда запела: «Увели отца родимого!», а отец, сидя в креслах, делал видимые усилия, чтобы не разрыдаться. Размолвка их скоро утихла, но у нас нет! Все мои старания прийти к миру разбивались о какое-то недоверие и даже враждебность отца к Поленьке, навеянные на него откуда-то со стороны, так как, когда я вышла замуж, он несколько раз повторял, что теперь может умереть спокойно. Вмешательство дяди Кронида и его жены, вызвавшихся покончить наконец дело с дарственной и настоять на передаче нам документов, которых мы еще не получали, только больше все запутало и обострило отношение отца к нам.

Таким образом, зима началась очень грустно, чему способствовало, сверх личных наших огорчений, общее тяжелое настроение по случаю наших неудач у Плевны.[50] Томительные ежедневные ожидания вестей с театра войны и ежедневное разочарование в надеждах на падение Плевны удручали всю Россию.

---

* Валерьян Брянчанинов, двоюродный брат Пьера Паренсова. Он попал на это представление случайно, никогда раньше сестры моей не видал и не слыхал. Он рассказывал потом, что не помнит, как он встал с места, но знает только, что почувствовал невозможность, как в церкви, слушать сидя. Этот вечер имел большое значение в его вообще бурной и несчастливой жизни.

По переезде в город мы не возобновили наших музыкальных собраний. Вместо них по четвергам устроились у Поленьки военные чтения. Сначала собирались только офицеры 2-го эскадрона. Они усаживались в столовой кругом большого стола, Дмитрий Яковлевич Дашков (Митушок) читал вслух, остальные следили по картам за чтением; но вскоре заинтересовались и другие полковые товарищи. С каждым четвергом присоединялись новые слушатели. Группа, поднесенная Поленьке от 2-го эскадрона, снята в память этих чтений. Расскажу, кстати, как бурно окончилось одно из них.

В один из четвергов приезжает Тимашев (сын тогдашнего министра внутренних дел) и настолько раньше других офицеров, что идет посидеть ко мне в ожидании начала чтенья. Сидим мы с ним разговариваем о том, о сем... Вдруг после краткого молчания он произносит своим обыкновенным спокойным голосом: «Плевна взята».

Выстрел пушки среди мирной беседы не поразил бы нас больше, чем эти тихо сказанные слова. «Как же Вы молчали? Как же могли говорить о другом?» — накинулась я на него. В ответе на мой упрек он объяснил, что отец его, недавно получив вести, просил его не сообщать никому о них, пока не придет подтверждение, и обещался прислать ему к нам курьера, как только оно получится. Увидав себя с нами наедине, Тимашев не выдержал, открыл нам великую новость, но умолял не говорить ничего товарищам до прибытия курьера. Не успели собравшиеся офицеры развернуть карты и книги, как Тимашеву подали записку от отца с разрешением объявить в полку о падении Плевны.

Что тут поднялось!

Послали записку Николаю Николаевичу Шипову (тогдашнему полковнику)... Он сейчас прибежал, за ним другие, другие и еще другие... Весть разлетелась с быстротою молнии... Люди сбились с ног, носясь по лестнице на ежеминутные звонки... В передней шинели и пальто сбрасывались на пол прибегающими впопыхах и так и оставались лежать... Некуда уже было вешать... Квартира наша в каких-нибудь полчаса наполнилась народом, гулом, криком... И как быстро поднялась суматоха, так же быстро и улеглась. Радостная толпа вся сразу выбежала на улицу. У нас в один миг все опустело и утихло, а в офицерской артели не смолкало «ура», до утра гремела музыка и царило веселье.

Падение Плевны подавало надежду на скорое окончание войны, которое, кроме общего значения, должно было повлиять и на наши личные дела. Поленька серьезно задумывался о выходе из полка. Оба мы, утомленные постоянными недоразумениями с моими и трудностью жизни в полку при неопределенных средствах, стали мечтать об удалении из Петербурга. Мечты эти пока осуществить было нельзя: во-первых, из-за войны, во-вторых, оттого, что Поленьке жаль было уйти, не дождавшись чина полковника, который ему надлежало получить к Пасхе. Преимущество производства в полковники в двадцать девять лет мог дать ему только полк, и он находил неблагоразумным не воспользоваться этим.

Для выяснений всех этих обстоятельств он было написал своему отцу, но потом, по своему обыкновению, нашел, что из писаний никогда ничего не выходит, и решил «слетать» в Пермь, чтобы лично переговорить с папашей.

Так и сделал. Взял отпуск на двадцать восемь дней и 17 декабря укатил. А 20 декабря получено было из Перми неожиданное известие о смерти Мишеньки, тем более поразившее всех, что мы даже не знали, что он был болен. Умер он от тифа, быстро сразившего нашего доброго-доброго великана. Поленька узнал о своей утрате только в Оханске (верстах в 65-ти от Перми). Он не застал даже похорон брата, так как путешествие его заняло целых восемь суток. Да он еще писал из Казани, что едет довольно скоро, принимая во внимание, что снегу совсем нет при сильных морозах. Переговоры с папашей привели к заключению держаться в полку во что бы то ни стало до производства в полковники, после чего при первой возможности найти другое назначение — более обеспеченное в материальном отношении.* Так мы и сели у моря ждать погоды, решив не загадывать далеко, тем более, что в мае должен был появиться у нас новый член семьи.

После возвращения Поленьки из Перми наши отношения с моими как будто смягчились: мы стали видеться по-прежнему.

Но самое тяжелое испытание в семье за эту зиму выпало на долю Юленьки. У нее Маруся заболела дифтеритом. Муж на войне, единственный ребенок при смерти в заразной болезни, от которой все обыкновенно бегут. Тридцать лет тому назад, когда о прививке дифтерита и помину не было, он казался, да и был на самом деле, настоящим бедствием. Но Юленьке не пришлось испытать одиночества в своем горе — дягилевская семья никогда не разбегалась в таких случаях, а напротив сбегалась. И тут все окружили свою «милую девочку» как стеной. Самую существенную и самоотверженную помощь оказала сестре Мариша, в конце концов сама заразившаяся дифтеритом. Она днем и ночью разделяла весь трудный уход за маленькой больной и пережила с Юленькой ужасную ночь, когда явилась экстренная необходимость в операции. Термен поскакал за Раухфусом [51] (известный педиатр), привез его... Они вдвоем уложили девочку на столе в столовой, в которой спешно устроили подобие операционной, и Раухфус разрезал Марусе горло. Он, сделавший в жизни сотни операций, помнил, однако, особенно эту по той обстановке, в которой она произошла. Много-много лет спустя, встретив Юленьку на одной из Сережиных выставок, он припомнил эту ночь. «Вы знаете, — сказал он, — что я тогда был прямо влюблен в Вас в продолжение нескольких дней». Его восхитила решимость такой молодой матери на операцию, которая часто бывала смертельной, энергия, с которой все было приготовлено при отсутствии истерик и обмороков... «У всех вас Дягилевых, — прибавил он, относя свое

* За всю службу в полку в продолжение одиннадцати лет Поленька один только раз получил жалование — три рубля, которые показывал, как диковинку.

замечание и к выставке, на которой они находились, — есть частичка динамиту в крови».

Операция спасти-то спасла жизнь Маруси, но, Боже мой, как бесконечно длились страшные последствия болезни в виде местных параличей и т. п. ... Каким черепашьим шагом подвигалось выздоровление... Какое отчаяние брало, глядя на слабость девочки!.. Дождавшись первых признаков весны, мамаша забрала Юленьку, Марусю, ее няню, захватила еще с собой из института [52] Маню (старшую дочь Ивана Павловича), которая была страшно анемична, и увезла всю эту компанию за границу, где, к счастью, здоровье Маруси стало скоро восстанавливаться. Но эта благотворная поездка имела и свою грустную сторону. Пьер только что вернулся с войны, не совсем еще поправившийся от контузии, и Юленьке пришлось сейчас же опять с ним разлучаться.

Вот выдержки из моих тогдашних писем к мамаше.

Петербург. 12 апреля 1878 г.

...Видимся, конечно, с Маришкой, хотя не Бог весть как часто. В воскресение обедали у дедушки, объявив ему, что в отсутствии Мамаши мы приютились у него. Вы легко можете себе представить, как принял это заявление наш чудный старичок. Петра Дмитриевича раздирают на части, каждый тащит его к себе. Планы наши к Пасхе следующие. Я остаюсь дома в субботу, в церковь никуда не пойду (по случаю возрастающей тяжести), а розговение совершается у нас, то есть будут Мариша, Пьер и мои. Засим в понедельник предполагается обед у Философовых в честь трех семейных производств, то есть в честь генерала, полковника и гардемарина.** Все это было решено на завтраке у Мариши, где мы все собрались по случаю ее рождения. Видно, что Юленьки нет. Сегодня тетя Катя была «itpayab»-ельна,[53] говоря ее языком, и все это пропало даром. Хотя я и заявила тете, что в отсутствие ее обер-мучительницы я берусь к ней приставать, смешить ее и т. д., однако это мне мало удалось. Доказательством служит то, что она сегодня даже расплакалась, говоря: «Мерзавцы англичане, бедная Россия!» <...> Поленька поободрился насчет того, что теперь уже Пасха на носу; авось все устроится хорошо, милая Маменька.*

Петербург. 3 мая 1878 г.

Дорогая и милая Мамаша,

оба письма Ваши получила в исправности неделю тому назад и целую Вам за них ручки.

*Не ответила тотчас же, потому что вся Фомина неделя прошла у меня в укладке и приготовлениях к переезду.*** Наконец,*

---

* Федор Петрович Литке.

** Генерал — П. Д. Паренсов. Полковник — П. П. Дягилев. Гардемарин — В. В. Философов, старший сын Анны Павловны.

*** На новую большую квартиру, в полку же.

вчера совершился сей многознаменательный факт. Сегодня же пишу Вам уже в новом помещении. Мадам Лесли переехала 1-го мая, то есть в понедельник. В понедельник же вечером начали чистить и мыть квартиру. Вчера Поленька целый день возился с переноской и расстановкой, а вечером изгнанные бездельники, то есть дети и я, мы вошли в «полковничьи» хоромы. Хозяин поднес мне букет из белых и красных роз. <...> Какие бы Вам сообщить новости? Самая животрепещущая из них — опять объявление кирасирской дивизии на военном положении. Пока еще это выражается только ношением белых мундиров и высоких сапог, но что дальше будет, кто знает?***

*Татуся продолжает петь в концертах и пожинает лавры.*** От пермских наших известий никаких <...>*

*Как-то, между прочим, во время всей возни Сергей Павлович выучился читать, о чем спешу сообщить бабушке. Как он это совершил?... Бог его знает, но дело в том, что теперь сей молодой человек с книгой не расстается. Важность неимоверная при этом, а Линчик складывает за ним слова и поправляет его. Ах, вот еще новость! Чуть не забыла. Татуся была на днях на институтском балу в Смольном. Ее приглашает на кадриль девочка, и когда они стали танцевать, институтка взяла Сашу за руку и гладила по руке. Наконец, она говорит: «Ведь Ваша сестра замужем за Павлом Павловичем Дягилевым?» — «Да», — отвечает Татуся. «Значит, мы родственницы, — продолжает девочка. — Я родная племянница Павла Павловича». — «Каким образом?» — спрашивает Татуся, не знавшая, что Таточка Антипова**** — в Смольном, а может быть, даже забывшая, что я ей рассказывала о детях Антиповых. Девочка, милая, сделала грустное личико, как будто ее огорчило, что Татуся не знает ничего о ней и сказала: «Честное слово, я р о д н а я его племянница». Татуся рассказывала мне это, спрашивая, кто бы эта институтка могла быть? Татуся говорит, что она очень миленькая и что, кажется, у нее есть сходство с Юленькой. Поленька просил Татусю воспользоваться приглашениями начальницы и навестить при случае Таточку и передать ей его поцелуй <...>*

Через десять дней после этого письма, 13 мая 1878 года в $3^1/_2$ часа дня, у нас родился сын.

На этот день был назначен ежегодный при Александре II так называемый майский парад. Поленька ушел утром с полком на Марсово поле. Сережу и Линчика я отправила с няней к дедушке Литке, который жил рядом с Павловским полком и в дни парада всегда приглашал к своим окнам всю семейную детвору. Сама же я соби-

* Лесли — полковник Кавалергардского полка, получивший новое назначение.

** Насколько помнится, предполагалось двинуть дивизию на австрийскую границу.

*** В пользу раненых.

**** Дочь Таленьки, помещенная отцом в Смольный, причем он потребовал от начальницы обещания, чтобы никто из родных матери не был ни под каким предлогом допускаем к девочке.

ралась поехать туда попозже, но мне это не довелось сделать, а Поленьке, которого оповестили о причине моей неявки как раз перед началом парада, пришлось отпроситься у командира полка домой, объяснив ему потихоньку, в чем дело. Граф Алексей Павлович Игнатьев [54] снял каску, перекрестился и отпустил его с Богом. Бывшие вблизи солдаты, увидав, что командир перекрестился, хотя и не знали почему, но тоже перекрестились; их примеру последовали дальше, за теми дальнейшие и вышло вдруг, что в эту минуту весь полк помолился о нас. Поленька был совершенно растроган этой неожиданной торжественной сценой. Весь под ее впечатлением он вошел ко мне, как был, не раздеваясь, в кирасах, с орлом на голове, даже при палаше, и поспел прямо навстречу сыну.[55]

Он назван был Георгием [56] по желанию своего старшего брата. Зная, что на днях ожидается братец или сестрица, Сережа очень был озабочен, как назвать мальчика, так как девочке давно уже предназначалось имя Евгении. Когда Поленька сказал ему, что родился мальчик, он достал из своего кармана маленький календарь, который носил при себе с целью следить по нем, какие святые приходятся на какие числа, нашел 13 мая и сообщил отцу, что братец будет Георгий.

Крестила Юрия Мариша и мой двоюродный брат, Кронид Панаев, который сам был моим крестником.

Вот письмо, которое Поленька получил от брата Ивана как раз в это время. Это был ответ на то, которое сам он написал ему после производства своего в полковники.

14 мая 1878 г.
г. Пермь.

На письмо твое от 10 апреля я долго не отвечал тебе, потому что во-первых, оно шло непомерно долго, вероятно, вследствие распутицы, во-вторых, Кокушка был в Осе, а так как письмо было писано к нам обоим, то я не хотел отвечать, не повидавшись с ним. Зная, что прекрасная моя Елена может родить с минуты на минуту, не могу не пожелать счастливого окончания <...> *Теперь буду отвечать на письмо. Исходная точка совершенно правильная. Если ты не желаешь или, лучше сказать, не находишь более возможным оставаться далее в полку, то без всякого сомнения, самое удобное было бы хотя на время приехать к нам. Я очень хорошо понимаю, что значит с семьею быть без места и знаю то, что мы без куска хлеба в Перми не останемся, а в Питере, как он ни хорош, без денег существовать трудно. Каковы наши дела, сказать ничего не могу. Дедушка всегда держал себя странно. Он разыгрывал того мальчика, который всегда звал на помощь, а когда действительно волк пришел, то ему никто не поверил. Дела бывают и похуже и получше, а он всегда кричит, что дурно; когда же действительно тяжело, ему не верят. Я показывал ему твое письмо. Он, по-видимому, остался доволен, хотя поручил мне вас пре-*

дупредить, что при всем желании вас видеть он не может вас встретить с тою роскошью и предоставить тот комфорт, которые вы видели в последнее ваше пребывание в Перми. Кокушкина поездка не состоится по той причине, что, во-первых, денег нет. Моя цель была везти куда-нибудь Маню, в настоящую минуту она за границей, следовательно, моя поездка тоже является вопросом. Сопоставляя все обстоятельства, выходит в конце концов то, что ваша поездка к нам будет как нельзя более кстати.

Приезжайте, милые, при первой возможности, и все устроится к лучшему. Напишите, как вы все такое намерены проделать и можно все будет заранее обдумать; теперь сообщение быстрое, в шестые сутки письма получаются из Петербурга. У нас ничего нового. Мои детки здоровы. По окончании экзаменов я их, вероятно, увезу в Бикбарду. Приезжайте и вы, милые. Ежели не встретите, как говорит дедушка, роскоши, то встретите беспредельную любовь и радушие братское.*

*Обнимаю и целую вас и ваших музыкантов.***

Преданный и любящий

Иван Дягилев.

А вслед за этим я получила следующее письмо от папаши.

Милая и добрая Леля,

прости меня великодушно, что я замедлил ответом на твое сердечное письмо от 23 мая. Все желалось духом сколько-нибудь успокоиться, но и в настоящую минуту все как-то по грехам моим не могу ни с собою, ни с делами совладать.

Благополучное твое разрешение всех нас порадовало. Пускай Георгий возрастает всем нам на утешение <...> Думаю, что во всяком случае, если Поля получит отпуск, то вам не миновать Осы и Бикбарды, куда и направляйтесь. О том, что ты и вся твоя семья будешь принята с распростертыми объятиями, и говорить нечего, и будем всем делиться, то есть материальными средствами, радостями и печалями, и друг друга нравственно, с упованием на Господа, поддерживать в душевных настроениях, с коими часто не легко совладать. Что же касается до здоровья моего, то оно, благодаря Бога, поправилось. Извини за краткость письма. По малодушию моему не имею в запасе мыслей, кои могли бы тебя успокоить и радовать.

Многолюбящий и уважающий тебя

друг и отец

П. Дягилев.

---

* Встретили все то же, что и в первый раз, с тою только разницею, что нас было не так много и, следовательно, менее шумно.

** Ва́нюшка называл так детей.

Эти два сердечные письма решили нашу поездку в Бикбарду, но не раньше окончания лагерного сбора, который Поленька обязан был отбыть.

Как только я немного окрепла, мы переехали всей семьей в Красное Село. Это было своего рода смелое новшество, на которое первая решилась Софья Сергеевна Игнатьева.[57] Семьям офицеров не принято было жить в лагерях. Мы последовали ее примеру, так как это нас устраивало именно на это лето и отчасти оттого, что я сошлась с ней. Мне нравились ее простота, прямота, приверженность к традициям и религиозность. Со временем эти прекрасные черты перерождались понемногу в соответствующие им недостатки, в которых теперь упрекают графиню Игнатьеву. А как она была симпатична, когда становилась скромненько в полковой церкви в заднем уголку у печки или когда, кормя своего сына, она бегала вместе с тем через улицу по несколько раз в день кормить ребенка одной из полковых дам, пока та искала новую кормилицу вместо той, которая оказалась негодной.

Одной из новаторш в лагерях одновременно с нами оказалась Нина Пейкер. Помню, что мы с ней видались в Красном, но не помню, состоялось ли тогда первое свидание между будущими супругами — моим трехлетним Линчиком и ее годовалой Сашенькой.

Красное оставило мне воспоминание удачно выдержанного экзамена. Мне никогда, правда, не приходилось держать ни одного, но я представляю себе, что это должно быть похоже на то озабоченно-тревожно-приятное чувство, которое я испытала в продолжение шести недель, проведенных мною в Красном Селе. Мне надлежало доказать на ежедневной практике, усвоила ли я преподанную мне командиром 2-го эскадрона «тактическую задачу»: вовремя скрываться, вовремя появляться, не слышать и не видеть, чего не следовало видеть и слышать, по известным направлениям не ходить самой, по другим не пускать детей и т. д. и т. д. Все это во избежание стеснения хозяев лагеря — офицеров и солдат. Я считала это вполне справедливым и усердно изощрялась в способах к достижению цели, что было не всегда легко при близости изб друг около друга.

Здесь прервана была почти на полуслове, в июле 1914 года, моя «Запись о Дягилевых».[58]

С тех пор прошло три года. В течение этого времени близкие часто уговаривали меня продолжать «Запись», зная, что она была для меня любимым занятием в продолжение нескольких лет. Но всякий раз, когда я под чьим-нибудь заботливым обо мне влиянием настраивала свои мысли, я наталкивалась внутри себя на какое-то твердое сознание невозможности вести эту дорогую мне запись, как я делала это до тех пор.

Чтобы не оставить, однако, мой труд без всякого конца, я собираюсь, если будет время, пристегнуть к нему краткую летопись — нечто вроде перечня главных событий.

Подробности некоторых из них найдутся в сохраненных мною переписках. Но найдется ли у вас, дорогие мои, время заглядывать в прошлое, при том быстром течении, которое приняла жизнь?

Елена Дягилева.

Гатчина.
Егерская слобода.
6 августа 1917 г.

Глава Четвертая, оставшаяся неоконченной, должна была вместить еще следующее:

1878 г.

1. Шестинедельное пребывание в Красносельском лагере.
2. Поездку нашу в Пермь, при которой опять происходили переговоры о нашей судьбе. Папаша предложил мне остаться с детьми в Перми в ожидании возможности для Поленьки выйти из полка. Я не согласилась на разлуку, срок которой был неопределенный.
3. Попытка (неудавшаяся) Павла Дмитриевича объявить себя несостоятельным.*
4. Возвращение на зиму в Петербург и новые недоразумения с моими родителями.

1879 г.

5. Выход Павла Павловича из полка (отчислен по гвардии кавалерии). Проводы его в полку, на которых граф Александр Иванович Мусин-Пушкин (начальник дивизии) в тосте своем за покидающего их Дягилева назвал его «человеком без интриги». Товарищи поднесли альбом, но только на словах, так как он еще не был готов. Подношение состоялось через год в Красном Селе.**
6. Свадьбу Маши Родзянко, на которой государь Александр II был ее посаженым отцом и где я видела его в последний раз.

---

* Приложение к «Летописи» (см.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 1: копия письма от 16 августа 1878 г. П. Д. Дягилева к А. И. Дягилевой).

** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 13об. — 14: копия письма от 8 июля 1880 г. П. П. Дягилева к Е. В. Дягилевой).

7. Лето у Евреиновых (в с. Барщене Курской губ.). Я с детьми уехала туда раньше, а муж оставался хлопотать о делах.*
8. Назначение П. Д. Паренсова военным министром в Болгарию, куда он намеревался тотчас вызвать Полюшку начальником кавалерии, но оказалось, что ее еще не существовало.**
9. Переселение наше в Пермскую губ.*** в ожидании вестей из Софии. Начальство над кавалерией еще более или менее улыбалось мужу, но когда вместо этого зашла речь о месте заведующего двором князя Александра,[59] то Полюшка решил оставить всякие помыслы о Болгарии, к которой у него с самого начала не лежало сердце. Его слова были: «Лучше пойду в городовые, чем старшим лакеем к Батенбергскому».

---

* Переписка наша с мужем за 1879 г. — в серой шкатулке. Письма Л. Е. Бразоля в порт<феле> голуб<ого> кретона (см.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 11).

** Приложение к «Летописи» (см.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 5—6: копия письма от 9 сентября 1879 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Дягилевой).

*** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 1об.—8об.: копия письма от 28 августа 1879 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Дягилевой; от 29 августа 1879 г. Е. В. Дягилевой к А. И. Дягилевой; от 9 сентября 1879 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Дягилевой; от 16 октября 1879 г. Е. В. Дягилевой к А. И. Дягилевой; от 13 октября 1879 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Дягилевой).

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Первая часть

Рождение Ивана Павловича	1838 г.
Отставка Павла Дмитриевича	1850 г.
Первое переселение в Пермь	1851 г.
Письма Ивана Павловича к родителям	1861—62 гг.
Письмо М. Н. Рокотовой к Анне Ивановне	1861 г.
Свадьба Марьи Павловны	29 апреля 1862 г.
Свадьба Ивана Павловича	7 апреля 1863 г.
Второе переселение в Пермь	1864 г.
Поступление Павла Павловича в юнкерскую школу	1865 г.
Производство в офицеры	1867 г.
Свадьба Павла Павловича и Евгении Николаевны	19 мая 1871 г.
Рождение Сергея Дягилева	19 марта 1872 г.
Рождение Дмитрия Философова	26 марта 1872 г.
Смерть Евгении Николаевны	9 июня 1872 г.
Свадьба Юлии Павловны	28 октября 1873 г.
Письмо С. М. Панаевой к дочери	1873 г.
Охота на «лисичку»	9 августа 1874 г.
Свадьба Павла Павловича и Елены Панаевой	14 октября 1874 г.

Вторая часть

Смерть Валентины Валерьяновны Шуленбург	11 июня 1875 г.
Рождение Валентина Павловича Дягилева	7 июля 1875 г.
Свадьба Михаила Павловича Дягилева с Зинаидой Александровной Арсеньевой	май 1877 г.
Рождение Евгении Николаевны Дягилевой[1]	апрель 1877 г.
Рождение Юрия Павловича Дягилева	13 мая 1878 г.
Выход Павла Павловича Дягилева из Кавалергардского полка	2 апреля 1879 г.

Переезд Павла Павловича с семьей на житье в Пермь	август 1879 г.
Назначение Петра Дмитриевича [2] военным министром в Болгарию и переезд его туда с семьей	1879 г.

Часть третья

ПЕРМЬ

(1879—1890)

ЛЕТОПИСЬ



Пермь. Кафедральный собор. Фото 1880-х гг.

Отдел первый

При родителях

1879 г.

В конце августа Павел Павлович сам-девять (с женой, тремя сыновьями, гувернанткой Софьей Лукинишной Окшевской, няней, девушкой Сашей и лакеем Иваном) приезжает в Бикбарду* и присоединяется к пермской части семьи, чем полагается начало нашему тринадцатилетнему пребыванию в ее недрах. Застаем мы ее в следующем виде: Иван Павлович, мировой судья в Бикбарде, живет в своем доме; сыновья его учатся в пермской классической гимназии и живут с Николаем Павловичем и его семьей. Павел Дмитриевич, остановленный в своем намерении объявить себя несостоятельным уговорами главноуправляющим своим Афанасием Павловичем Эскиным, дает ему полную, неограниченную доверенность и сам остается на зиму в деревне, поселившись в так называемом «новом доме». Мы устраиваемся в старом доме. Павел Павлович едет почти тотчас же в Петербург для переговоров со своими кредиторами и возвращается с последними пароходами. Сережа заболевает скарлатиной и дифтеритом.** Ближний земский врач — в отсутствии. Выписываю уездного врача Фридриха Христиановича Тэгартена из Осы (97 верст). Он выхаживает Сережу. Узнаю ближе о. Николая Конева,*** нашего священника, чудного старика, почитаемого всей округой за святого. К нему стекался народ из далеких деревень. Зима проходит у нас мирно. Дружба с Иваном Павловичем.

---

* Приложение к «Летописи» (см.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 2об.—4об.: копия письма от 29 августа 1879 г. Е. В. Дягилевой к А. И. Дягилевой).

** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 6—7об.: копия письма от 16 октября 1879 г. Е. В. Дягилевой к А. И. Дягилевой).

*** См. его портрет (В фондах РО ИРЛИ фотопортрета отца Николая нет).

1880 г.

Павел Дмитриевич в начале как будто недоверчиво присматривается ко мне и всячески испытывает меня, но понемногу и с ним устанавливаются все более и более теплые отношения. Мы с ним начинаем беседовать и между нами возникает глубокая привязанность, возраставшая и укреплявшаяся до конца, а после него превратившаяся у меня в благоговейную память.

Сережа начинает регулярно учиться. Приглашаю для совместного ученья с ним детей акцизного чиновника Абрамова. Класс этот получил от Павла Дмитриевича прозвание «Бикбардинского университета».

Пожар дома Ивана Павловича* в его отсутствие. Возвращаясь под утро из Осы, он застает одно дымящееся пепелище. Он очень удручен. Павел Дмитриевич относится к пожару с бесстрастием.

Я получаю письмо от Александры Егоровны Панаевой (жены моего дяди Кронида Александровича), в котором она извещает меня, что наше совместное с сестрой владение местом на Адмиралтейской набережной мешает отцу продолжать постройку дома, в которую он вложил все свое состояние. Вместе с тем это является якобы большим затруднением и препятствием возможности для сестры моей выйти замуж. Последнему доводу я не придала веры, но, понимая, что возвращение дарственной непременное желание моего отца (письмо было от его имени, хотя сам он не желал ко мне обращаться, будучи настолько недоволен нами, что не простился с нами перед отъездом), и памятуя, что место было переведено на наше с сестрой имя только из опасения конфискации,** я послала отречение от дарственной.

Петр Дмитриевич Паренсов покидает пост военного министра в Болгарии.***

Анна Ивановна приезжает на лето в Бикбарду с дочерьми Ивана Павловича, а сыновей его привозят из Перми с репетитором Кудрявцевым. Иван Павлович увозит старшую дочь свою Маню в Уфу на кумыс.****

Поездка Павла Павловича в Петербург опять для переговоров с кредиторами. Кавалергарды подносят ему альбом в Красном Селе.*****

---

* Приложение к «Летописи» (см.: там же, ф. 102, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 10—12: копия письма от 20 февраля 1880 г. Е. В. Дягилевой к ее бабушке Анне Александровне Мельгуновой; перевод с французского).

** См. воспоминания Е. В. Дягилевой (часть II, глава 4).

*** Приложение к «Летописи» (см.: там же, ф. 102, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 15: запись Е. В. Дягилевой, где она говорит, что причиной отставки П. Д. Паренсова с поста военного министра в Болгарии было его несогласие с прогерманскими настроениями, которые царили при дворе болгарского короля Александра Батенбергского).

**** а) Серая шкатулка. Переписка наша с мужем за 1880 г. (Данная ссылка относится к содержанию писем, находящихся в настоящее время в РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 12); б) Регистратор, буква И, письмо Ивана Павловича с дороги. (Отсылка к «регистратору» будет встречаться и дальше: по-видимому, оригиналы писем у Е. В. Дягилевой хранились по алфавиту их авторов.)

***** Приложение к «Летописи» (см.: там же, ф. 102, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 13об.—14: копия письма от 8 июля 1880 г. П. П. Дягилева к Е. В. Дягилевой).

Николай Павлович получает назначение товарища прокурора в Киев и уезжает туда с семьей.

Осенью, после отъезда Анны Ивановны в Петербург, мы все переезжаем в Пермь, кроме Ивана Павловича, который остается судействовать в Бикбарде.

Совершенно неожиданно для меня муж мой протягивает руку примирения моему отцу.*

1881 г.

Входим в сношение с пермским обществом. Местная коренная часть его состояла исключительно из купцов, очень крупных богачей и помельче. Пришлый же элемент, самый разношерстный, принадлежал миру чиновников, которых служба забрасывала сюда со всех сторон России и которые большею частью смотрели на пребывание свое в Перми, как на переходную ступень к получению места в более центральные губернии. Местных дворян в Пермской губ. нет. Землевладельцы ее записаны в дворянские книги других губерний (кажется, преимущественно в Московской) и самые крупные из них, как Строгановы, Демидовы, Голицыны и т. п., не живут в своих пермских владениях. А из менее крупных только и находились налицо Дягилевы, Голубцовы и впоследствии Сатины (наследники имений Всеволожских).

Прежде всего Павел Дмитриевич вводит меня в дамское благотворительное общество, в котором сам он состоял казначеем, и тут я знакомлюсь с образчиком значенья его личности в Перми.

Павла Павловича выбирают старшиной музыкального кружка, основанного его братом Иваном и процветавшего несколько лет под его руководством, но мы застаем кружок уже в агонии. Павел Павлович воскрешает его к радости всего общества. Музыкальные субботы в благородном собрании делаются любимыми вечерами всего города.

Настает 1 марта.[1] Грянула весть о мученической кончине государя Александра II.** Она была принята, как и следовало ожидать от разношерстного населения, очень различно. Общего настроения не было. Несколько времени спустя у нас в доме арестован семинарист Кудрявцев,*** рекомендованный в репетиторы к сыновьям Ивана Павловича самим архиереем.

Анна Ивановна уезжает за границу с дочерьми Ивана Павловича.**** Вдова Михаила Павловича приезжает из Петербурга. Ее ро-

---

* а) Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 18об.—19: копия письма от 25 ноября 1880 г. П. П. Дягилева к В. А. Панаеву). б) Регистратор, буква В, письмо В. А. Панаева от 12 декабря 1880 г.

** Приложение к «Летописи» (см.: там же, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 21: копия письма от 10 марта 1881 г. Е. В. Дягилевой к матери — С. М. Панаевой).

*** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 22об.—24: здесь Е. В. Дягилева дает характеристику Платону Федоровичу Кудрявцеву).

**** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 22: копия письма от 27 марта 1881 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Дягилевой).

дители, с которыми она живет, добиваются назначения ей пенсии от Павла Дмитриевича, но он предлагает остаться жить с нами. Она едет на лето в Бикбарду со мною, куда я уезжаю с детьми.

Павел Павлович остается в Перми временно командовать батальоном, так как командир батальона Лагутинский — в отпуску.*

Маня Философова помолвлена за Дмитрия Алекс. Каменецкого.**

Съезд гостей в Бикбарду на именины Павла Павловича, который приезжает на три дня.***

Николай Павлович приезжает в отпуск из Киева.

Мария Павловна Корибут выходит замуж за Ивана Ивановича Луньяка, чеха, преподавателя древних языков и репетитора ее детей.**** Дети ее узнают об этом как о совершившемся уже факте, при переезде на дачу, когда он поселяется с ними.

Они потрясены, особенно старший — Юрий.

Анна Ивановна замышляет переселиться в Пермь навсегда.*****

Я переезжаю с детьми на зиму в Пермь довольно рано,****** и мы проводим половину зимы без Павла Дмитриевича, который остается в Бикбарде с сыном Иваном, сначала по нездоровью, а потом ради уединения, в котором он обдумает свои дела, приводит их в порядок и, между прочим, решает взять на себя все долги сына Павла, не лишая его за то части в наследстве. Вносит эту свою волю в духовное завещание.*******

1882 г.

Павел Дмитриевич приезжает из Бикбарды только в феврале.********

Возбужден вопрос о приезде моих родителей на лето в Бикбарду.*********

---

* Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 27об.: копия письма от 31 мая 1881 г. Е. В. Дягилевой к А. И. Дягилевой).

** Серая шкатулка. Переписка наша с мужем за 1881 г. (Данная ссылка Е. В. Дягилевой относится к содержанию писем, в настоящее время находящихся в ед. хр. 12—13).

*** Приложение к «Летописи» (см.: там же, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 31—35: копия письма от 11 июля 1881 г. Е. В. Дягилевой к А. А. Мельгуновой; перевод с французского).

**** Серая шкатулка. Переписка наша с мужем за 1881 г. и Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 30—37: копия телеграммы от 4 июля 1881 г. П. П. Дягилева к Е. В. Дягилевой; копия письма от 10 июля 1881 г. П. П. Дягилева к Е. В. Дягилевой; копия письма от 11 июля 1881 г. Е. В. Дягилевой к А. А. Мельгуновой; копия писем от 19 и 26 июля 1881 г. Е. В. Дягилевой к П. П. Дягилеву).

***** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 36—38: копия письма от 18 августа 1881 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Дягилевой).

****** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 38об.—39об.: копия письма от 13 сентября 1881 г. Е. В. Дягилевой к В. А. Панаеву).

******* Письмо П. Д. Дягилева к сыну. Регистратор, буква П.

******** Приложение к «Летописи» и Регистратор, буква П (см.: там же, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 40—44: копии писем от 13 сентября, 25 октября, 5 ноября 1881 г. П. Д. Дягилева к Е. В. Дягилевой).

********* Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 59—64: копия письма от 11 февраля 1882 г. Е. В. Дягилевой к В. А. Панаеву; копия письма от 18 февраля 1882 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Панаевой; копия письма от 22 марта 1882 г. В. А. Панаева к Е. В. Дягилевой; копия письма от 3 апреля 1882 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Дягилевой).

Павел Дмитриевич усиленно и оживленно хлопочет о приготовлении дома к приезду Анны Ивановны и для нас другого дома, так называемого маленького (в два этажа и пятнадцать комнат), который он отделывает заново и в который по желанию мамаши нам с осени надлежит устроиться отдельным хозяйством.*

Смерть уважаемого и любимого в Перми старика, жандармского полковника Рамойкова.

Весной Иван Павлович едет за границу полечиться, по настоянию матери** и возвращается летом с дочерьми.

Наталья Павловна выходит замуж за Кубитовича.***

Мои родные приезжают в Пермь.**** Павел Дмитриевич встречает их с радушием и широким гостеприимством.

Пожар в наших пермских надворных строениях.*****

Смерть Федора Петровича Литке.

Анна Ивановна водворяется в Пермь осенью, где встречает ее Павел Дмитриевич. Мы же возвращаемся из Бикбарды позже.

Назначение нового губернатора вместо умершего Енакиева. Александр Константинович Анастасьев приезжает с семьею тоже осенью. Между нами и ими завязываются дружеские отношения.

Иван Павлович выбран председателем Осинской земской управы. Он поселяется в Осе.

Болезнь Павла Дмитриевича возвращается с новой силой.******

Павел Павлович получает назначение воинского начальника в г. Изюме. Он хлопотал о назначении на юг, так как пермский воинский начальник и командир батальона Лагутинский соглашался поменяться лишь на условии быть переведенным на юг, куда давно стремился. Павел же Дмитриевич очень желал, чтобы сын его так или иначе устроился служить в Перми, вследствие чего и пришли к взаимному соглашению, к обоюдному, казалось, удовольствию.

1882—1883 гг.

Однако, когда состоялось назначение, Лагутинский предъявил новое условие, а именно, назначение в один из университетских городов, обязательно южных. Анастасьев, возмущенный таким поступ-

---

* Приложение к «Летописи» (см.: там же. л. 51, 57—61: копии писем от 4 января и 7 февраля 1882 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Дягилевой).

** Приложение к «Летописи» и Регистратор, буква И (см.: там же, л. 65—72, 75—77: копии писем от 7, 13, 21 мая и 3 июля 1882 г. И. П. Дягилева к Е. В. Дягилевой).

*** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 63об. —64: копия письма от 3 апреля 1882 г. А. И. Дягилевой к Е. В. Дягилевой).

**** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 68об.—69, 73: копия письма от 13 мая 1882 г. И. П. Дягилева к Е. В. Дягилевой; копия письма от 13 июня 1882 г. Е. В. Дягилевой к П. Д. Дягилеву).

***** Зеленая большая тетрадь «Сведения о роде Дягилевых»; Жизнеописание П. Д. Дягилева; р/р <Регистратор?>, зд. <?>. Примечание. (См.: там же, ед. хр. 7, 8).

****** Приложение к «Летописи» (см.: там же, ед. хр. 2, тетр. 18, л. 80—83: копия письма от 8 декабря 1882 г. Е. В. Дягилевой к В. А. Панаеву).

ком, стал упорно уговаривать Павла Павловича хлопотать о получении вакантного места полковника Самойлова.* Это не удается, о чем мы не горюем. Павел Павлович едет в Изюм через Петербург и пускает там в ход вопрос о переводе своем в университетский город. Все пермское общество провожает его торжественным обедом.

1883 г.

Павел Павлович встречает Новый год в Изюме. Вскоре после его прибытия туда на него находит не свойственная его характеру тоска, и он решает ехать в отпуск, что ему с трудом, но удается. Он летит домой и приезжает в Пермь в один день с Иваном Павловичем, который тоже внезапно собрался из Осы. Оба брата застают отца уже безнадежным и присутствуют вместе с матерью и со мною при его смерти. Павел Дмитриевич умер 21 января в 2 ч<аса> дня.** Похоронен он в Перми на кладбище кафедрального собора.

Анна Ивановна вступает во владение всем имуществом, оставленным ей мужем пожизненно. В соглашении с сыновьями, она ставит Ивана Павловича*** хозяином дела, оставляя Эскина главноуправляющим.

Николай Павлович переводится на службу в Пермь товарищем прокурора.

Павел Павлович переводится из Изюма в Харьков и тотчас же меняется местами с Лагутинским. Усердно принимается за свою службу уездного воинского начальника, командира Ирбитского отдельного батальона и Туркестанских рот.

Михаил Ардальонович Баралевский разводится с женой вследствие ее желания выйти замуж за Георгиевского и приезжает служить в Пермь, где муж выхлопотал ему место исправника.

Сережа держит удачно вступительные экзамены во 2-й класс классической гимназии.

Весной приезжают к нам на лето Юлия Павловна Паренсова с маленькой дочерью, Наталья Павловна и моя сестра. Весь женский персонал с детьми проводит лето в Бикбарде.****

Поездка моя с сестрой на именины к мужу в Пермь.

---

* Приложение к «Летописи» и серая шкатулка. Наша переписка с мужем за 1882 г. (см.: там же, л. 83—85об.: копии писем от 17 и 24 декабря 1882 г. П. П. Дягилева к Е. В. Дягилевой).

** Приложение к «Летописи», тетрадь 2 (см.: там же, ед. хр. 2, тетр. 17, л. 1—6об.: запись Е. В. Дягилевой «Последние дни и смерть Павла Дмитриевича Дягилева»).

*** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 8—10: копия письма от 27 апреля 1883 г. Е. В. Дягилевой к П. П. Дягилеву).

**** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 10—16: копии писем от 10 и 12 июня 1883 г. Е. В. Дягилевой к П. П. Дягилеву; копия июньского письма П. П. Дягилева к Е. В. Дягилевой; копия письма от 4 июля 1883 г. Е. В. Дягилевой к П. П. Дягилеву).

Поездка моя с детьми в Казанскую губернию на свидание с родителями в имение «Городок» дяди моего Илиодора Александровича Панаева.*[2]

Сережа с осени начинает ходить в гимназию.**

Татьяна Даниловна Анастасьева, жена губернатора и почетная попечительница женской гимназии, деятельно хлопочет о постройке нового для нее здания, так как старое наемное помещение настолько сделалось тесно, что дети страдают от скученности и недостатка воздуха. Одновременно она замышляет устройство общежития для гимназисток, родители которых живут в уездах и которые помещаются на частных квартирах, при очень невыгодных условиях как в отношении физическом и учебном, так и нравственном.

1884 г.

С 4-го на 5-е февраля ночью Эскин совершает самоубийство, предварительно зарезав четырех человек.*** Смерть его обнаруживает большую запутанность в делах. Крупные затруднения, вследствие которых Дягилевым приходится выложить 50 000 р. экстренно.

Павел Павлович складывает с себя звание старшины благородного собрания и возвращает свой членский взнос. Все офицеры Пермского гарнизона следуют его примеру. Причина — драка в стенах собрания двух членов, которых не исключают за неприличное поведение. В обществе по этому случаю переполох. Город предоставляет Павлу Павловичу помещение для офицерского собрания.

Иван Павлович, еще с конца прошлого года сложивший с себя службу в земской управе, возвращается в Пермь и поселяется на своей половине в большом доме.

Анна Ивановна уезжает в Париж к Паренсовым, так как расхварывающийся целый год Петр Дмитриевич лишается ног и его отправляют лечиться к Шарко.[3]

Мы переселяемся опять в большой дом и предоставляем маленький Николаю Павловичу по желанию Анны Ивановны, которая, уезжая, возлагает на меня попечение о внучке Мане, дочери Ивана Павловича.

Никто из нас, кроме семьи Николая Павловича, не едет в Бикбарду на лето, вследствие просьбы Ивана Павловича не оставлять его одного в тяжелую минуту.

Открытие общежития для гимназисток Пермской Мариинской женской гимназии.

Отъезд Анастасьевых на зиму в Петербург, куда Александр Константинович вызван в Кохановскую комиссию. Вместе с тем он хлопочет о переводе на юг для здоровья жены, которая чахнет в су-

---

* Приложение к «Летописи» (см.: там же. л. 20—21об.: копия письма от 16 июля 1883 г. Е. В. Дягилевой к П. П. Дягилеву).

** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 21об.—24об.: копия письма от 25 августа 1883 г. Е. В. Дягилевой к Александре Валерьяновне Панаевой).

*** Приложение к «Летописи» (см.: там же, л. 25—36: запись Е. В. Дягилевой «Афанасий Павлович Эскин»).

ровом пермском климате. Провожая их, полюбившие их пермяки уверены, что они не возвратятся.

Вступаю в обязанности Татьяны Даниловны как председательницы общества, основавшего общежитие.

Между петербургскими и пермскими членами семьи происходит ряд недоразумений и временный разлад.

Отдел второй

Без родителей

1885 г.

Татуся выходит замуж 16 января.[4]

Поленька заболевает ревматизмом, схваченным на пожаре, где присутствовал в качестве атамана военной пожарной дружины.

Новый губернатор Лукошков. — Свадьба Прозоровских. — Проводы Александра Константиновича Анастасьева. — Проезд через Пермь в Иркутск Игнатьевых, когда Алексей Павлович назначен туда генерал-губернатором. — Поездка наша для лечения Поленьки. — Я уезжаю с детьми раньше в Байнево. — Письмо Ванюшки о намерении своем жениться. — Маня [5] проводит лето у Анастасьевых. — Мамаша проводит лето в Бикбарде с Кокушкой, его семьей, Ванюшкиными детьми и Таленькой, расставшейся с Кубитовичем и приютившейся у матери.

Молодые Карцовы и старые. — Наше посещение Кавалергардского полка в Красном Селе. — Поездка в Гапсаль. — Цукки.[6] — Последнее свидание мое с мамашей в Москве. — Ванюшка венчается в Москве с Александрой Максимовной Струевой [7] 30 августа. Отношение семьи к совершившемуся факту. — Манино горе. — Наша жизнь с детьми Ванюшки.[8] — Сам он поселяется с женой в Бикбарде. — Делами в Перми правит Поленька. — Кокушка уезжает. — В Перми появляется Сергей Быков.[9]

1886 г.

Зима проходит очень шумно. Маня выезжает и веселится. — Лето в лагерях. — Сережино путешествие по Волге.[10] — Манин роман и свадьба (12 ноября). Володенька Философов [11] женится на княгине Елизавете Николаевне Шаховской, урожденной Тепловой.

1887 г.

Первое появление в Перми Александры Максимовны женою Ивана Павловича. Проезд Гриши Голицына.* Постройка церкви при женской гимназии.** Приезд великого князя Михаила Николаевича.[12] — Карцовы приезжают к нам после сезона в Лондоне. Катастрофа в Борках [13] 17 октября и подношение по этому поводу государыне Марии Федоровне иконы от пермских матерей.

1888 г.

Костюмированный бал в военном собрании. — Смерть мамаши [14] (30 апреля). — Пожар завода в Бикбарде (1 мая). — Отправляем детей в Бикбарду с Карцовыми и сами с Поленькой остаемся в городе. — Скандалы в Бикбарде Надежды Эдуардовны.[15] — Женю Дягилеву [16] помещают в Смольный институт. — Надежда Эдуардовна переезжает в Петербург, где устраивается на квартире с Таленькой и сыновьями Ванюшки.

1889 г.

Петербургские скандалы с Надеждой Эдуардовной. — Рейзенауэр [17] концертирует в Перми.*** — Незнакомая нам парочка Щерба—Раввич застряла в Перми по дороге в Сибирь вследствие весенней распутицы и прогостили у нас два месяца. — Лето все вместе в Бикбарде с Карцовыми. Таленька переезжает в Пермь с сыновьями. — Визит в Бикбарду Рейзенауэра. — Поленька уезжает в Петербург с Пчеляковым хлопотать о делах. — Болезнь Ванюшки.

1890 г.

Сережа [18] дает средства на поездку Ванюшки за границу. Объявление несостоятельности Дягилевых 23 мая 1890 г. — Сережа кончает гимназию. — Везу его в Петербург. — Он уезжает за границу.**** — Возвращаюсь в Пермь и увожу Линчика, чтобы определить его в Третий корпус, что удается при помощи сестры.

Исповедь моего отца, геройская смерть его дочери Верочки. Разлука с Сонечкой Окшевской.***** В ноябре мы едем в Петербург с целью хлопотать о движении в Поленькиной службе. Проводы, устроенные нам пермским обществом. Один Лукошков отсутствует.

---

* Исторический концерт.

** Линчик поступает в гимназию.

*** Костюмированный бал у нас.

**** Дмитриевский готовит Линчика в корпус.

***** Юрий поступает в реальное училище.[19]

Часть четвертая

По миру
(1891—1913)

ЛЕТОПИСЬ

1891 г.

Зима, проведенная на Фурштатской у моих родителей. — Полюшка уезжает в Пермь, потому что отпуск его кончается и он не успел получить никакого другого назначения. — Я остаюсь для подготовления Юрия в корпус и для определения его туда. — Лето проводим все врозь.* Глубокой осенью оставляю уже окончательно детей в Петербурге и уезжаю в Пермь. — Возвращаюсь после шестимесячной разлуки с Поленькой. — Останавливаюсь у Таленьки в доме Сведомского,[2] где она открыла магазин, а Поленька живет у Баралевского.

1892 г.

Скоро, однако, переселяемся в домик Капачинского с тремя окошечками на улицу. — Даю уроки пения. — Ванюшка вернулся из-за границы в Петербург, хлопочет поступить на службу.** Болезнь Юрия. — Голод в Пермской губернии. — Последнее наше общественное дело в Перми — концерт в пользу голодающих. — Лукошков и Долгоруков.*** — Поленька едет в Казань хлопотать о себе. — Сатины предлагают нам провести лето на их квартире, зная, что мы ждем к себе детей. — Ожидание их приезда в Оханск. — Назначение Поленьки в лагерь на Ходынку. — Мы едем с ним. Он остался в Москве, мы едем в Байнево.**** — Осенью вновь разлука с детьми и возвращение в Пермь. — Поселяемся в доме Яковкина на Ямской. — Продолжаю давать уроки. Рягина Серова, ее история и приезд ее мужа на Рождество. — Смерть Михаила Александровича Сатина 4 декабря.

---

* Свадьба Вани Дягилева.[1]

** Признание судом дягилевской несостоятельности «несчастной».

*** Появление Настасьи Сергеевны Голубцовой после смерти мужа.

**** Викентий Альфонсович Поклевский-Ко́зел (его хамство).

1893 г.

Проезд супругов Щерба из Сибири с караваном золота. — Окончательный отъезд из Перми. Останавливаемся в Петербурге у Сережи на Галерной.[3] — Поленька получает полк. — Ванюшка перед этим только что получил место городского судьи в Хотине. — Поленька возвращается в Пермь для сдачи должности. Линчик с ним. — Я с другими в Байневе. Осенью едем в Балту и по дороге заезжаем в Барщен, который из захудалой усадьбы превратился в роскошное поместье после женитьбы Алешеньки Евреинова на Нине Васильевне Собашниковой. — Балта, Ставропольский полк. — Как мы там устраиваемся. — 8 ноября первый полковой праздник. — Мариша в Одессе. — Кокушка в Крыму. — Юленька в Варшаве. — Таленька осталась в Перми под покровительством губернатора Погодина, жена которого основала общину сестер милосердия и определила Таленьку начальницей. — Дети проводят с нами праздники в Балте. — Мы берем к себе Сонечку.[4]

1894 г.

Празднование 13 января годовщины взятия Геок-Тепе.[5] Спектакли в полку. — Ванюшка у нас на Пасхе. — Сережа приезжает из-за границы к нам. — Сонечку приглашает Маша Евреинова к себе для воспитания Оли Жекулиной, и Кика уезжает от нас в Барщен. Мои именины. — Смотры. — Ботвянов на именинах у Поленьки. Спиритический сеанс у Пазоховых. — Умань. — Маневры. — Сережа Шуленбург [6] и Линчик в Балте осенью. — Смерть государя 20 октября.[7]

Производство Поленьки в генералы 14 ноября. — Как мы узнали об этом и как полк встретил своего превосходительного командира. — Смерть Владимира Дмитриевича Философова 24 ноября. — Мы едем в Петербург в отпуск. Проводим праздники среди своих. — Свидание с Юленькой после нескольких лет. Она приезжает из Варшавы.

1895 г.

Вернувшись в Балту, мы проводим там немного времени, приходится ехать опять в Петербург по случаю заболевания Юрия дифтеритом. — Сережа присылает Линчика сообщить нам об этом, боясь напугать нас телеграммой. — Застаем Юрия вне опасности. — Поленька приезжает в Умань, где полк его стоит в лагере. — Он получает бригаду в 5-й пехотной дивизии, которая летом стоит в Батурине, зимой в Житомире. Я остаюсь с Юрием до его полного выздоровления, после которого Сережа уезжает за границу. — Провожу весну на Звенигородской у моих родителей, а на лето увожу маму в Батурино.* — Мечты о Ревеле. — Поленька не может дождаться приезда нового командира Ставропольского полка. — Про-

* Врангель хлопочет о переводе Поленьки в Петербургский округ.

водим осень в Умани. — Возвращаемся на один месяц в Балту. — Перевод полка в Каменец-Подольск. — Воинский поезд. — Полковой праздник в Каменце. — Свидания наши с Ванюшкой, который в двадцати пяти верстах от нас. — Стахиев, новый командир полка, принимает полк в затяжку. — Только в декабре прощаемся с полком. — Молебен, икона.

Приезжаем в Петербург к Сереже на Литейную и тотчас же выходит приказ о переводе Поленьки в 23-ю дивизию. Стоянка — Ревель.

1896 г.

Мы приезжаем в Ревель с детьми 4 января. — Мевесы. — Скалоны. — Общество. — Сергей Кубитович.[8] — На лето получаем казенную дачу в Скатеринтае, приглашаем к себе родителей.* — Поленька уходит в Красное Село. — Я еду в Знаменку к Татусе и тут выжидаю производства в офицеры Линчика. — Как случилось, что он попал в Вильно. — Пишу Анне Федоровне Пейкер, узнав от Александры Яковлевны Скалон, что Пейкеры в Вильне.

1897 г.

Смерть Кокушки в г. Велиже 9 февраля.

На <нрзб.> обедне в Петербурге встречаемся с Надеждой Эдуардовной, Женей [9] и ее мужем, Михаилом Ивановичем Олениным. — Проводы Мевесов. — Карцовы проводят лето у нас в Ревеле. — Поленька получает бригаду в Петербурге. — Поселяемся в сентябре на Сергиевской. — Возобновляем отношения со всеми родными и старыми друзьями. — Приезд Пейкеров из Вильно. — Мое знакомство с Сашенькой.[10] — Поленька заболел в декабре.

1898 г.

Болезнь его продолжается до Пасхи. — Весною едем на поправку в деревню к Мевесам (Эвермуйжа). Перевод Линчика в гвардию. — Он жених. — Появляется «Мир искусства».[11]

1899 г.

Пейкеры опять приезжают в Петербург. — Сватовство и скандалы.** — Мои родители разъезжаются. Мать остается с Сережей Шуленбургом, отец переезжает к своей второй семье (Макаровым). — Смерть Анны Федоровны 28 февраля.[12] — Сашу увозят за границу. — Препятствия и несогласие Алексея Николаевича на ее свадьбу.[13] — Поленька заболевает в мае. — Дима [14] ухаживает за ним. — Родзянки Мэри и Павлик выручают меня в тяжелую минуту.[15] —

* Амалия Литке приезжает в Ревель к сестре Мине фон Ганг, и мы видаемся.
** Столетие Кавалергардского полка 11 января.

Линчик и Саша женятся 5 июня. — Смерть отца моего в Петергофе 8 августа. — Производство Юрия в офицеры 9 августа. — Мы переезжаем на новую квартиру в Соляной переулок вместе с Линчиком и Сашей. — Сережа [16] поступает на службу в Министерство двора чиновником особых поручений при директоре. — Выставка в зале Штиглица.[17] — Царь и царица. — Наша серебряная свадьба 14 октября. Появляется Яшинька Карель. — Паренсовы гостят из Варшавы.* — Ванюшка из Хотина. — Всенощная накануне Рождества и спевки к ней. — Таня Луговская.[20]

1900 г.

Поленька назначается председателем строительной комиссии в Петергофе, куда мы решаемся переехать на житье. — Рождение первого нашего внука Павлика [21] на Фонтанке № 17 на квартире у Карцовых 26 мая. — Поленька уезжает лечиться в Саки, его сопровождает Сережа Кубитович (Кунька).[22] — Сережа получает от государя субсидию для «Мира искусства». — Линчик поступает в Академию Генерального штаба. — Начинается постройка каспийских казарм.

1901 г.

Разлад Сережи с Волконским.[23] — Саша мирится с отцом. — Операция Жоржа Карцова. — Свадьба Сергея Шуленбурга и Прасковьи Александровны Кехли 15 апреля. — Рождение второго внука нашего Алеши [24] 6 октября в Манежном переулке.

1902 г.

Религиозно-философские собрания (смотреть мои записки о заседаниях).**[25] Лето в Петергофе: моя мать, Шуленбурги, Линчик, Карцовы, Паренсовы (переселяются из Варшавы в Петербург). — Фальшивая беременность императрицы. — Спектакли у Квашниных- Самариных. — Александра Андреевна Толстая [26] приезжает в Петергоф, и я часто вижусь с ней.*** Знакомство с Арсеньевыми и вечера у них.

1903 г.

Скандалы с Таубе и Поппеном обостряются; их поддерживает Мейендорф. — Рождение Миши Шуленбурга 5 марта.[27] — Освящение церкви Каспийского полка в присутствии государя и государыни 22 июня. — Представляюсь им. — Встречаюсь с великим князем Михаилом Николаевичем у графини Толстой. — У нее же разговор с Жуковским о Сереже. — Интересные и талантливые записки графини Александры Андреевны,

---

* Настасья Сергеевна Голубцова поселяется в Петербурге. Мои встречи (две) с Соловьевым [18] у Фроловских.[19]

** Быковы в Петербурге.

*** Закладка церкви Каспийского полка в присутствии государя 30 июня.

ее рассказы и воспоминания и вообще отрадные часы, которые я проводила около нее. Княжна Мария Михайловна Дундукова-Корсакова. — Бадмаев.[28] — У Алеши дифтерит. — Патя гостит у нас в Петергофе. — Рождение внучки нашей Анны [29] в Саперном переулке № 13 24 декабря.

1904 г.

Объявление войны.[30] — Смерть графини Александры Андреевны Толстой 1 апреля. — Поленька получает назначение начальника местной бригады в Одессу, и мы уезжаем туда 2 июня. — Там соединяемся опять с Маришей, муж которой профессором в Новороссийском университете,[31] и с Ванюшкой, который только что перед этим переведен из Хотина в Аккерман.* Маленькая Анна умирает от воспаления в легких 6 ноября. — Первый навещает нас в Одессе Юрий. Встреча наша с Марией Ивановной Герценвитц.[32] — Одесское общество.

1905 г.

Екатерина Александровна Мизькова. — Посоховы. — Штакельберг. — Переговоры о женитьбе Юрия. — Он делается женихом весной. Я еду в Петербург одна в мае. — Поленька приезжает позднее. — У него в Одессе проводят два дня Мережковские.[33] — Свидания мои с Мережковскими в Петергофе. — Выставка в Таврическом дворце.[34] Семья Ольхиных. — Юрина свадьба 29 июня.[35] — Возвращаемся в Одессу, где во время нашего отсутствия разыгралась история с «Потемкиным».[36] — Забастовки. — Революция.**

1906 г.

Линчик и Сашенька с детьми проводят у нас месяц в Одессе. — Ванюшка выходит в отставку. — Получаем известие о рождении внука, сына Юрия и Тани (Димочка) 4 мая.[37] — Ванюшка уезжает в Москву к Мите,[38] надеясь поселиться там, но у них что-то не ладится. — Ванюшка переезжает на Сиверскую к Быковым на лето, а осенью к нам в Одессу. Мы проводим часть лета в Петергофе у Линчика на даче Крамарева. — При нас совершается убийство Мина.[39] — Возвращаемся в Одессу в двадцатых числах августа, а Ванюшка умирает у нас от воспаления легких 21 сентября. — Сережа начинает свои заграничные предприятия.[40]

1907 г.

Поленька выходит в отставку. — Мы едем в Петергоф и поселяемся на Разводной в доме Крамарева. — Пьер Паренсов получает как раз перед этим коменданта Петергофа. — Линчик с семьей тоже поселяется в Петергофе. — Сюда же переезжают на постоянное житель-

---

* Херсон. Рождение наследника 3 июня. Государь приезжает в Одессу.

** Знакомимся в Одессе с Ирой Горяиновой.

ство моя мать и Сергей Шуленбург. — Юрий выходит в отставку и поселяется с семьей у нас. — Няню [41] тоже перевозят к нам. — Одна только Мариша остается еще в Одессе, но ненадолго, так как Иван Иванович выйдет скоро в отставку, уедет за границу, а она переселится в Петербург и будет жить с Маришей Домилунксен.[42] — Осенью выясняется необходимость операции для меня. 18 октября везут в больницу. — 28 октября делает мне операцию профессор Николай Николаевич Фономенов. 21 ноября возвращаюсь домой.

1908 г.

Пожар у нас в няниной комнате. — У ней вторичный удар. — Юрий получает место управляющего Кустарным музеем. — Они проводят лето в Александровке (Именье Ольхиных).*

1909 г.

Мы переезжаем в марте на Ольгинскую, 11. Паренсовы рядом с нами. — Светицкие нанимают на лето нашу дачу, мы же собираемся в Крым с Карцовыми, но не едем, а остаемся в Петергофе у Линчика сначала,** потом у Паренсовых. — Няня умирает у нас 29 сентября. Похоронена на Петергофском кладбище.

1910 г.

В Боровенце основывается ткацкая мастерская.

1911 г.

У Линчика и Сашеньки родился третий сын, Сергей, 25 февраля.[43]

1912 г.

Смерть Ноночки.
Смерть моей матери 20 сентября.
Павлик Дягилев [44] поступает в Пажеский корпус.

1913 г.

Смерть Алексея Николаевича Пейкера 30 мая.
Смерть Марьи Александровны Ольхиной [45] 6 октября.

---

* Дима и Мережковские возвращаются из Парижа. Сережа Кубитович женится 20 июня.

** Празднуем десятилетие свадьбы Линчика.

Комментарии

Рукопись Е. В. Дягилевой, озаглавленная автором «Семейная запись о Дягилевых», хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН — ф. 102 (Дягилевых), ед. хр. 1. Материал представляет собой, во-первых, неполный второй машинописный экземпляр текста (л. 1—65), на котором рукой, по-видимому, Д. В. Философова, сделана карандашная помета: «тете Леле», то есть Елене Валерьяновне Дягилевой (л. 1). Здесь же рукой самой Е. В. Дягилевой написано: «К сожалению, те поправки, которые были сделаны мною, когда я узнала, что будут взяты отсюда выдержки для печати, не были приняты во внимание. Елена Дягилева». Скорее всего, здесь речь идет о том, что воспоминания были предоставлены А. Тырковой для ее работы над книгой «Анна Павловна Философова и ее время» (Пг., 1915).

В этой же единице хранения находится и полный (в его законченном виде) текст воспоминаний: л. 66—242 — машинопись; л. 243—298 — рукописное продолжение.

В Институте русской литературы находятся также 18 тетрадок Е. В. Дягилевой с черновым текстом ее воспоминаний (ф. 102, ед. хр. 2).

В настоящем издании мемуары печатаются по полному тексту (ед. хр. 1, л. 66—298). В той части воспоминаний, которые имеются в машинописи, отдельные фрагменты зачеркнуты. Везде, где удалось их прочитать, они восстанавливаются; в тех случаях, когда текст не поддается прочтению, ставится многоточие в угловых скобках и делается соответствующая оговорка в комментариях. Звездочкой в тексте воспоминаний помечены примечания Е. В. Дягилевой, которые печатаются в сносках внизу страницы. Цифрами обозначены отсылки к настоящим комментариям.

Рукопись печатается полностью, без сокращений. Дореволюционная орфография приведена в соответствие с современными правилами; то же касается и пунктуации. Из характерных особенностей пунктуации мемуаристки сохранены лишь многоточия, которые отражают лирическую интонацию ее повествования. Все сокращения слов при публикации раскрываются без специальных оговорок.

Даты до 1918 г. даются по старому стилю, после 1918 г. — по новому.

В комментариях приняты следующие сокращения:

Бенуа — *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания / Изд. подгот. Н. И. Александрова, А. Л. Гришунин, А. Н. Савинов, Л. В. Андреева, Г. Г. Поспелов, Г. Ю. Стернин, М., 1980. Кн. 1—3 и 4—5.
Лифарь — *Лифарь С.* Дягилев. СПб., 1993.
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
Тыркова — *Тыркова А. В.* Анна Павловна Философова и ее время. Пг., 1915.

Имена членов царствующей фамилии Романовых комментируются по материалам издания: Дом Романовых / Сост. П. Х. Гребельский и А. Б. Мирвис. Л., 1989—1990. Ч. 1—2. Имена музыкальных деятелей — по изданию: Музыкальная энциклопедия. М., 1973—1982. Т. 1—6.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

[1] *Бикбарда* — «Бикбардинское село, Пермской губ. Осинского уезда, в 90 вер<стах> к ю<гу> от г. Осы, при пруде, образуемом рр. Бикбардою и Солодовкою. Винокуренный завод, выкуривающий 10041000° спирта» (Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1891. Т. 3, кн. 6. С. 836).

[2] К сожалению, в настоящее время этот знаменитый балкон, которому посвящены многие страницы воспоминаний Е. В. Дягилевой, не сохранился.

[3] *Меньшой сын* — Юрий Павлович Дягилев, младший брат С. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 61) и пояснения к ней.

[4] См. «Родословную Дягилевых» (№ 13, 22—30) и пояснения к ней.

[5] in corpore (*лат.*) — в полном составе.

[6] air de famille (*франц.*) — родовое сходство.

[7] Интересно, что этот дух семьи Дягилевых, так точно переданный автором записок, сохранился и спустя десятилетия в семье ее внука Сергея Валентиновича Дягилева. И в норильской ссылке, и в ленинградской квартире, куда семья вернулась после реабилитации, были то же музицирование, то же гостеприимство и даже такие же цитаты из классиков русской и западной литературы, органично входившие в жизнь. Дягилевский дух сохранился, несмотря на все пережитые невзгоды (примечание Е. С. Дягилевой).

Часть I. ДО МЕНЯ

[1] В рукописи на титульном листе (л. 67) внизу имеется помета чернилами Е. В. Дягилевой: «В этой части заключается все, что мне известно о семье мужа до вступления мною в нее».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

[1] Эпиграфом к этой главе послужила несколько измененная мемуаристкой строка из басни И. А. Крылова «Лебедь, щука и рак». В оригинале у И. А. Крылова: «Кто виноват из них, кто прав — судить не нам».

[2] *Ноночка* — домашнее имя Анны Павловны Дягилевой (в замужестве Философовой), старшей дочери П. Д. и А. И. Дягилевых. См. «Родословную Дягилевых» (№ 22) и пояснения к ней.

[3] *Юленька* — младшая дочь П. Д. и А. И. Дягилевых Юлия Павловна Дягилева (в замужестве Паренсова). См. «Родословную Дягилевых» (№ 30) и пояснения к ней.

[4] См. «Родословную Литке» (№ 6, 11, 12) и пояснения к ней.

[5] *Константин Николаевич*, великий князь (1827—1892) — второй сын Николая I. С 1850 г. — член Государственного Совета и председатель Комитета по пересмотру морского устава; с 1855 по 1881 г. — управляющий Морским министерством; с 1865 по 1881 г. — председатель Государственного Совета. Отец Константина Константиновича, президента Академии Наук, поэта, писавшего под псевдонимом К. Р.

[6] *Сергиевский всей артиллерии собор* (угол Литейного пр. и Сергиевской ул.). Закрыт для богослужения 31 мая 1932 г. В 1934 г. разрушен и на его месте выстроен «Большой дом» (Управление внутренних дел).

[7] По семейному преданию, это был не тысячерублевый билет, а пачка сотенных купюр на общую сумму пять тысяч рублей (примечание Е. С. Дягилевой). См. также: *Лифарь*. С. 17.

[8] *Киселев Павел Дмитриевич* (1788—1872) — граф, участник войны 1812 года и турецкой кампании 1828—1829 гг. Как правитель Молдавии и Валахии, много сделал для улучшения быта этих княжеств. С 1837 г. — министр государственных имуществ. Улучшил положение казенных крестьян, был противником крепостного права. О П. Д. Киселеве см.: Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1895. Т. 15, кн. 29. С. 154—155.

[9] *Вронченко Федор Павлович* (1779—1852) — министр финансов. Современниками характеризуется как рутинер. К концу царствования Николая I, благодаря его неудовлетворительным действиям, долг России составил огромную сумму, свидетельствующую о кризисе финансовой системы страны. О Ф. П. Вронченко см.: Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1892. Т. 7, кн. 13. С. 376—378; Новый энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., [1913]. Т. 11. С. 860.

[10] *Сведомский Михаил Гаврилович* — брат мужа Татьяны Дмитриевны Дягилевой, сестры П. Д. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 11).

[11] *Мать П. Д. Дягилева* — Мария Ивановна (урожденная Жмаева). См. «Родословную Дягилевых» (№ 6) и пояснения к ней.

[12] См.: *Лесков Н. С.* Мелочи архиерейской жизни // *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 11-ти т. М., 1957. Т. 6. С. 398—538. Епископу Неофиту (Соснин, 1795—1868; епископ Пермский с 1851 по 1868 г.) посвящены главы 10—11 данного произведения (с. 465—480), где он обозначен криптонимом Н-т, причем в первом издании своей книги писатель нигде не указывал, что его герой управлял именно Пермской епархией (сказано: «в отдаленной восточной епархии»). П. Д. Дягилев же выведен Н. С. Лесковым как «г-н N, очень богатый и чрезвычайно набожный человек» (с. 465). Тем не менее оба персонажа были узнаны пермской публикой. Известно, что «Мелочи архиерейской жизни», впервые опубликованные отдельным изданием в 1879 г., были болезненно восприняты русским духовенством, усмотревшим в произведении поклеп и карикатуру на представителей высшей церковной власти. Протоиерей Е. А. Попов, в частности, в своей книге «Великопермская и Пермская епархия. 1379—1879» (Пермь, 1879) посвятил епископу Неофиту ряд страниц (с. 306—319), полемически заостренных против Н. С. Лескова. В свою очередь, Н. С. Лесков ответил на критику

Е. А. Попова (и А. И. Предтеченского) в газете «Новое время» статьями «Из мелочей архиерейской жизни» (1879. 5 нояб., № 1325. С. 2 — без подписи) и «Последнее слово о „Мелочах“» (1879. 10 нояб., № 1330. С. 3). В связи с названной полемикой в последующих изданиях «Мелочей архиерейской жизни» писатель посчитал возможным сделать следующее примечание, фактически подтверждающее догадку Е. А. Попова о подлинных именах героев 10 и 11 глав: «Известный автор сочинения о том, каким святым в каковых случаях надо молиться, пермский протоиерей Евгений Попов напечатал, будто весь наступающий рассказ, конечно очень несправедливый, касается одного *пермского* епископа и *пермского* же помещика г-на П. Д. Дягилева. Пусть это так и остается, как постарался выяснить правдивый протоиерей Евгений Попов» (с. 465).

13 *Дормез* — покойный дорожный экипаж, в котором можно во время езды удобно спать.

14 *Призыв депутатов* — прежде чем приступить к освобождению крестьян, император Александр II провел большую подготовительную работу. Он лично объезжал все губернии, знакомясь с положением дел на местах. Было создано последовательно несколько комитетов для разработки проектов освобождения. Для этих же целей созывались представители дворянства (депутаты).

ГЛАВА ВТОРАЯ

1 В качестве эпиграфа мемуаристкой выбрано стихотворение Генриха Гейне из цикла «Лирическое интермеццо»:

Чудесным светлым майским днем,
Когда весь мир в цветенье,
В душе моей раскрылась
Любовь в одно мгновенье.

(*Гейне Г.* Собр. соч.:
В 10-ти т. М., 1956.
Т. 1. С. 56 — перевод В. Зоргенфрея.)

2 *Штиглиц Людвиг Иванович* (1778—1843) — крупный российский банкир, оказывавший финансовую поддержку Коммерческому училищу, основанному еще в XVIII в. При училище существовал пансион, славившийся в 1830-е — 1840-е гг. О Л. И. Штиглице см.: Русский биографический словарь. СПб., 1911. Т. 23: Шебанов—Шютц. С. 427—428.

3 *Жанушка* — домашнее имя Ивана Павловича Дягилева, старшего сына П. Д. и А. И. Дягилевых. См. «Родословную Дягилевых» (№ 23) и пояснения к ней.

4 Камеральный факультет изучал науки, относящиеся к государственному и народному хозяйству (политическая экономия, теория финансов, статистика, сельское хозяйство и т. д.). Камералистика — направление в развитии германской экономической мысли XVII—XVIII вв. — представляла собой совокупность административных и хозяйственных знаний по ведению камерального (дворцового, в широком смысле — государственного) хозяйства.

5 *Шуберт Карл Богданович* (1811—1863) — виолончелист, композитор, музыкальный деятель; по национальности немец. С 1835 г. жил и работал в России; с 1842 г. до конца жизни — директор Петербургского филармонического общества. С момента основания Петербургской консерватории (1862 г.) был ее профессором.

[6] *Зейферт Иван Иванович* (1833 — после 1914) — виолончелист; по национальности чех. С 1852 г. жил в Петербурге; до 1889 г. был солистом оркестра Мариинского театра; в 1862—1910 гг. преподавал в Петербургской консерватории. См.: *Зейферт И. И.* Воспоминания профессора Петербургской консерватории. Пг., 1914.

[7] *Альбрехт* — или Карл Францевич Альбрехт (1807—1863) — немецкий музыкант, скрипач, бывший в 1840—1850 гг. дирижером в Петербурге; или, скорее всего, его сын Л. К. Альбрехт, ученик К. Б. Шуберта.

[8] *Пиккель Иван Христианович* (1829—1902) — скрипач; по национальности немец. С 1847 г. жил в Петербурге.

[9] *Вейхман* — вероятно, И. А. Вейхман. «Знаменитый впоследствии струнный квартет», о котором говорится в воспоминаниях Е. В. Дягилевой, существовал в разном составе, начиная с 1850-х гг. при Петербургском отделении Русского музыкального общества.

[10] ул. Фурштатская, д. 13 (Петербург).

[11] *Кокушка* — домашнее имя Николая Павловича Дягилева, младшего сына П. Д. и А. И. Дягилевых. См. «Родословную Дягилевых» (№ 29) и пояснения к ней.

[12] *Рубинштейн Антон Григорьевич* (1829—1894) — пианист, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Гравюра, о которой ниже идет речь, действительно очень известна; автор ее — литограф А. И. Лебедев. См.: Музыкальный вечер у А. Г. Рубинштейна / Литограф А. Лебедев. СПб.: лит. А. Мюнстера, 1860.

[13] *Старшая сестра* — Анна Павловна Дягилева (в замужестве Философова), старшая дочь П. Д. и А. И. Дягилевых.

[14] Робильяр (Robillard) Ипполит — художник, француз по национальности. С 1842 по 1856 г. жил в Петербурге. Портрет А. П. Философовой был написан в последний год его пребывания в России. Видимо, именно этот портрет под названием «Дама в голубом» описывает В. В. Розанов в своей статье, приведенной мемуаристкой в ее воспоминаниях (см. с. 118 настоящего издания). Портрет А. П. Философовой выставлялся на выставке, устроенной С. П. Дягилевым в 1905 г. (см.: Каталог историко-художественной выставки русских портретов 1905 года. СПб., 1905). О Робильяре см.: Русский биографический словарь. СПб., 1913. Т. 16: Рейтон — Рольцберг. С. 271. Воспроизведение портрета см.: *Тыркова*.

[15] *Рокотова Мария Николаевна* (домашнее имя Маценка) — первая жена И. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 23) и пояснения к ней.

[16] *Соллогуб Владимир Андреевич* (1813—1882) — граф, русский писатель, автор повестей «Лев», «Медведь», «Большой свет», «Тарантас», комедий, воспоминаний о Пушкине и Гоголе. Хозяин литературно-музыкального салона. Служил в Министерстве иностранных дел. Стихотворение «Пермитянка», посвященное В. А. Соллогубом М. Н. Рокотовой, кажется, ранее нигде не публиковалось.

[17] *Мариша* — домашнее имя Марии Павловны Дягилевой (в первом браке — Корибут-Кубитович, во втором — Луньяк), второй дочери П. Д. и А. И. Дягилевых. В семье ее звали также Шурушка. См. «Родословную Дягилевых» (№ 24) и пояснения к ней.

[18] *Марк Волохов* — персонаж романа И. А. Гончарова «Обрыв» (1869), образ нигилиста в русской литературе.

[19] *Дмитрий Иванович* — Д. И. Фомин, управляющий в Бикбарде.

[20] *Ноночка и Владимир* — Анна Павловна Дягилева (Философова) и ее муж Владимир Дмитриевич Философов. О В. Д. Философове см. в пояснениях к № 22 «Родословной Дягилевых».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1 В качестве эпиграфа мемуаристкой выбрана строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Зеленый Шум».

2 *Таленька* — домашнее имя Натальи Павловны Дягилевой (в первом замужестве Антиповой, во втором — Кубитович), третьей дочери П. Д. и А. И. Дягилевых. См. «Родословную Дягилевых» (№ 25) и пояснения к ней.

3 Письмо сохранилось (см.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 148, л. 5—7 — письмо от 29 апреля 1879 г.).

4 On peut rester cent à respirer la même rose (*франц.*) — запах одной и той же розы можно вдыхать сотню раз.

5 *Мишенька* — домашнее имя Михаила Павловича Дягилева, второго сына П. Д. и А. И. Дягилевых. См. «Родословную Дягилевых» (№ 26) и пояснения к ней.

6 *Поленька* — домашнее имя Павла Павловича Дягилева, четвертого сына П. Д. и А. И. Дягилевых, в будущем мужа мемуаристки. См. «Родословную Дягилевых» (№ 28) и пояснения к ней.

7 Jolie laide (*франц.*) — прелестная дурнушка.

8 abbé poudré (*франц.*) — аббата в парике.

9 *Кампания 1877 г.* — русско-турецкая война 1877—1878 гг., закончившаяся освобождением Болгарии от пятисотлетнего турецкого ига.

10 *Стремоухов Петр Николаевич* (ум. 1885) — директор Азиатского департамента. См.: Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1901. Т. 31, кн. 62. С. 795.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1 В качестве эпиграфа мемуаристкой выбран отрывок из песни Баяна из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (либретто В. Ф. Ширкова при участии Н. А. Маркевича, Н. В. Кукольника и М. А. Гедеонова; 1842 г.).

2 *Кавалергардский полк* — один из самых привилегированных полков России, ведущий свою историю от почетного конвоя императрицы Екатерины I, сформированного ко дню ее коронования, которая затем его возглавила в чине капитана. С той поры шефами полка всегда были императрицы. В 1826—1860 гг. шефом полка была императрица Александра Федоровна (супруга Николая I); с 1881 г. его шефом стала императрица Мария Федоровна (супруга Александра III). Полк отличился в войне с Наполеоном — геройски сражался в битвах при Аустерлице, Бородине и Кульме.

3 *Юленька* — см. примечание № 3 к главе первой I части.

4 *Институт* — Смольный институт для благородных девиц.

5 *Николай Николаевич*, великий князь (1832—1891) — третий сын Николая I. В роду Романовых прозван Старшим (в отличие от Николая Николаевича Младшего, его сына). С 1855 г. — член Государственного Совета; с 1864 по 1880 г. — командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа; одновременно в 1864—1891 гг. — генерал-инспектор кавалерии. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. был главнокомандующим Дунайской армии.

6 *Авдотья Александровна* — А. А. Зуева, «няня Дуня», вынянчившая всех трех сыновей П. П. Дягилева. Умерла в Петергофе 29 сентября 1909 г. в доме П. П. и Е. В. Дягилевых.

7 *Евреинова Варвара Николаевна* — мать первой жены П. П. Дягилева, Евгении Николаевны (Жени́). Дворянский род Евреиновых происходит от

выходца из Польши Матвея Григорьевича Евреинова, бывшего в начале XVIII в. первостатейным купцом в Москве и Петербурге. Его сын, Яков Матвеевич (ум. в 1772 г.), был при Петре Великом консулом в Кадиксе, при Елизавете Петровне — дипломатическим агентом в Голландии и с 1753 г. — президентом Коммерц-коллегии. Этот род внесен в VI ч. родословных книг Московской, Курской, Новгородской и Витебской губ. См.: Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797-м году. СПб., [18...]. Ч. 9. № 131, а также Новый энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1914. Т. 17. С. 236.

8 *Мария Федоровна* (1847—1928) — супруга (с 1866 г.) цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III), будущая императрица России, дочь датского короля Христиана IX, мать последнего императора России Николая II.

9 *Юсуповский сад* — расположен на Садовой улице в Петербурге. Название получил от владельцев князей Юсуповых. В 1860-е гг. принадлежал Ведомству путей сообщения, которое с 1863 г. сделало сад общедоступным (см.: Петербургское обозрение // Северная пчела. 1863. 24 апр., № 107. С. 429). Сад сыграл значительную роль с становлении фигурного катания в России.

10 *Измайловские казармы* — дом (ныне д. 2 на Измайловском проспекте; архитектор Л. Руска, конец XVIII в.), построенный специально для офицеров Измайловского полка. В XVIII—XIX вв. на нынешней территории 1—12-й Красноармейских улиц размещались роты Измайловского полка.

11 *Никола Морской* — Никольский (Николо-Богоявленский) собор в Петербурге; построен в 1753—1762 гг. (архитектор С. И. Чевакинский) на месте плаца Морского полкового двора. Св. Николай-чудотворец всегда почитался как покровитель мореплавателей, что и определило прозвание собора «морской».

12 *Наталья Павловна* — Н. П. Дягилева (Таленька), третья дочь П. Д. и А. И. Дягилевых, бывшая в это время уже замужем за А. И. Антиповым.

13 *Николай Константинович*, великий князь (1850—1918) — сын великого князя Константина Николаевича (см. примечание № 5 к первой главе), внук Николая I.

14 *Варвара Николаевна* — В. Н. Евреинова, мать Жени́.

15 *Сервиз от Кача* — Карл Вильгельм Кач, купец первой гильдии, содержал магазин мельхиоровых изделий на Михайловской ул., д. 3.

16 Partie de plaisir (*франц.*) — увеселительная прогулка.

17 *В Павловск на музыку* — с 1838 г. в Павловске был построен по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера «Воксал», служивший первоначально залом-рестораном с развлекательной музыкой и постепенно превратившийся в концертный зал. Здесь в летние музыкальные сезоны выступали оркестры под управлением Г. Германа (1839—1844), Иоганна Гунгля (1845—1848), Йозефа Гунгля (1850—1855). В 1856—1865 и 1869 гг. здесь дирижировал Иоганн Штраус. Летом 1871 г. в Павловске дирижером был Г. Мансфельд.

18 В рукописи данный абзац, начиная со слов «бессмысленное создание», перечеркнут.

19 *Александра Павловна* — А. П. Хитрово, тетка Жени́, которая упоминалась выше.

20 *Паренсов Петр Дмитриевич* — будущий муж Юлии Павловны Дягилевой. О нем см. в пояснении к № 30 «Родословной Дягилевых».

21 Кокушка, то есть Николай Павлович Дягилев, был в это время опасно болен.

[22] Читать каждое слово справа налево: «Зачем ты заболел, выздоравливай поскорей. Павел Дягилев».
[23] *Александр Николаевич* — лицо неустановленное.
[24] *Термен (Тэрмен) Эмилий Федорович* — детский врач и семейный друг Дягилевых.
[25] *Новорожденный* — Дмитрий Владимирович Философов (1872—1940), сын А. П. и В. Д. Философовых. В будущем литературный критик, публицист. Один из ведущих сотрудников журнала «Мир искусства», руководитель его литературного отдела. Был близок с З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским. В рукописном отделе ИРЛИ хранятся неопубликованные воспоминания Д. В. Философова, начатые им в 1915 г. (см.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 188, 5 тетрадей). В 1920 г. Д. В. Философов, не принявший революцию, эмигрировал из России и обосновался в Варшаве, где и скончался. См.: «Родословную Дягилевых» (№ 43), а также литературу, посвященную С. П. Дягилеву.
[26] В рукописи воспоминаний дата отсутствует. Нет ее и в оригинале письма. См.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 43, л. 7—8. Оригинал следующего письма (от 5 мая 1872 г.) хранится там же (л. 9—10). Текст цитируемых мемуаристкой писем выверен по оригиналу. Разночтения специально не оговариваются.
[27] *Баландин Илья Федосиевич* (1834—1893) — известный гинеколог и акушер; директор С.-Петербургского повивального института. О И. Ф. Баландине см.: Русский биографический словарь. СПб., 1900. Т. 2: Алексинский — Бестужев-Рюмин. С. 441—442.

ГЛАВА ПЯТАЯ

[1] В качестве эпиграфа мемуаристкой избран несколько измененный фрагмент из стихотворения Л. Семенова «Сказка про Белого Бычка». В оригинале:

У старухи все одно,
все жужжит веретено.
Песнь уныла и скучна,
бесконечно нить длинна.
  Развивается клубок:
  вот геройство, вот порок...

(см.: *Семенов Л.* Собрание стихотворений. СПб., 1905. С. 49).
[2] *Валансьены* — кружева, изготовлявшиеся на мануфактурах г. Валансьен во Франции; дорогая продукция.
[3] *Протейкинский Александр Петрович* — двоюродный брат молодых Дягилевых, сын Елизаветы Дмитриевны Протейкинской (сестры П. Д. Дягилева). См. «Родословную Дягилевых» (№ 15, 36) и пояснение к № 6 данной родословной.
[4] Здесь цитируются отдельные строки из стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье, трели соловья».
[5] Здесь в рукописи зачеркнута одна строка, прочесть которую не удалось.
[6] Далее повествование Е. В. Дягилевой резко меняет свою стилистическую тональность: мемуарно-художественный стиль, бывший ранее, уступает место беллетристическому.
[7] *Мусин-Пушкин Александр Иванович* (1827—1903) — командир Кавалергардского полка с 1866 по 1873 г. См.: Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908 г. / Сост. под ред. С. Панчулидзева. СПб., 1908. С. 157—159.

[8] *Полуимперьял* — золотая монета достоинством в 5 рублей. Этим словом назывался также богатый человек, «золотой мешок».

[9] *Известная сестра* — Долгорукая (Долгорукова) Екатерина Михайловна (1847—1922), вторая (морганатическая) жена (с 1880) Александра II, с которой он вступил в брак сразу же по окончании сорокадневного траура по умершей императрице Марии Александровне (1824—1880). Связь Александра II с Е. М. Долгоруковой началась задолго до смерти императрицы. У Е. М. Долгоруковой было трое детей от императора. Став морганатической супругой Александра II, Е. М. Долгорукова получила титул светлейшей княгини Юрьевской, унаследованный ее детьми.

[10] *Loulou* (*франц.*) — Лулу (уменьшительное имя, здесь от имени Ольга).

[11] *Mary Herzenwitz* (ci-devant Dolgorouki) — Мари Герценвитц (бывшая Долгорукова).

[12] *Антипов Алексей Иванович* — брат Антипова Александра Ивановича, деверь Н. П. Дягилевой-Антиповой (Таленьки).

[13] Далее в рукописи вычеркнуто две строки, прочесть которые не удалось.

[14] *Полюшка* — еще одно, наряду с Поленькой, домашнее имя П. П. Дягилева. М. П. Дягилева-Корибут (Мариша) в это время жила со своими детьми вместе с братом.

[15] *«Виндзорские кумушки»* — несколько сокращенное название комедии В. Шекспира «The merry wives of Windsor» (1598), которое во времена Е. В. Дягилевой переводилось как «Веселые Виндзорские кумушки» (СПб., 1879; перевод Н. И. Шульгина и П. И. Вейнберга). Другие переводы названия пьесы: «Виндзорские проказницы» (П. И. Вейнберг), «Веселые Виндзорские жены» (П. А. Кашин), «Виндзорские насмешницы» (С. Я. Маршак и М. М. Морозов).

[16] *У Донона* — знаменитый в Петербурге ресторан (наб. Мойки, 24).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

[1] «Un di, se ben ramento mi» (*итал.*) — «Однажды, я вспомню!..» Эпиграфом к этой главе мемуаристкой избрана строка из оперы Дж. Верди «Риголетто».

[2] *Лелеша* — домашнее имя Елены Валерьяновны Панаевой (в замужестве Дягилевой), второй жены П. П. Дягилева, автора публикуемых мемуаров. См. «Родословную Панаевых» (№ 33) и пояснения к ней.

[3] Pardon, mademoiselle (*франц.*) — извините, мадемуазель.

[4] Nous avons étés entouré de casquettes blanches (*франц.*) — вокруг нас одни белые каски (кавалергардов).

[5] A été mélancolique (*франц.*) — пребывал в меланхолии.

[6] Je suis engagé, merci! (*франц.*) — благодарю, я уже приглашен!

[7] *Саша* — Александра Валерьяновна Панаева (в замужестве Карцова), сестра Е. В. Панаевой-Дягилевой. См. «Родословную Панаевых» (№ 34) и пояснения к ней.

[8] *Отец Е. В. Панаевой* — Валерьян Александрович Панаев. См. «Родословную Панаевых» (№ 18) и пояснения к ней.

[9] *«на траве»* — последнее перед зимними казармами пребывание кавалерии в летнем лагере.

[10] *Лина* — Валентина Валерьяновна Панаева (в замужестве графиня Шуленбург), младшая сестра Е. В. Панаевой-Дягилевой. См. «Родословную Панаевых» (№ 35) и пояснения к ней.

11 *Панаева Софья Михайловна* (урожд. Мельгунова) — мать сестер Панаевых, жена Валерьяна Александровича Панаева. См. «Родословную Мельгуновых и Квашниных-Самариных» (№ 7).
12 *Жених Лины* — граф Иван Карлович Шуленбург.
13 *Государь* — император Александр II (1818—1881, царствовал с 1855 по 1881 гг.).
14 Jadis j'ai beaucoup dansé (*франц.*) — раньше я танцевал много.
15 «Ut» (лат.) — нота «до».
16 Здесь в рукописи зачеркнуты две строки, которые прочитать не удалось.
17 *Татик, Татуся* — домашнее имя А. В. Панаевой-Карцовой, сестры Е. В. Панаевой-Дягилевой.
18 *Евреиновы* — по-видимому, Алексей и Мария Евреиновы не были родственниками Евгении Николаевны Евреиновой (Дягилевой).
19 *Старшая Панаева* — Елена Валерьяновна.
20 *Александр Иванович* — А. И. Антипов, муж Н. П. Дягилевой-Антиповой.
21 *Старшая дочь Н. П. Дягилевой-Антиповой* — Наталья Александровна. См. «Родословную Дягилевых» (№ 53).
22 «Москаль-чарівнік» — комическая украинская опера в одном действии (музыка А. С. Гурьянова, текст И. П. Котляревского, 1840 г.).
23 *Мария Павловна* — М. П. Дягилева-Корибут (Мариша).
24 *Александра Валерьяновна* — А. В. Панаева-Карцова.
25 Petits jeux (*франц.*) — салонные игры.
26 Morceaux d'ensemble (*франц.*) — отдельные оперные ансамбли.
27 *Ниссен-Саломон (Саломан) Генриетта* (1819—1879) — певица (сопрано) и педагог; по национальности шведка. С 1860 г. жила в России; по приглашению А. Г. Рубинштейна была педагогом в петербургских классах Русского музыкального общества. В 1862—1872 и 1878—1879 гг. — профессор Петербургской консерватории.
28 «Гугеноты» — опера Джакомо Мейербера (1836 г.) по роману П. Мериме «Хроника Карла IX».
29 *Квартет «Риголетто»* — знаменитый квартет из IV действия оперы Дж. Верди «Риголетто» (1851 г.), где участвует король Франциск I (в цензурированной редакции оперы — герцог Мантуанский), цыганка, Джильда и Риголетто. Композитор А. Н. Серов об этом квартете писал: «На весах строжайшей музыкальной оценки квартет из „Риголетто" <...> по драматической правде и по обстоятельной прелести звукосочетания должен занимать одно из высших мест всей оперной литературы» (цит. по кн.: *Гозенпуд А. А.* Оперный словарь. М.; Л., 1965. С. 334).
30 «Un di, se ben ramento mi» (итал.) — см. примечание № 1 к этой же главе.
31 Bella figlia del'amore (*итал.*) — прекрасная дочь любви.
32 *Костя Литке* — Константин Федорович Литке, сын знаменитого мореплавателя Ф. П. Литке («дедушка Литке» — в воспоминаниях Е. В. Дягилевой). Его жена Адина — урожденная Ребиндер. См. «Родословную Литке» (№ 11).
33 Здесь в рукописи зачеркнута фраза, которую не удалось прочесть.
34 Здесь в рукописи опять зачеркнута фраза.
35 *Юрий (Георгий) Максимилианович*, герцог Лейхтенбергский, князь Романовский (1852—1912) — член царствующего дома Романовых, четвертый сын Максимилиана-Евгения Лейхтенбергского (сына Евгения Богарне, пасынка императора Наполеона) и великой княжны Марии Николаевны, дочери императора Николая I. После имени Лейхтенбергского в рукописи зачеркнута одна фраза, которую не удалось прочесть.
36 Здесь в рукописи зачеркнута одна фраза, которую не удалось прочесть.

[37] *Квартет из «Жизни за царя»* — квартет Антониды, Вани, Собинина и Ивана Сусанина из первого действия оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).
[38] Paper hunt (*англ.*) — «охота на лисичку», спортивная игра, в которой участвуют всадники.
[39] *Панаев Аркадий Александрович* — дядя сестер Панаевых. См. «Родословную Панаевых» (№ 16).
[40] *Паньэ* (*франц.*) — легкий плетеный экипаж.
[41] Salon de musique (*франц.*) — музыкальный салон.
[42] Весь данный абзац в рукописи зачеркнут, но прочтению поддается.
[43] Далее в рукописи следуют девять зачеркнутых строк, которые прочесть не удалось. Судя по дальнейшему содержанию, здесь речь должна была идти о причинах отсутствия С. М. Панаевой при первом визите Панаевых к Дягилевым.
[44] Matinée musicale (*франц.*) — музыкальные утренники.

Часть II. ПЕТЕРБУРГ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

[1] Вторая часть воспоминаний Е. В. Дягилевой написана ею от первого лица. Повествованию опять возвращена мемуарно-художественная интонация.
[2] *Безик* (*франц.*) — карточная игра.
[3] Petites soeurettes (*франц.*) — сестрички.
[4] *Alfred de Musset* (*франц.*) — Альфред де Мюссе (1810—1857), французский писатель и поэт, член Французской академии.
[5] *Владимир Александрович,* великий князь (1847—1909) — третий сын Александра II. Был в браке с дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Марией Павловной.
[6] Фотографии, часть которых публикуется в настоящем издании, хранятся в РО ИРЛИ (ф. 102, ед. хр. 5).
[7] *Дяденька Федор Петрович* — Ф. П. Литке. См. «Родословную Литке» (№ 6) и пояснения к ней.
[8] *Тетя Таля* — Наталья Ивановна Сульменева, сестра А. И. Дягилевой. См. «Родословную Сульменевых» (№ 14).
[9] *Тетя Катя* — Екатерина Ивановна Сульменева, сестра А. И. Дягилевой. См. «Родословную Сульменевых» (№ 10).
[10] *Пьер* — Петр Дмитриевич Паренсов, муж Ю. П. Дягилевой (Юленьки).
[11] *Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна* (1850—1903) — драматическая актриса, наделенная огромным темпераментом, выдающимся трагическим дарованием, способностью к непосредственному переживанию. Трагедийный талант П. А. Стрепетовой в полной мере проявился в период ее работы в Казани (1871 г.), где она создала запоминающиеся образы Катерины («Гроза» А. Н. Островского), Марьи Андреевны («Бедная невеста» А. Н. Островского), Лизаветы («Горькая судьбина» А. Ф. Писемского) и др. С 1881 г. она играла в петербургском Александринском театре, где прославилась в ролях Кручининой («Без вины виноватые» А. Н. Островского), Сарры («Иванов» А. П. Чехова) и др. Однако в 1890 г. вследствие травли со стороны театральных чиновников актриса была вынуждена по-

кинуть столичную сцену. Подробнее о П. А. Стрепетовой см.: *Стрепетова П. А.* Жизнь и творчество трагической актрисы. Л.; М., 1959.

[12] *Патриотический институт* — институт для воспитания благородных девиц. Основан в 1813 г. под покровительством императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, специально для дочерей офицеров — участников войны 1812 года. См. об институте: *Пушкарев И.* Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его. СПб., 1843. С. 412—413.

[13] *Жорж Занд (Санд)* (наст. фамилия — Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван) (1804—1876) — французская писательница, ставившая в своих произведениях вопросы женского равноправия.

[14] *Александра Иосифовна,* великая княгиня (1830—1911) — жена великого князя Константина Николаевича (см. примечание № 5 к главе первой I части), мать великого князя Константина Константиновича (1858—1915), президента Академии Наук (с 1889), поэта, писавшего под псевдонимом К. Р.

[15] *Сашка Гирс* — Александр Александрович Гирс, один из троюродных братьев П. П. Дягилева, сын А. К. Гирса. См. «Родословную Литке» (№ 13). Упомянутая ниже Левицкая — Полина (Прасковья) Сергеевна Левицкая (по мужу Гирс) (1847—?), его жена, певица (сопрано). В 1871 г. окончила Петербургскую консерваторию по классу Г. Ниссен-Саломон. Пела с 1870 по 1889 г. (с перерывами) в петербургском Мариинском театре. Преподавала в Петербургской консерватории.

[16] *Патти Аделина* (1843—1919) — выдающаяся оперная певица; итальянка по национальности. В России с большим успехом выступала неоднократно в 1869—1877 гг.

[17] *Гирс Александр Карлович* — см. «Родословную Литке» (№ 8) и пояснения к ней.

[18] *Гирс Николай Карлович* — см. «Родословную Литке» (№ 9) и пояснения к ней.

[19] *Гирс Федор Карлович* — см. «Родословную Литке» (№ 10).

[20] *Владимир Дмитриевич* — В. Д. Философов, муж А. П. Дягилевой-Философовой.

[21] См. «Родословную Сульменевых» (№ 6, 9—14).

[22] *Коневецкий монастырь* — Рождественский Коневский мужской монастырь, расположенный на острове Коневец в Ладожском озере. Основан в 1393 г. В настоящее время передан церкви.

[23] *Киновея* — в нарицательном смысле — особый тип монастырей, братия которых жила общиной, а не уединенно в кельях. В 1820-х гг. в Петербурге на правом берегу Невы, чуть ниже по течению реки по отношению к Александро-Невской лавре, была создана Киновея (отделение лавры), где были построены церковь во имя всех Святых (1821 г.) и Троицкий храм (1868 г.). С 1848 г. образовалось кладбище, существующее до сих пор (Киновиевское кладбище). См.: *Валдин В. В.* Киновиевское кладбище (Октябрьская набережная, 14) // Исторические кладбища Петербурга: Справочник-путеводитель. СПб., 1993. С. 472—479.

[24] *Сербский королевич* — Александр Обренович, сын князя Милана, провозгласившего себя королем Сербии в 1882 г. Александр Обренович правил страной с 1889 по 1903 г. Был убит группой офицеров-заговорщиков.

[25] Belles-soeur (*франц.*) — здесь: золовки. См. «Родословную Дягилевых» (№ 11, 15).

[26] *Сведомские Александр Александрович* (1848—1911) и *Павел Александрович* (1849—1904) — художники. Художественное образование получили в Дюссельдорфе у Мункачи. Важное место в их творчестве занимала древне-

римская тема («Набережная Помпей» А. Сведомского, «Юлий в Сенате» П. Сведомского и др.). См. «Родословную Дягилевых» (№ 37, 38).

27 *Коробочка* — героиня «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

28 *Литейная (Литейный проспект)* — одна из центральных улиц Петербурга, примыкающая к Невскому проспекту.

29 *Исаакий* — Исаакиевский собор (архитектор Огюст Монферран).

30 *Младший сын* — Протейкинский Александр Петрович. См. «Родословную Дягилевых» (№ 36).

31 Здесь далее в рукописи вычеркнуто шесть строк, которые прочесть не удалось.

32 *Старший брат* — Протейкинский Виктор Петрович. См. «Родословную Дягилевых» (№ 35) и *Бенуа*. С. 280—285.

33 *Розанов Василий Васильевич* (1856—1919) — религиозный философ и литературный критик. С конца 1890-х гг. В. В. Розанов становится одним из самых видных журналистов и публицистов России. Печатался в «Русском вестнике», «Русском обозрении», «Новом времени» и др.

34 В настоящем издании текст статьи В. В. Розанова выверен по первой публикации (см.: *Варварин В.* Анна Павловна Философова // Русское слово. 1909. 17 февр., № 38). Многоточиями в угловых скобках обозначены купюры, внесенные в текст Е. В. Дягилевой.

35 Первый всероссийский женский съезд проходил в декабре 1908 г. (председатель оргкомитета — А. Н. Шабанова, вице-председатели А. П. Философова и О. А. Шапир). На съезде присутствовало более тысячи делегаток со всех концов России.

36 *«Мир искусства»* — художественно-иллюстративный журнал; издавался в Петербурге в 1898—1904 гг. Издателями журнала были поначалу М. К. Тенишева и С. И. Мамонтов; редактором — его фактический организатор С. П. Дягилев. Журнал пропагандировал творчество В. А. Серова, И. И. Левитана, М. В. Нестерова, М. А. Врубеля, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, К. А. Сомова, Е. Е. Лансере, Л. С. Бакста и др.

37 *Дягилев* — Сергей Павлович Дягилев.

38 *Философов* — Дмитрий Владимирович Философов. См. примечание № 25 к главе четвертой I части.

39 *Бакст (наст. фамилия Розенберг) Лев Самойлович* (1866—1924) — живописец, график, театральный художник. Входил в объединение «Мир искусства». Один из ведущих декораторов «Русских сезонов за границей» С. П. Дягилева. Участвовал в оформлении балетов «Клеопатра» (1909 г.), «Жар-птица» (1910 г.), «Нарцисс» (1911 г.), «Дафнис и Хлоя» (1912 г.) и др.

40 *Серов Валентин Александрович* (1865—1911) — художник, прославившийся как портретист. Раннее творчество В. А. Серова развивалось под влиянием реалистического искусства И. Е. Репина. В зрелых работах конца 1880-х гг. (знаменитая «Девочка с персиками» и др.) сказываются черты импрессионизма. В начале 1900-х гг. В. А. Серов сближается с объединением «Мир искусства», и в его творчестве появляются черты стиля «модерн».

41 *Нурок Альфред Павлович* (1860—1919) — один из основных членов редакции «Мир искусства» (печатался под псевдонимом Силен). Организатор «Вечеров современной музыки» в Петербурге.

42 *Нувель Вальтер Федорович* (1871—1949) — музыкант-любитель, один из учредителей объединения «Мир искусства», постоянный сотрудник С. П. Дягилева за рубежом и его биограф. См. о С. П. Дягилеве, Д. В. Философове, Л. С. Баксте, В. А. Серове, А. П. Нуроке, В. Ф. Нувеле: Константин Андреевич Сомов: Письма, Дневники. Суждения совре-

менников / Сост., вступ. статья и примеч. Ю. Н. Подкопаевой и А. Н. Свешниковой. М., 1979 (по именному указателю); *Бенуа* (по именному указателю).

43 См.: *Паренсов П. Д.* Из прошлого: Воспоминания офицера Генерального штаба. СПб., 1901—1908. Ч. 1—5.

44 *Шабанова Анна Николаевна* (1848 — после 1926) — известный детский врач, деятельница женского движения. Председатель первого всероссийского женского съезда, редактор «Бюллетеня Первого всероссийского женского съезда» (СПб., 1908. № 1—10); автор брошюр «О международных женских конгрессах» (Пг., 1917) и «Очерк женского движения в России» (СПб., 1912). См. о А. Н. Шабановой: *Тыркова* (по именному указателю).

45 Пожалуй, я последняя из ныне здравствующих членов нашего рода, которая видела Веру Кронидовну Воронец последний раз весной 1942 г. в оккупированном фашистами Новгороде перед отъездом ее за границу к дочери Вере, жившей в то время в Венгрии и каким-то чудом добившейся через Международный Красный Крест разрешения для своей матери на отъезд из России. Находясь в Новгороде в ссылке, Вера Кронидовна разыскала мою мать и, прощаясь, оставила нам небольшой персидский коврик, который и сейчас хранится у меня. Ее последние слова обращены к моей матери: «Дай Бог тебе встретиться с Сережей!» (моим отцом, находившимся в сталинских лагерях), что и исполнилось, к счастью, в августе 1947 г. (примечание Е. С. Дягилевой). См. «Родословную Панаевых» (№ 42).

46 vis-à-vis (*франц.*) — напротив, друг против друга.

47 См.: *Философов Д. В.* Слова и жизнь. Литературные споры новейшего времени (1901—1908 гг.). СПб., 1909.

48 *Стасов Владимир Васильевич* (1824—1906) — художественный и музыкальный критик, один из крупнейших деятелей русской демократической культуры. В своих работах опирался на эстетические принципы, разработанные В. Г. Белинским, А. И. Герценом, Н. Г. Чернышевским. Самыми важными чертами современного ему искусства считал реализм и народность. Модернистские искания в искусстве конца XIX — начала XX вв. В. В. Стасовым были восприняты критически.

49 *Стасова Надежда Васильевна* (1822—1895) — деятельница женского движения в России; сестра В. В. Стасова. В начале 1860-х гг. она вместе с А. П. Философовой и М. В. Трубниковой составили так называемый женский триумвират, вставший во главе женского движения. См. о В. В. и Н. В. Стасовых и их взаимоотношениях с А. П. Философовой в книге: *Тыркова* (по именному указателю).

50 *«Рыцарь на час»* — стихотворение Н. А. Некрасова (1862 г.). Данный фрагмент статьи В. В. Розанова подтверждает вывод исследователей о том, что «Рыцарь на час» получил чрезвычайно широкую популярность среди поколения 1860 — 1870-х гг. (см. комментарии к изданию: *Некрасов Н. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 2. С. 383—386).

51 *Крапоткин (Кропоткин) Петр Алексеевич* (1842—1921) — революционер, один из теоретиков анархизма. В 1874 г. он был арестован, а в 1876 г. бежал из тюремной больницы. А. П. Философова была знакома с П. А. Кропоткиным, но участия в организации его побега не принимала. См.: *Тыркова* (по именному указателю).

52 *«Выставка исторических и русских портретов»* — правильно: «Историко-художественная выставка русских портретов»; открылась в Петербурге в феврале 1905 г. в Таврическом дворце. Организатор выставки — С. П. Дягилев. См.: *Лифарь.* С. 148—154; *Бенуа.* Кн. 4—5. С. 405—409, 422—424.

[53] С 1907 г. С. П. Дягилев организовывал знаменитые «Русские сезоны» в Париже. Сезон 1907 г. — симфонические концерты, в которых выступали Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов и др. Сезон 1908 г. — русские оперы («Борис Годунов» М. П. Мусоргского с участием Ф. И. Шаляпина). Сезоны 1909—1913 гг. — балетные выступления, в которых участвовали М. М. Фокин, А. П. Павлова, В. Ф. Нижинский, Т. П. Карсавина, Е. В. Гельцер и др.

ГЛАВА ВТОРАЯ

[1] *Мельгунова Анна Александровна,* урожденная Квашнина-Самарина — см. «Родословную Мельгуновых и Квашниных-Самариных» (№ 5).

[2] ce cher (*франц.*) — этот дорогой.

[3] Данный портрет С. П. Дягилева работы В. А. Серова (1904 г.) находился первоначально в собрании Юрия Павловича Дягилева. С 1930 г. он хранится в Русском музее (Петербург). Воспроизведение см.: Валентин Серов: Живопись. Графика. Театрально-декоративное искусство. Л.: Аврора, 1982. № 60.

[4] *Оса* — уездный город на юго-западе Пермской губернии.

[5] Графиня Валентина Валерьяновна Шуленбург (Лина), сестра Е. В. Дягилевой, в это время готовилась стать матерью.

[6] *Дягилев Валентин Павлович (Линчик)* — старший сын Е. В. Дягилевой. См. «Родословную Дягилевых» (№ 60) и пояснения к ней.

[7] *Виардо-Гарсиа Полина* (1821—1910) — французская певица (меццо-сопрано), вокальный педагог, композитор. С 1837 по 1863 г. концертировала по всей Европе, в том числе и в России. В 1863 г. оставила сцену, посвятив себя педагогической деятельности; оказала большое влияние на современную школу пения. В 1871—1875 гг. преподавала пение в Парижской консерватории. Личный друг И. С. Тургенева.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

[1] В качестве эпиграфа к этой главе мемуаристка дает стихи, являющиеся вольным переложением «Песни Миньоны» И.-В. Гете («Kennst du das Land ...») (возможно, переложение принадлежит самой Е. В. Дягилевой). См. библиографию переводов и переложений: *Житомирская З. В.* Иоганн Вольфганг Гете: Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке. 1780—1971. М., 1972. С. 72—74, 485—488.

[2] См. это письмо в тетради Е. В. Дягилевой, куда она копировала письма, посылаемые ею разным корреспондентам: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 29, л. 13—14.

[3] *Дервиз фон Павел Григорьевич* (1826—1881) — предприниматель, меценат. Имя его связано со строительством железных дорог в России. См. о нем: Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. 6: Дабелов—Дядьковский. С. 261—262.

[4] Рояль фирмы «Стенвей».

[5] *Энде (наст. фамилия фон Дервиз) Николай Григорьевич* (1837—1880) — русский оперный певец (тенор). Окончил Петербургское артиллерийское училище, служил офицером в 3-й Гвардейской пехотной дивизии. Наделенный недюжинным голосом, всегда мечтал о карьере певца. Артистическую деятельность начал в Киеве. В 1876—1880 гг. пел на сцене Мари-

инского театра в Петербурге. Был первым исполнителем партий Школьного учителя («Кузнец Вакула» П. И. Чайковского), Винокура («Майская ночь» Н. А. Римского-Корсакова), Шута Никитки («Купец Калашников» А. Г. Рубинштейна). Выступал как камерный певец, привлекая слушателей задушевным пением.

6 *«Рогнеда»* — опера Александра Николаевича Серова (1865 г.).

7 *«Руслан»* — опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842 г.).

8 *Петербургское училище правоведения* (Фонтанка, д. 6) — высшее юридическое учебное заведение для детей потомственных дворян. Курс обучения — семилетний. Окончившие его получали чин IX—XII класса. Училище готовило судейских чиновников и персонал для Министерства юстиции. Среди окончивших — П. И. Чайковский, поэт А. Н. Апухтин.

9 *Тит Титыч* — персонаж пьесы А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856 г.) Тит Титыч Брусков.

10 *Соллогуб В. А.* — см. примечание № 16 к главе второй I части.

11 *Собинин* — персонаж оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») (1836 г.), жених Антониды (тенор). Трио «Не томи, родимый» из первого действия оперы составляют партии Собинина, Антониды и Ивана Сусанина.

12 *Ваня* — персонаж той же оперы, приемный сын Ивана Сусанина (меццо-сопрано).

13 *Предсмертный бред Герцена* — при кончине А. И. Герцена присутствовала Н. А. Тучкова-Огарева, оставившая свои воспоминания. См.: *Тучкова-Огарева Н. А.* Воспоминания. Л., 1929.

14 *Огарева Наталья Алексеевна* (1829—1913) — урожденная Тучкова, жена Николая Платоновича Огарева; с 1857 г. — вторая (гражданская) жена А. И. Герцена.

15 *«Danse macabre»* (*франц.*) — «Пляска смерти», симфоническая поэма французского композитора Камиля Сен-Санса (1835—1921).

16 Tourguéneff! — Тургенев!

17 *Панаев Иван Иванович* (1812—1862) — писатель. Окончил Благородный пансион при Петербургском университете. Автор романов, повестей, очерков, пародий, фельетонов. В 1847 г. совместно с Н. А. Некрасовым стал редактором журнала «Современник». См. «Родословную Панаевых» (№ 14).

18 Данный фрагмент воспоминаний Е. В. Дягилевой интересен в связи с вопросом о прототипе образа Базарова в тургеневском романе «Отцы и дети». В 1972 г. этот отрывок из мемуаров был опубликован Г. И. Мурыгиным (см.: Воспоминания Е. В. Панаевой-Дягилевой о Тургеневе / Публ. Г. И. Мурыгина // Русская литература. 1972. № 4. С. 121—123). Другие мемуаристы подтверждают правдивость воспоминаний Е. В. Дягилевой. Н. А. Островская, в частности, так передает слышанный ею рассказ И. С. Тургенева по этому поводу: «Я встретился с ним на железной дороге и, благодаря случаю, мог узнать его. Наш поезд от снежных заносов должен был простоять сутки на одной маленькой станции. Мы уж и дорогой с ним разговорились, и он меня заинтересовал, а тут пришлось даже ночевать вместе в каком-то маленьком станционном чуланчике. Спать было неудобно, и мы проговорили всю ночь» (И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1969. Т. 2. С. 69). Сам писатель об этой встрече на железной дороге говорит в своей статье «По поводу „Отцов и детей“» (1869 г.) (*Тургенев И. С.* Полное собр. соч. и писем: В 30-ти т. 2 изд. Соч.: В 12-ти т. М., 1983. Т. 11. С. 86—97).

19 Place Vendôme (*франц.*) — Вандомская площадь в Париже.

20 Rougon-Macquart (*франц.*) — эпопея из восемнадцати романов Э. Золя.

[21] basse-cour (*франц.*) — задний двор, птичий двор.
[22] «La faute de l'abbé Mouret» (*франц.*) — «Проступок аббата Муре», роман Э. Золя.
[23] *Маковский Константин Егорович* (1839—1915) — художник. Один из участников знаменитого «бунта четырнадцати» (1863 г.), во время которого часть студентов покинула Академию художеств и учредила Товарищество передвижных художественных выставок («Передвижники»). Оставил заметный след в жанре портрета. К. Е. Маковский написал замечательный портрет А. В. Панаевой-Карцовой (сестры Е. В. Дягилевой), находящийся сейчас в доме-музее П. И. Чайковского в Клину.
[24] Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Тишина» (1856—1857 гг.).
[25] То же самое происходило и с их внуками, моими отцом и дядей, когда, встречаясь после долгой разлуки, они просиживали всю ночь напролет, предаваясь воспоминаниям и спеша наговориться за все пройденное со времени последней встречи время. Мы с сестрой часто бывали молчаливыми, но очень внимательными слушательницами (пока не сморит сон), и очень много почерпнули для себя из этих встреч (примечание Е. С. Дягилевой).
[26] См. примечание № 5 главы четвертой I части.
[27] folle journée (*франц.*) — здесь: день безудержного веселья.
[28] В книге публикуется план пермского дома, сделанный тринадцатилетним Линчиком — Валентином Павловичем Дягилевым, сыном Е. В. Дягилевой. План хранится в РО ИРЛИ (ф. 102, ед. хр. 5, № 5). В настоящее время пермский дом сохранился в перестроенном виде. В нем помещается гимназия и музей «Дом С. П. Дягилева».
[29] *Лидертафель* (Lidertafel, *нем.*) — певческое общество.
[30] a capella (*итал.*) — пение без сопровождения.
[31] *Серафим Саровский* — преподобный; иеромонах Саровской Успенской пустыни (бывший Темниковский уезд Тамбовской губ.). Прославился как чудотворец. Скончался в 1833 г. Один из самых популярных святых XIX в. Мощи его торжественно были открыты 19 июля 1903 г. См.: Православные русские обители. СПб., 1994. С. 418—421.
[32] *29 июня (12 июля по новому стилю)* — день первоверховных апостолов Петра и Павла, то есть день ангела Павла Павловича Дягилева и Петра Дмитриевича Паренсова.
[33] *Дорэ (Доре) Гюстав* (1833—1883) — французский график. Прославился выразительными иллюстрациями к «Озорным рассказам» Бальзака (1855—1856 гг.), «Божественной комедии» Данте (1861 г.), «Дон Кихоту» Сервантеса (1862—1863 гг.) и др. Издание сказок Шарля Перро см.: Les Contes de Perrault / Dessins par Gustave Doré; Préface par P.-J. Stahl. Paris, 1862 (другие изд.: 1864, 1867, 1869, 1910).
[34] *8 июля (21 июля по новому стилю)* — праздник иконы Казанской Божией Матери, особо почитаемый в семье Дягилевых.
[35] См. оригинал письма от 9 сентября 1876 г. — РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 49, л. 5—5об. В тексте воспоминаний Е. В. Дягилевой есть разночтения с оригиналом. Печатается по подлиннику.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

[1] Эпиграфом к этой главе мемуаристкой избрана строка из вступления к поэме «Медный всадник» А. С. Пушкина.
[2] *Панаев Кронид Александрович* — дядя Е. В. Дягилевой. См. «Родословную Панаевых» (№ 19).

[3] *Иверский Валдайский Свято-Озерский Богородицкий мужской монастырь* — расположен в бывшем Валдайском уезде Новгородской губ. Основан в XVII в. патриархом Никоном. Память преподобного Иакова Боровичского чтится 22 мая и 23 октября (по старому стилю). В настоящее время монастырь передан церкви. См.: Православные русские обители. СПб., 1994. С. 123—125.

[4] *Серафимо-Дивеевский Троицкий женский монастырь* — расположен в с. Дивеево (бывший Ардатовский уезд Нижегородской губ.). Основан в первой трети XIX в. первоначально как женская община при церкви села Дивеева вдовой полковника Агафьей Симеоновной Мельгуновой. В 1842 г. община была соединена с другой, Мельничной общиной, устроенной преподобным Серафимом Саровским. Эти две соединенные общины впоследствии были преобразованы в монастырь. К началу XX в. это была одна из наиболее посещаемых паломниками и процветающих женских обителей. В настоящее время монастырь возрожден. См.: Православные русские обители. СПб., 1994. С. 369—371; Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. Ардатовского уезда с жизнеописанием основателей ее: преподобного Серафима и схимонахини Александры, урожд. А. С. Мельгуновой / Сост. архимандрит Серафим (Чичагов). СПб., 1903. Ч. 1—2.

[5] *Жизнеописание полковницы Мельгуновой* — укажем еще одно жизнеописание А. С. Мельгуновой: *Иоасаф (Тихонов И. Т.).* Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима, иеромонаха, пустынника и затворника Саровской пустыни, с присовокуплением очерка жизни первоначальницы Дивеевской женской обители Агафии Симеоновны Мельгуновой. СПб., 1849.

[6] La celle St. Cloud Seine et Oise. Maison de Ressensé (*франц.*) — дача Сен-Клу в департаменте Сен-е-Уаз. Дом Ресансе.

[7] *Blanc Louis (франц.)* — Блан Луи (1811—1882), французский историк, деятель революции 1848 г.

[8] *Гамазов Матвей Авельевич* (1812—1893) — известный востоковед, составитель «Краткого военно-технического русско-французско-турецко-персидского словаря с русскою транскрипциею восточных слов» (СПб., 1887); переводчик с персидского художественных произведений.

[9] au courant (*франц.*) — в курсе.

[10] *Панаев Ипполит Александрович* (1822—1901) — писатель, автор романа «Бедная девушка» (1857 г.) и трудов по этике и философии: «Голос долга. Мысли о воспитании человека» (СПб., 1885); «Голос неравнодушного. О том, что одно могло бы избавить человека от зол, им самим созданных и создаваемых» (СПб., 1887—1888); «О влиянии направления знания на состояние умов» (СПб., 1882) и др. См. о И. А. Панаеве: Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 191; Литературное наследство. М., 1949. Т. 51—52. С. 430.

[11] Кажется, это стихотворение можно считать единственным свидетельством склонности И. А. Панаева к поэтическому творчеству. Другие его стихотворные опыты нам неизвестны.

[12] В настоящее время данное письмо хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства (ф. 382, оп. 1, ед. хр. 35). В воспоминаниях Е. В. Дягилевой письмо дается с некоторыми разночтениями по сравнению с оригиналом. В нашем издании все разночтения выправлены в соответствии с публикацией: *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем. М.; Л., 1966. Т. 11: Письма. С. 314 (см. также комментарии к письму на с. 644). Перевод с франц.: Bougival. Les Frênes chalet — Буживаль. Шале Лефрен; «République fraçaise» — «Французская республи-

ка»; «Rappel» — «Призыв»; «Droit de l'homme» — «Права человека» (названия французских журналов либерально-демократической ориентации).

13 «L'homme libre» (*франц.*) — «Свободный человек».

14 См.: Воспоминания Валериана Александровича Панаева // Русская старина. 1893. Т. 79. С. 320—355; 461—502; Т. 80. С. 63—89; 395—412; 545-568; 1901. Т. 106. С. 473—490; Т. 107. С. 31—66; 285—320; 481—510; Т. 108. С. 109—135, 579—592; 1902. Т. 110. С. 317—336; Т. 111. С. 399—426; 549—568; Т. 112. С. 521—547; 1903. Т. 113. С. 149—164; 363—388; Т. 114. С. 189—227.

15 *Михаил Михайлович*, великий князь (1861—1909) — внук Николая I, сын самого младшего из его сыновей. В феврале 1891 г. он женился на внучке А. С. Пушкина, графине Софье Николаевне Меренберг, дочери графини Натальи Александровны Пушкиной-Дубельт-Меренберг и принца Николая Вильгельма Нассауского. Был выслан императором Александром III за границу, так как нарушил данное ему слово подождать с женитьбой один год. Королева Великобритании Виктория пожаловала новобрачной и ее потомству титул графов де Торби.

16 *Литке Маля* — жена Николая Федоровича Литке (Никса). См. «Родословную Литке» (№ 12).

17 *Саша Гирс* — см. примечание № 15 главы первой II части.

18 *Клак, то есть chapeau-claque* (*франц.*) — складной цилиндр.

19 *Шо-фруа, то есть chaud-froid* (*франц.*) — заливное из дичи.

20 *«Орфей»* — опера Кристофа Глюка (1714—1787), немецкого композитора, одного из виднейших представителей музыкального классицизма, «Орфей и Эвридика» (1762 г.).

21 *Главач Войцех Иванович* (1849—1911) — органист, дирижер и композитор; по национальности чех. С 1871 г. жил в России, служил в Петербурге органистом Мариинского театра.

22 *Климов Дмитрий Дмитриевич* (1850 — ок. 1917) — пианист, дирижер и музыкальный деятель.

23 *Лешетицкий Теодор (Федор Осипович)* (1830—1915) — пианист, профессор Петербургской консерватории (1862—1878); поляк по национальности. С 1878 г. жил в Вене; завоевал известность одного из крупнейших в Европе фортепианных педагогов.

24 *Эверарди Камилло* (1825—1899) — итальянский певец (бас-баритон) и педагог. В 1857—1868 и 1870—1874 гг. солист итальянской оперной труппы в Петербурге. В 1870—1888 гг. был преподавателем Петербургской консерватории.

25 *Поленов Александр Дмитриевич* — брат художника В. Д. Поленова.

26 *Кюи Цезарь Антонович* (1835—1918) — композитор и музыкальный критик.

27 *Гирс Полина Сергеевна* — по сцене (Мариинский театр) Левицкая. См. примечание № 15 главы первой II части.

28 *Пейкер Анна Федоровна* — жена одного из офицеров Кавалергардского полка (домашнее имя — Нина). Ее дочь, Александра Алексеевна, впоследствии станет женой Валентина Павловича Дягилева, старшего сына Е. В. Дягилевой. См. «Родословную Дягилевых» (№ 60, 93—97).

29 *Ольхина Фани Александровна* — жена А. Д. Поленова.

30 *Поленов Василий Дмитриевич* (1844—1927) — художник. С 1878 г. примкнул к передвижникам. Лучшие работы В. Д. Поленова выполнены в жанре пейзажа («Московский дворик» и др.).

31 *Левицкие Владимир Сергеевич и Лев Сергеевич* — братья-близнецы Полины Сергеевны Гирс, о которых говорилось выше в главе первой II части.

32 *«Тангейзер»* — опера Рихарда Вагнера (1854 г.).

[33] *Александр Карлович* — А. К. Гирс, отец Саши Гирса. См. примечание № 17 главы первой II части.

[34] Cela ne fait rien! Papa est un ange! (*франц.*) — Ничего-ничего! Папенька ведь ангел!

[35] См. оригинал письма — РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 47, л. 12—13об. В воспоминаниях Е. В. Дягилевой письмо процитировано не совсем точно. Печатается по подлиннику.

[36] Cela vaut la peine d'être virtueuse après cela! (*франц.*) — Стоило после этого быть добродетельной!

[37] *Мария Николаевна,* великая княгиня (1819—1876) — дочь Николая I; в первом браке за Максимилианом, герцогом Лейхтенбергским; во втором — за Г. А. Строгановым. Дед — Александр Григорьевич Строганов (1795—1891), граф, генерал-адъютант, член Государственного Совета. В 1850-е гг. был Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором. Состоял президентом Новороссийского общества истории и древностей российских (г. Одесса). Собрáл ценную библиотеку, завещанную им Томскому университету. См.: Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1901. Т. 31, кн. 62. С. 805.

[38] une mésalliance en haut (*франц.*) — мезальянс «вверх».

[39] *Сережа* — С. П. Дягилев.

[40] *Война* — русско-турецкая война 1877—1878 гг.

[41] *Николай Николаевич Старший,* великий князь — см. примечание № 5 главы четвертой I части.

[42] См.: *Паренсов П. Д.* Из прошлого: Воспоминания офицера Генерального штаба. СПб., 1901—1908. Ч. 1—5.

[43] *Мария Александровна* (1824—1880) — жена Александра II, дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига II.

[44] *Мария Федоровна* (1847—1928) — жена Александра III.

[45] belle-soeur (*франц.*) — здесь: невестка.

[46] *«Фауст»* — опера Шарля Гуно (1859 г.).

[47] *Петров Осип Афанасьевич* (1807—1878) — оперный певец (бас). С 1830 г. пел на разных сценах Петербурга. Первый и выдающийся исполнитель партий Сусанина и Руслана. Партию Сусанина М. И. Глинки предназначал специально для О. А. Петрова и сам работал с певцом над воплощением этого образа.

[48] Перевод с франц.:

Ангелы чистые, ангелы светлые,
Отнесите мою душу в лоно небес!
Боже праведный, тебе я предаюсь,
Боже милостивый, я — твоя, прости!

[49] Pourquoi ces mains rouges de sang? Va! Tu me fais horreur! (*франц.*) — Почему эти руки в крови? Прочь! Ты мне внушаешь ужас!

[50] *Плевна* — город в Болгарии, взятие которого русскими войсками было одним из ключевых моментов в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Штурмы Плевны 8 и 18 июля, а также 30—31 августа потерпели неудачу. Русские войска перешли к правильной осаде крепости, которая закончилась капитуляцией турецкого гарнизона 28 ноября 1877 г.

[51] *Раухфус Карл Андреевич* (1835—1915) — известный петербургский врач-терапевт, автор трудов по лечению дифтерии. Работал в Детской больнице принца Петра Ольденбургского (ныне: Детская больница им. К. А. Раухфуса на Лиговском проспекте).

52 *Институт* — Патриотический институт. См. примечание № 12 главы первой II части.
53 impayab'ельная — от франц. impayable, то есть забавный, уморительный.
54 *Игнатьев Алексей Павлович* (1842—1906) — генерал от кавалерии, государственный деятель. С 1896 г. — член Государственного Совета. В 1873—1881 гг. — командир Кавалергардского полка; в 1886—1889 гг. — Иркутский губернатор. Убит в 1906 г. в Твери эсером С. Н. Ильинском. Отец Алексея Алексеевича Игнатьева, генерал-лейтенанта Советской Армии, автора воспоминаний «Пятьдесят лет в строю» (М., 1955. Т. 1—2). Об А. П. Игнатьеве см.: Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908 / Сост. под ред. С. Панчулидзева. СПб., 1908. С. 295—297.
55 Дмитрий Владимирович Философов в своих неопубликованных записках, хранящихся в Рукописном отделе Института русской литературы, так вспоминает этот день: «На парады мы смотрели из квартиры „дедушки Литке", на Марсовом поле. Он там жил с двумя племянницами, Екатериной и Натальей Ивановной Сульменевыми <...> Самого старика мы побаивались. Особенно его зеленого абажура, который он носил над глазами. Окна были открыты. Под самыми окнами стояла кавалерия. 24 июня офицеры переговаривались с нами, то есть не с нами детьми, а со взрослыми. Помню дядю Полю, в золотой каске. Один раз его вызвали с парада домой. Потом мне объяснили, что родился Юрий» (РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 188, тетр. 1, л. 22—23).
56 *Дягилев Георгий (Юрий) Павлович* — см. «Родословную Дягилевых» (№ 61) и пояснения к ней.
57 *Игнатьева Софья Сергеевна* — жена А. П. Игнатьева.
58 Воспоминания Елены Валерьяновны Дягилевой прерваны в связи со смертью 20 июля 1914 г. Павла Павловича Дягилева. На похороны, состоявшиеся 23 июля в Петергофе, приезжал из-за границы С. П. Дягилев. Это было его последнее посещение России. Мой отец хорошо помнил его приезд и то, как Сергей Павлович много возился с ним и кормил земляникой. Павел Павлович погребен на Петергофском кладбище. К сожалению, могила после Великой Отечественной войны не сохранилась. Тем не менее мой отец помнил ее местоположение и каждый год 12 июля, в день ангела своего деда, ходил пешком из Петербурга (тогда Ленинграда) в Петергоф к его могиле. Последнее такое паломничество он совершил 12 июля 1967 г. — ровно за месяц до своей смерти, последовавшей 13 августа того же года. Это была последняя дань любви и уважения к памяти П. П. Дягилева, этого замечательного человека (примечание Е. С. Дягилевой).
59 *Александр Батенбергский* (1857—1893) — племянник императрицы Марии Александровны (жены Александра II) и родственник английской королевы Виктории. Александр Батенберг оказался приемлемым для всех великих держав кандидатом на престол созданного после свержения турецкого ига Болгарского княжества. Проводил политику австро-германского влияния на Балканах. В 1886 г. болгарские офицеры-русофилы арестовали Александра Батенберга и заставили его отречься от престола.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1 *Дягилева Евгения Николаевна* — дочь Н. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 62).
2 *Петр Дмитриевич* — П. Д. Паренсов.

Часть III. ПЕРМЬ

Е. В. Дягилева предполагала написать III и IV части своих воспоминаний, что, к сожалению, выполнено не было. Сохранилась лишь «Летопись, заменяющая III и IV части записи „О Дягилевых“». Часть III «Летописи» имеет два раздела: «При родителях» и «Без родителей». Эта часть существует в двух рукописных вариантах: ф. 102, ед. хр. 1, л. 290—298 (доходящая до 1884 г.) и ф. 102, ед. хр. 2, тетр. 15, л. 21—29 (доходящая до 1890 г.). В настоящем издании часть III печатается, соответственно, по тексту ед. хр. 1 и далее — по тексту ед. хр. 2.

В тексте ед. хр. 1 на полях имеются пометы мемуаристки, отсылающие к тетради, в которую Е. В. Дягилева переписывала семейные письма, послужившие ей основой для написания воспоминаний (см. ед. хр. 2, тетр. 18). Имеются также отсылки к тетради № 2 (см. ед. хр. 2, тетр. 17), где также находятся переписанные Е. В. Дягилевой семейные письма и ее записи мемуарного характера.

В настоящем издании сохраняется весь отсылочный аппарат Е. В. Дягилевой, но материал самих отсылок не печатается: публикация семейной переписки Дягилевых может быть предметом отдельной книги. Укажем, кстати, что в Пушкинском Доме в фонде Дягилевых хранится несколько сотен писем разных членов этой замечательной семьи. В круглых скобках в сносках даются пояснения комментаторов. Лаконичный характер записей Е. В. Дягилевой в «Летописи», к сожалению, во многом осложняет комментирование этой части, равно как и IV части, мемуаров, поэтому некоторые имена остаются нами не поясненными.

1 *1-е марта* — 1 марта 1881 г. членами террористической организации «Народная воля» (А. И. Желябов, С. Л. Перовская и др.) в Петербурге был убит Александр II.

2 *Панаев Илиодор Александрович* — дядя Е. В. Дягилевой. См. «Родословную Панаевых» (№ 15).

3 *Шарко Жан* (1825—1893) — французский невропатолог. С 1862 по 1892 г. работал в неврологической клинике больницы Сальпетриер.

4 Александра Валерьяновна Панаева вышла замуж в 1885 г. за Георгия Павловича Карцова (1861—?), родственника П. И. Чайковского (по матери). Г. П. Карцов служил в Кавалергардском полку. Он является автором книги «Беловежская Пуща. Ее исторический очерк, современное охотничье хозяйство и высочайшие охоты в Пуще» (СПб., 1903). См. о Г. П. Карцове: Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908 / Сост. под ред. С. Панчулидзева. СПб., 1908. С. 328.

5 *Маня* — Мария Ивановна Дягилева, старшая дочь Ивана Павловича Дягилева (Жанушки). См. «Родословную Дягилевых» (№ 44).

6 *Цукки* — вероятно, Вирджиния Цукки (Zucchi) (1847—1930), итальянская балерина. В 1885—1892 гг. с успехом гастролировала в России.

7 *Струева Александра Максимовна* — вторая жена И. П. Дягилева.

8 *Дети Ванюшки* — дети И. П. Дягилева от первого брака с Рокотовой Марией Николаевной: Мария, Иван, Николай, Дмитрий, Елизавета. См. «Родословную Дягилевых» (№ 44—48).

9 *Быков Сергей* — Сергей Васильевич Быков, будущий муж М. И. Дягилевой (Мани).

10 *Сережино путешествие по Волге* — по-видимому, здесь говорится о поездке С. П. Дягилева.

[11] *Философов Володенька* — Владимир Владимирович Философов, сын Анны Павловны Дягилевой-Философовой. См. «Родословную Дягилевых» (№ 39).
[12] *Михаил Николаевич*, великий князь (1832—1909) — младший сын Николая I.
[13] *Катастрофа в Борках* — 17 октября 1888 г. на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге произошло крушение поезда, в котором находилась семья Александра III. См. брошюру В. А. Панаева «О причине крушения императорского поезда, случившегося 17 октября 1888 г. на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге. Статьи, напечатанные в газете „Свет“» (СПб., 1888).
[14] *Мамаша* — Анна Ивановна Дягилева.
[15] *Надежда Эдуардовна* — Н. Э. Фохт-Дягилева, жена Николая Павловича Дягилева (Кокушки).
[16] *Женя* — Евгения Николаевна Дягилева, дочь Н. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 62).
[17] *Рейзенауэр Альфред* (1863—1907) — пианист; по национальности немец. С 1886 г. совершил несколько концертных турне по Германии и России, в том числе и по городам Урала и Сибири.
[18] *Сережа* — С. П. Дягилев, у которого было свое состояние, оставшееся ему от матери Е. Н. Евреиновой-Дягилевой.
[19] *Юрий* — Юрий Павлович Дягилев, младший сын Е. В. Дягилевой.

Часть IV. ПО МИРУ

Часть IV «Летописи» печатается по тексту — ф. 102, ед. хр. 2, тетр. 15, л. 30—44. На л. 30 мемуаристкой сделана помета: «NB. В этой части Дягилевы разбредаются по миру, но в конце концов стягиваются опять в Петербурге, оставив в Перми одни могилы».

В рукописи этой части «Летописи» на полях имеются многочисленные дополнения мемуаристки, которые в настоящем издании печатаются в подстрочных примечаниях.

[1] *Дягилев Ваня* — Иван Иванович Дягилев, сын И. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 45).
[2] *Сведомский Александр Павлович* — см. «Родословную Дягилевых» (№ 21).
[3] *На Галерной* — С. П. Дягилев в Петербурге жил на Галерной улице.
[4] *Сонечка* — вероятно, упомянутая выше Сонечка Окшевская. См. письма Софьи Лукиничны Окшевской к Е. В. Дягилевой (РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 152, 153).
[5] *Геок-Тепе* — укрепленное туркменское поселение в Ахал-Текинском уезде Закаспийской области. Взято штурмом русскими войсками 12 января 1881 г. Во время этой операции отличился генерал М. Д. Скобелев. Геоктепинское сражение было одним из ключевых в присоединении Средней Азии к России.
[6] *Шуленбург Сережа* — сын Валентины Валерьяновны Панаевой-Шуленбург. См. «Родословную Панаевых» (№ 46).
[7] *Смерть государя* — Александр III скончался 20 октября 1894 г. в возрасте сорока девяти лет. Причиной его ранней смерти обычно называют то ли

ушибы, полученные при железнодорожной аварии в Борках, то ли нефрит (следствие увлечения алкогольными напитками).

8 *Кубитович Сергей* — сын Натальи Павловны Дягилевой-Антиповой-Кубитович (Таленьки). См. «Родословную Дягилевых» (№ 58).

9 *Женя* — Евгения Николаевна Дягилева, дочь Н. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 62).

10 *Сашенька* — Александра Алексеевна Пейкер, будущая жена Валентина Павловича Дягилева (Линчика), бабушка Елены Сергеевны Дягилевой.

11 *«Мир искусства»* — см. примечание № 36 к главе первой II части.

12 *Анна Федоровна* — А. Ф. Пейкер, мать Сашеньки Пейкер-Дягилевой.

13 *Алексей Николаевич* — А. Н. Пейкер, отец Сашеньки Пейкер-Дягилевой.

14 *Дима* — вероятно, Дмитрий Иванович Дягилев, сын И. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 47).

15 *Родзянки Мэри и Павлик* — см. главу четвертую II части.

16 *Сережа поступает на службу* — 10 сентября 1899 г. С. П. Дягилев стал чиновником особых поручений при директоре императорских театров С. М. Волконском. См.: *Лифарь*. С. 122—132.

17 *Выставка в зале Штиглица* — первая выставка объединения «Мир искусства» открылась 18 января 1899 г. в Петербурге в залах музея А. Л. Штиглица. Ядром выставки стало творчество русских художников (К. Сомов, В. Серов, Ап. Васнецов, А. Бенуа, Л. Бакст и др.). На выставке были представлены также работы западноевропейских мастеров (Дега, Уистлер и др.). См.: *Лифарь*. С. 117—118; *Бенуа*. Кн. 4—5. С. 163—164.

18 *Соловьев Владимир Сергеевич* (1853—1900) — философ, поэт, публицист и критик.

19 *Фроловские* — Николай Александрович Фроловский, троюродный брат Е. В. Дягилевой. См. «Родословную Мельгуновых и Квашниных-Самариных» (№ 8).

20 *Луговская Таня* — Татьяна Андреевна Луговская, будущая жена Ю. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 61).

21 *Павлик* — Павел Валентинович Дягилев, сын В. П. Дягилева (Линчика). См. «Родословную Дягилевых» (№ 93) и пояснения к № 60.

22 *Кубитович Сережа* — Сергей Николаевич Кубитович.

23 *Волконский Сергей Михайлович (1860—1937)* — директор императорских театров (1899—1902). О С. М. Волконском и причинах разрыва с С. П. Дягилевым см.: *Бенуа*. Кн. 4—5. С. 299—307; *Волконский С. М.* Мои воспоминания. М., 1992. Т. 2. С. 142—145.

24 *Алеша* — Алексей Валентинович Дягилев, сын В. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 94) и пояснения к № 60.

25 Е. В. Дягилева была глубоко религиозным человеком, сознательно строившим свою жизнь на основах христианской нравственности. Об этом свидетельствует, например, одна из ее дневниковых записей 1913 г. с рассуждениями об отношениях Ветхого Завета к христианству: «Это тема, которая меня глубоко интересует уже давно. В ней много боли моей и даже слез. Болела я сердцем и плакала, когда начала готовить Сережу в гимназию и должна была учить его Ветхому Завету по указанным учебникам. Взяла Библию — начала ее читать (раньше нам и в руки не давали) и не сумела понять именно это отношение Ветхого Завета к христианству. Мне надо было понять это, нигде я не находила ключа к этому пониманию и до сих пор никто не дал мне его. Отрицать же не могу того, чего не понимаю, да и одно отрицание не удовлетворило бы меня. Оно ни в чем меня не удовлетворяет. Я люблю положительную (светлую) строку вещей» (РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 3, тетр. 2, л. 54об.—55). Открытие в ноябре 1901 г. в Петербурге Религиозно-философского об-

щества (учредители: ректор Духовной академии епископ Ямбургский Сергий, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, В. А. Тернавцев, В. С. Миролюбов) Е. В. Дягилевой, впервые посетившей собрание 14 февраля 1902 г., было встречено поначалу с восторгом. Здесь она ожидала услышать ответы на волновавшие ее вопросы. В РО ИРЛИ сохранились две тетради Е. В. Дягилевой с ее записями о собраниях, где подробно освещается ход бывших там дискуссий (ф. 102, ед. хр. 3). Однако к 1909 г. тон записей меняется: «21 апреля 1909 г. была на заседании и после первой половины, выслушав доклад Димы (по-видимому, Д. В. Философова. — Е. Д. и Т. И.), ушла. Мне сделалось тяжко! Все так мелко, так опошленно, так не то, что грусть, грусть, одна грусть. Значит, не от них надо ждать» (ф. 102, ед. хр. 3, тетр. 2, л. 51об.). Разочаровавшись в Религиозно-философских собраниях, в том же 1909 г. Е. В. Дягилева перестала их посещать. О собраниях см. также: *Бенуа.* Кн. 4—5. С. 290—293.

26 *Толстая Александра Андреевна* (1817—1904) — графиня, тетушка Л. Н. Толстого, знакомая Е. В. Дягилевой. См. ее письма к мемуаристке: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 183; а также переписку с Л. Н. Толстым (издано: Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. СПб., 1911) и мемуары (*Толстая А. А.* Записки фрейлины: Печальный эпизод из моей жизни при дворе / Пер. с франц. Л. В. Гладковой. М., 1996).

27 *Шуленбург Миша* — сын С. И. Шуленбурга. См. «Родословную Панаевых» (№ 47).

28 *Бадмаев Петр Александрович* (1849—?) — популярный в конце XIX — начале XX вв. целитель; по национальности бурят. Учился в Медико-хирургической академии; получил право врачебной практики. Лечил средствами восточной медицины.

29 *Анна* — Анна Валентиновна Дягилева, дочь В. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 95).

30 *Объявление войны* — русско-японская война, объявленная 24 января 1904 г.

31 *Луньяк Иван Иванович* (1847—?) — ординарный профессор по кафедре классической филологии в Новороссийском университете, доктор греческой словесности. См.: Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1902 год. СПб., 1902. С. 590.

32 *Герценвитц Мария Ивановна* — см. главу пятую I части.

33 *Мережковские* — Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), писатель, поэт, философ, литературовед. Участвовал в работе «Религиозно-философского общества», которым интересовалась Е. В. Дягилева. Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), жена Д. С. Мережковского, поэтесса, писательница, критик. К семье Мережковских был близок Д. В. Философов.

34 *Выставка в Таврическом дворце* — «Историко-художественная выставка русских портретов», открывшаяся в феврале 1905 г. в Петербурге. См. примечание № 52 главы первой II части.

35 Юрий Павлович Дягилев женился на Татьяне Андреевне Луговской.

36 *«Потемкин»* — эскадренный броненосец Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический», на котором в июне 1905 г. произошло восстание матросов, ставшее одной из кульминаций революции 1905 г.

37 *Димочка* — Дмитрий Юрьевич Дягилев. См. «Родословную Дягилевых» (№ 98).

38 *Митя* — Дмитрий Иванович Дягилев, сын И. П. Дягилева (Ванюшки). См. «Родословную Дягилевых» (№ 47).

[39] *Мин Г. А.* — командир лейб-гвардии Семеновского полка, участвовавшего в подавлении декабрьского восстания (1905 г.) в Москве. Был убит в Петергофе 12 августа 1906 г. См.: Из записок А. Ф. Редигера // Красный архив. 1933. Т. 5 (60). С. 125.

[40] Первые заграничные предприятия С. П. Дягилева относятся к 1906 г. Это была Русская художественная выставка в Париже в Осеннем салоне, где было уделено большое внимание шедеврам русской живописи XVIII—XIX вв., а также художникам «Мира искусства». См.: *Лифарь.* С. 157—161; *Бенуа.* Кн. 4—5. С. 452—454.

[41] *Няня* — см. примечание № 6 к главе четвертой I части.

[42] *Домилунксен Мариша* — Мария Георгиевна Корибут-Кубитович (в замужестве Домилунксен). См. «Родословную Дягилевых» (№ 51).

[43] *Сергей* — Сергей Валентинович Дягилев, сын В. П. Дягилева, отец Е. С. Дягилевой. См. «Родословную Дягилевых» (№ 96) и пояснения к ней.

[44] *Дягилев Павлик* — старший сын В. П. Дягилева. См. «Родословную Дягилевых» (№ 93) и пояснение к № 60.

[45] См. письмо М. А. Ольхиной к Е. В. Дягилевой (РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 154).

РОДОСЛОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ

РОДОСЛОВНАЯ ДЯГИЛЕВЫХ [1]

		№ отцов (матерей)
	I	
1.	Дягилев Федор (кон. XVII—нач. XVIII)	
	II	
2.	Дягилев Павел (ок. 1700—1761)	1
	III	
3.	Дягилев Василий (1738—1802) жена: Нагаева Татьяна Степановна (174...—1797)	2
	IV	
4.	Дочь (1758—?). Умерла младенцем.	3
5.	Дягилева Глафира (1762—?) муж: Рудомазин Петр Сергеевич	3
6.	Дягилев Дмитрий (1773—1823) жена: Жмаева Мария Ивановна (1780—1814)	3

[1] Римскими цифрами во всех Родословных талицах обозначены «колена»; левый столбец цифр означает персонажи Родословных по порядку нумерации; цифры справа — отцы (матери) данных лиц.

V

№ отцов (матерей)

7. Дягилев Иван (1801, 19.VI—23.VI)
8. Дягилев Иван (1802—1816)
9. Дягилев Александр (1803, 10.XI—16.XI)
10. Дягилев Платон (1804—1806)
11. Дягилева Татьяна (1806—1847)
муж: Сведомский Павел Гаврилович
12. Дягилев Вячеслав . . . 6
13. Дягилев Павел (1808—1883)
жена: Сульменева Анна Ивановна
(см. «Родословную Сульменевых» № 13)
14. Дягилев Вячеслав (1810—1826)
15. Дягилева Елизавета (1811—1889)
муж: Протейкинский Петр Павлович

16. Рудомазин Рафаил
17. Рудомазин Наркиз
18. Рудомазин Север . . . 5
19. Рудомазин Вячеслав
20. Рудомазин Прикакий

VI

21. Сведомский Александр 11

22. Дягилева Анна (1837—1912)
муж: Философов Владимир Дмитриевич
23. Дягилев Иван (1838—1906)
жены: 1) Рокотова Мария Николаевна
2) Струева Александра Максимовна
24. Дягилева Мария (1840—19..)
мужья: 1) Корибут-Кубитович Георгий Данилович
2) Луньяк Иван Иванович
25. Дягилева Наталья (1842—1906)
мужья: 1) Антипов Александр Иванович
2) Кубитович Николай Николаевич
26. Дягилев Михаил (1844—1877) . . . 13
жена: Арсеньева Зинаида Александровна
27. Дягилев Дмитрий (1846—1851)
28. Дягилев Павел (1848—1914)
жены: 1) Евреинова Евгения Николаевна
2) Панаева Елена Валерьяновна
(см. «Родословную Панаевых» № 33)
29. Дягилев Николай (1851—1897)
жена: Фохт Надежда Эдуардовна
30. Дягилева Юлия (1855—после 1929)
муж: Паренсов Петр Дмитриевич

	№ отцов (матерей)
31. Протейкинская Людмила муж: Собашинский 32. Протейкинская Лидия муж: Флавицкий 33. Протейкинская Любовь муж: Макаровский 34. Протейкинский Евгений 35. Протейкинский Виктор (?—1914) 36. Протейкинский Александр	. . . 15

VII

37. Сведомский Александр (1848—1911) 38. Сведомский Павел (1849—1904)	. . . 21
39. Философов Владимир (1856—?) жены: 1) Шаховская Елизавета Николаевна 2) Тобизен Зинаида Германовна 40. Философова Мария (1862—?) муж: Каменецкий Дмитрий Алексеевич 41. Философов Павел (1869—?) 42. Философова Зинаида (1870—1960) муж: Ратьков-Рожнов Александр Николаевич 43. Философов Дмитрий (1872—1940)	. . . 22
44. Дягилева Мария (1864—?) муж: Быков Сергей Васильевич 45. Дягилев Иван (1865—1904) Убит в Порт-Артуре. жена: Шлиттер Вера Августовна 46. Дягилев Николай (1867—?) 47. Дягилев Дмитрий (1869—?) жена: Арбеньева Ольга Владимировна 48. Дягилева Елизавета (1873—?) муж: Сиземский Василий Евлампиевич	. . . 23
49. Корибут-Кубитович Юрий (1863—?) жена: Верховская Инна Николаевна 50. Корибут-Кубитович Павел (1865—1940) Умер в Монте-Карло. 51. Корибут-Кубитович Мария (1869—?) муж: Домилунксен Михаил Федорович 52. Луньяк Андрей (1882—?) жена: Верховская Елена Николаевна	. . . 24

	№ отцов (матерей)
53. Антипова Наталья (1863—1909) муж: Бирюков Сергей Иванович 54. Антипова Анна муж: Терский Нестор Аркадьевич 55. Антипова Александра муж: Олышев Леонид Петрович 56. Кубитович Николай (1873—?) жена: Нечаева Мария Александровна 57. Кубитович Константин (1875—1906) 58. Кубитович Сергей (1877—?) жена: Юркевич Елена Васильевна	25
59. Дягилев Сергей (1872—1929) (от брака с Е. Н. Евреиновой) 60. Дягилев Валентин (1875—1929) (от брака с Е. В. Панаевой) жена: Пейкер Александра Алексеевна 61. Дягилев Юрий (1878—1957) (от брака с Е. В. Панаевой) жена: Луговская Татьяна Андреевна	28
62. Дягилева Евгения (1877—?) муж: Оленин Михаил Иванович 63. Дягилев Николай (1883—1887)	29
64. Паренсова Мария (1874—1924) Умерла во Франции.	30

VIII

65. Каменецкая Татьяна (1883—?) муж: Нагловский Модест Дмитриевич 66. Каменецкая Зинаида (1885—?)	40
67. Ратьков-Рожнов Николай (1891—?) жена: Осипова Екатерина Николаевна 68. Ратьков-Рожнов Владимир (1893—?) 69. Ратьков-Рожнов Дмитрий (1894—1916) 70. Ратькова-Рожнова Зинаида (1908—?)	42
71. Дягилева Елена (1900—?) 72. Дягилева Татьяна (1902—1986) муж: Большой Сергей Дмитриевич	47
73. Сиземская Мария 74. Сиземский Марк	48
75. Корибут-Кубитович Инна (1892—?) 76. Корибут-Кубитович Георгий (1893—?)	49
77. Домилунксен Георгий 78. Домилунксен Сергей 79. Домилунксен Борис	51

	№ отцов (матерей)
80. Луньяк Мария	
81. Луньяк Елена	52
82. Луньяк Иван	
83. Бирюкова Наталья	
84. Бирюкова Варвара	53
85. Бирюков Сергей	
86. Олышева Александра	
87. Олышев Владимир	
88. Олышев Михаил	55
89. Олышев Кирилл	
90. Кубитович Николай (1913—?)	56
91. Кубитович Милица (1915—?)	
92. Кубитович Наталья (1902—?)	58
93. Дягилев Павел (1900—1921 ?)	
94. Дягилев Алексей (1901—1919 ?)	
95. Дягилева Анна (1903—1904)	
96. Дягилев Сергей (1911—1967)	60
жена: Степановна Милица Владимировна	
97. Дягилев Василий (р. 1913)	
жена: Кораблева Наталья Ивановна	
98. Дягилев Дмитрий (1906—1983). Священник	61
99. Оленина Евгения	
100. Оленин Михаил	62
101. Оленин Иван	

IX

102. Нагловская Екатерина	65
103. Большая Екатерина (1927—1981)	72
104. Большая Кира (р. 1931)	
105. Олышев Георгий	88
106. Олышев Леонид	
107. Дягилева Елена (р. 1937)	
муж: Красовицкий Александр Михайлович	96
108. Дягилева Мария (р. 1948)	
муж: Ваховский Александр Эдуардович	
109. Дягилев Валентин (1935—1960)	
110. Дягилев Дмитрий (1949—1972)	97
111. Дягилев Павел (р. 1955)	
жена: Большакова Тамара Александровна	

X

№ отцов (матерей)

112. Вера 103

113. Елена
114. Алексей

. . . 104

115. Олышев Михаил 105

116. Дочь 106

117. Дягилев Сергей (р. 1967) 107
жена: Парфеева Ирина Борисовна

118. Ваховская Ксения (р. 1974)
муж: Никитин Андрей Викторович
119. Ваховский Иван (1975—1976)
120. Ваховская Анастасия (р. 1977)
121. Ваховский Николай (р. 1978)
122. Ваховский Федор (р. 1983)

. . . 108

123. Дягилева Юлия (р. 1981)
124. Дягилев Дмитрий (р. 1983)
125. Дягилева Татьяна (р. 1985)
126. Дягилев Сергей (р. 1990)

. . . 111

XI

127. Дягилев Александр (р. 1991)
128. Дягилев Борис (р. 1996)
129. Дягилев Глеб (р. 1996)

. . . 117

ПОЯСНЕНИЯ

Генеалогия рода Дягилевых была предметом пристального внимания Е. В. Дягилевой. В Рукописном отделе Института русской литературы хранится тетрадь, куда мемуаристка занесла свои разыскания по родословной Дягилевых (ф. 102, ед. хр. 7). Е. В. Дягилева писала: «В писцовых книгах, хранящихся в архиве Министерства юстиции <...>, находятся следующие сведения о роде Дягилевых:

Дягилевы

Роспись первая

I

№ отцов

1. Федор Дягилев

II

2. Дмитрий Федорович, ум. ранее 1580 г. 1

III

	№ отцов
3. Григорий Дмитриевич, тверской сын боярский	 2

IV

4. Василий Григорьевич	 3
5. Федор Григорьевич	

Ветвь эта владела деревнею Ветриновою в Суземье (Тверской губернии), по жалованной от великого князя Бориса Александровича грамоте.

Роспись вторая

I

	№ отцов
1. Константин Дягилев	

II

2. Григорий Константинович, тверской сын боярский ум. ранее 1580 г.	 1

III

3. Семен Григорьевич, тверской сын боярский	 2

IV

4. Федор Семенович	
5. Иван Семенович	
6. Дмитрий Семенович	
7. Дмитрий меньшой Семенович	 3
8. Яков Семенович	
9. Алексей Семенович	

Мы не знаем, куда должно отнести:

1) Докуку Дягилева, владевшего в Суземье (вместе с № 3 росписи 2-ой) землей и отъехавшего в Литву до 1580 г.

2) Гридю Никитича Дягилева, владевшего также с № 3 росписи 2-ой землей в Суземье.

К которой из двух росписей отнести нынешних Дягилевых, установить в точности нельзя благодаря пробелу ста с лишним лет между двумя имеющимися налицо документами, а именно: „Роспись из писцовых книг Московского архива Министерства юстиции“ и „Дневник Дмитрия Васильевича Дягилева“. В пользу росписи № 1 говорит, однако, то, что в „Дневнике“ Дмитрия Васильевича встречаем повторение имен Федора и Василия, а главным образом, что в росписи № 2 Василия ни одного не имеется.

Владимир Владимирович Голубцов, знаток генеалогии, полагал, что Дягилевский род, подобно многим другим, был выселен из родовой земли Тверской губернии Иоанном Грозным, рассеян в разные стороны и часть его со-

слана в Сибирь, откуда впоследствии и появились родоначальники нынешних Дягилевых» (РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 7, л. 4—5об.).

Источником для дягилевской родословной являются также «Записки» Дмитрия Васильевича Дягилева «Краткое описание роду моего и собственно моей жизни до 1808 года». Эти «Записки» были скопированы Е. В. Дягилевой (см.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 7).

Родословной Дягилевых посвящена специальная статья Ю. В. Новикова, который, в частности, пишет: «Трудности, связанные с изучением родословного древа Дягилевых, являются традиционными для поиска „начал и концов". „Начал" — поскольку данные о первых известных нам Дягилевых связаны с эпохой Ивана Грозного и последующим Смутным временем, а также отсутствием разработанной историографии Сибири и Урала. „Концы", то есть данные о современных Дягилевых (и их боковых ветвях), покрыты зачастую еще большим мраком, чем события второй половины XVI—начала XVII века». Изложив две данные выше версии происхождения рода Дягилевых, Ю. В. Новиков делает следующий вывод: «Обе версии позволяют считать ранних Дягилевых служилыми людьми („дети боярские" составили в последующем основную часть дворянских родов в России). Можно предположить, что после разгрома Твери Иваном Грозным Дягилевы были „сшиблены" с мест и перемещены на восток, в только что осваиваемые земли Урала и Западной Сибири. В новых, весьма суровых условиях „дети боярские" утрачивали свои еще не слишком значительные сословные атрибуты. На первое место выдвигались личные качества, и лишь в последующем, с упрочением колонизации просторов Сибири, эти семьи и роды возвращали себе дворянство трудами на государевой службе» (*Новиков Ю. В.* С. П. Дягилев и его родословная (в поисках генетического кода) // Краеведческие записки: Исследования и материалы / Гос. музей истории С.-Петербурга. СПб., 1996. Вып. 4. С. 186—187). Здесь же даны весьма содержательные биографические справки о самых видных представителях этого рода, как живших в прошлом, так и наших современников.

Дягилевым, жившим в Перми во второй половине XVIII—XIX вв., посвящена также весьма основательная статья Е. И. Егоровой, построенная на материалах Государственного архива Пермской области (см.: *Егорова Е. И.* Семья Дягилевых и культурная жизнь Перми XIX века // Сергей Дягилев и художественная культура XIX—XX веков: Материалы научной конференции 17—19 апреля 1987 г. Пермь, 1989. С. 4—11).

Большинство Дягилевых и родственных им семей, о которых повествует Е. В. Дягилева, встречаются на страницах книги А. В. Тырковой «Анна Павловна Философова и ее время» (Пг., 1915).

В Пояснениях к родословной Дягилевых, которые даются ниже, приводятся сведения о наиболее известных Дягилевых, а также о современных представителях этого рода.

Дягилев Павел Федорович (см. № 2) — выехал с братом своим из Тобольска и в 1723 г. «вошел в службу» Сибирской губернии Краснослободского дискрикта писцом с наименованием «подьяческих детей». Затем он стал последовательно подканцеляристом, заведующим канцелярией и, наконец, в 1755 г. управляющим Пермским заводоуправлением. Скончался 27 апреля 1761 г.

Дягилев Василий Павлович (1738, Екатеринбург — 1802, Пермь) (см. № 3) — также служил по «горной части», начав с низовых должностей. С 1773 г. он был управляющим казенными уральскими заводами. Во время

Пугачевского бунта Дягилева захватили в плен «мятежные башкирцы», но ему удалось бежать. С 1785 г. служил в Екатеринбургском уездном суде, в это же время начал дело по восстановлению дворянства для себя и своего потомства. В 1757 г. женился на «купеческой города Соликамска дочери купца Нагаева» [1] — Татьяне Степановне, одаренной от природы прозорливым умом и сильным характером. Дмитрий Васильевич Дягилев писал о своей матери: «...весьма много имела попечения о моем воспитании, не жалея ни денег, ни трудов своих. Быв весьма горяча и вспыльчива, наводила на себя иногда неудовольствие от отца моего и от других, но вообще имела доброе сердце, была <дея>тельна и неутомима» (РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 7, л. 5 — копия с «Записок» Д. В. Дягилева). В. П. Дягилев имел троих детей: двух дочерей и сына Дмитрия. Старшая дочь умерла в младенчестве. Младшая — Глафира — была выдана замуж за чиновника горного ведомства Петра Сергеевича Рудомазина. Ее сыновья впоследствии занимали высокие посты на государственной службе. Тесные отношения с семьей Рудомазиных Дягилевы поддерживали и в дальнейшем до конца XIX в. Василий Павлович умер в своем пермском доме, имея чин титулярного советника.

Дягилев Дмитрий Васильевич (1773, Каменецкий завод — 1823, Пермь) (см. № 6) — обучался в Екатеринбургском училище; с пятнадцати до восемнадцати лет служил в Сибирском драгунском полку; в 1729—1793 гг. — в Петербурге в лейб-гвардии Семеновском полку, откуда вышел в отставку поручиком. Вернулся в Пермь, где был определен стряпчим Пермского губернского магистрата. Как писал он сам, «должность моя, хотя была весьма маловажная <...>, но я проводил время в других приятных и полезных упражнениях, как-то: читал книги, но более такие, кои бы приносили пользу, научая и исправляя сердце и нрав мой, занимался музыкою как таковым искусством, которое питает душу и направляет к чувствительности сердце наше, а иногда по склонности моей к рисованию делал селюэты и тем угождал и делал услугу моим знакомым» (см.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 7, л. 6об. — 7). В юности Дмитрий Васильевич сотрудничал в журнале «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», опубликовав несколько басен, эпиграмм и стихотворную сказку (см.: Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1. С. 290).

Дмитрий Васильевич успешно продвигался по службе. В 1797 г. он был назначен пермским уездным, а затем губернским казначеем, получил последовательно чины титулярного советника (почти одновременно с отцом), коллежского асессора, надворного советника. В 1806 г. он завершил начатое отцом ходатайство о восстановлении потомственного дворянства, после чего род Дягилевых был занесен в III-ю часть дворянской родословной книги Московской губернии (см.: Родословная книга дворянства Московской губернии / Под ред. Л. М. Савелова. М., 1914. Т. 1: Дворянство жалованное и выслуженное. А—И. С. 526—527).

В 1800 г. он женился на Марии Ивановне Жмаевой (1780—1814, Пермь), дочери пермского купца Ивана Романовича Жмаева (1744—1807), промышленника и мецената, благотворителя, коллежского асессора, прослужившего два трехлетия пермским бургомистром, а затем городским головою. Благодаря тестю, человеку богатому, обладателю крупной недвижимости, владельцу поместья Бикбарда, Дмитрий Васильевич значительно увеличил свое со-

[1] В статье Е. И. Егоровой, названной выше, дана другая фамилия Татьяны Степановны — Нечаева (с. 4). Вероятно, или Е. И. Егорова, работавшая с материалами Государственного архива Пермской области, неправильно прочитала фамилию, или Е. В. Дягилева, переписавшая «Записки» Д. В. Дягилева, допустила ошибку.

стояние. В «Записках» своих Дмитрий Васильевич неоднократно отзывается о нем с любовью и глубоким уважением. Приводим еще одну выдержку из его «Записок», относящуюся к 24 мая 1808 г.: «...в день памяти покойного родителя нашего Ивана Романовича открыта начатая им, а мною увенчанная и достроенная больница для бедных в присутствии здешнего гражданского губернатора Богдана Андреевича Гермеса и многих других особ, а водоосвящение совершал епископ Пермский и Екатеринбургский Иустин с прочим духовенством, а после освящения как преосвященный, так и другие особы, случившиеся тут, были угощаемы мною обеденным столом в больнице. Прошу Бога, чтоб сие наше пожертвование приносило бы столько пользы для бедного человечества, сколько нашего есть усердия исполнить обязанность в помощи ближним и притом для незабвенной памяти, как главного виновника нашего благосостояния, родителя нашего Ивана Романовича» (см.: РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 7, л. 11—11об.).

К концу жизни Дмитрий Васильевич занимался благотворительностью, отказывая в пользу церквей и приютов каменные дома стоимостью в несколько тысяч рублей. Страдая тяжелой болезнью, он жил в уединении, занимаясь писанием икон и картин.

Из восьми детей Дмитрия Васильевича трое сыновей умерли в младенчестве, еще двое — в юношеском возрасте. Зрелого возраста достигли Татьяна (пятый ребенок), Павел (шестой) и Елизавета (последний ребенок). Татьяна Дмитриевна (1806—1846) была выдана замуж за Павла Гавриловича Сведомского. Их внуки, А. А. и П. А. Сведомские, стали видными художниками, работавшими большей частью в Риме. Татьяна Дмитриевна, овдовев, жила и умерла в доме у брата после долгой и странной болезни (см. публикуемые воспоминания — глава первая II части). Елизавета Дмитриевна (1811—1889) вышла замуж за Петра Павловича Протейкинского, имела трех дочерей и троих сыновей. Умерла в Петербурге на Литейном проспекте, дом 13 (см. о ней там же).

Дягилев Павел Дмитриевич (1808—1883, Пермь) (см. № 13) — родился в Перми в доме своих родителей на углу улиц Сибирской и Петропавловской. Дом этот после смерти Дмитрия Васильевича продан был городу. В нижнем этаже помещалась городская управа, в верхнем — купеческое собрание. Матери своей Павел Дмитриевич совсем не помнил, а отца помнил только уже больным, не владеющим ногами. Самые первые и лучшие воспоминания его детства и юношества связаны с Авдотьей Ивановной Суховой (урожденной Жмаевой), заменившей ему мать. С четырнадцати лет он состоял на службе при Пермском горном управлении. В шестнадцать лет он лишился отца и заботами своих родственников Рудомазиных был определен в Инженерный корпус в Петербурге, который и окончил в 1826 г. Был участником русско-турецкой войны (1829—1830 гг.). В 1832 г. произведен в поручики, в 1834 г. награжден золотыми часами, в 1836 г. — бриллиантовым перстнем, в 1837 г. произведен в штабс-капитаны, в том же году — в капитаны. В 1839 г. за отличие произведен в майоры, в 1842 г. получил св. Владимира. Служил в Департаменте военных поселений, в Министерстве государственных имуществ под началом графа П. Д. Киселева, в Министерстве финансов. Отличался деловой сметкой, огромной энергией и очень независимым характером. В 1850 г. вышел в отставку в связи с необходимостью заняться имением самому. Благодаря исключительной энергии, влагаемой во все, за что он принимался, дела его пошли очень успешно. Расширив винокуренный завод в Бикбарде, имении в Пермской губ., доставшемся ему от матери и тетки, и поставляя спирт в казну, он вскоре стал очень богатым человеком.

В 1836 г. женился на Анне Ивановне Сульменевой (см. «Родословную Сульменевых»). В промежуток между 1852 и 1855 годами в душе Павла Дмитриевича произошел перелом. Церковь стала главным смыслом его жизни. Он делал громадные взносы в монастыри и храмы, основал Камско-Березовский монастырь (см. о монастыре: Православные русские обители. СПб., 1994. С. 458—459), устраивал странноприимные дома. Внес значительную сумму на строительство Пермского каменного оперного театра. В 1861 г. с горячим увлечением отдался делу освобождения крестьян. Своих собственных крепостных он освободил до манифеста 1861 года. Позднее, когда отмена крепостного права совершилась, он опять-таки с присущей ему энергией приводил в исполнение реформы в Пермской губернии и служил обществу всевозможными способами: в земстве, в думе, в тюрьмах, в благотворительных обществах и в духовных собраниях. Везде вносил он свой подлинный, личный труд, гнушаясь состоять при каком бы то ни было деле номинально или отделываться одним денежным взносом. Скончался 21 января 1883 г. в Перми, где и похоронен на Архиерейском кладбище вблизи от могилы своих родителей. В 1888 г. 30 апреля в Петербурге скончалась и Анна Ивановна. Похоронена в Перми рядом с мужем. К сожалению, за годы советской власти кладбище это было уничтожено и на его месте сейчас находится зоопарк.

У Анны Ивановны и Павла Дмитриевича Дягилевых было девять человек детей: пятеро сыновей (Иван, Михаил, Дмитрий, Павел и Николай) и четыре дочери (Анна, Мария, Наталья, Юлия). За исключением Дмитрия, умершего в детском возрасте, все они дожили до пожилого возраста и имели многочисленное потомство.

Дягилева Анна Павловна (5.IV.1837—17.III.1912) (см. № 22) — старшая дочь Анны Ивановны и Павла Дмитриевича. Родилась в Петербурге, получила прекрасное домашнее образование. В начале 1860-х гг. вступила на поприще общественной деятельности, являясь одной из горячих защитниц необходимости высшего образования для женщин. В 1868 г., возглавляя вместе с Е. И. Конради и Н. В. Стасовой кружок женщин, представила на имя ректора Петербургского университета прошение об устройстве лекций или курсов для женщин. Благодаря их энергии в 1870 г. в Петербурге открылись публичные лекции для мужчин и женщин, получившие впоследствии название «Владимирских курсов», а затем Высших (Бестужевских) женских курсов. Не менее обширна была деятельность Анны Павловны и в области благотворительности. Она была организатором и учредителем благотворительных обществ, кружков, товариществ (например, «Общества дешевых квартир», пособий нуждающимся жителям Петербурга, оказания медицинской помощи сельскому населению с бесплатной раздачей лекарств и пр.). В 1873—1874 гг. по призыву Л. Н. Толстого Анна Павловна активно участвовала в сборе средств голодающим Самарской губернии. Была избрана членом Международной женской лиги.

В 1855 г. она вышла замуж за Владимира Дмитриевича Философова, видного деятеля времен реформ императора Александра II. Генерал-прокурор Военного суда (при нем был составлен новый дисциплинарный устав и уничтожены шпицрутены), член Государственного Совета, он был личным другом Александра II, что, однако, не помешало последнему выслать Анну Павловну за границу (1879—1881 гг.) за ее связи с народовольцами. После событий 1 марта 1881 г. взгляды Анны Павловны значительно изменились в сторону умеренного либерализма, хотя она и оставалась до конца жизни верна своим идеалам «тургеневской женщины». Анна Павловна состояла в дружеских отношениях и переписке с В. В. Стасовым, В. С. Соловьевым, Я. П. Полон-

ским, Ф. М. Достоевским, В. В. Розановым, К. П. Победоносцевым и другими деятелями русской культуры и общественных движений.

Скончалась Анна Павловна в Петербурге 17 марта 1912 г., похоронена в с. Богдановском Псковской губернии, родовом имении Философовых, рядом с мужем В. Д. Философовым, скончавшимся 24 ноября 1894 г. См. о Философовых: *Тыркова А. В.* Анна Павловна Философова и ее время. Пг., 1915; *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания / Изд. подгот. Н. И. Александрова, А. Л. Гришунин, А. Н. Савинов, Л. В. Андреева, Г. Г. Поспелов, Г. Ю. Стернин. М., 1980. Кн. 1—3 и 4—5 (по именному указателю).

Дягилев Иван Павлович (3.VII. 1838 — 21.IX.1906) (см. № 23) — старший сын Анны Ивановны и Павла Дмитриевича (второй из детей); юрист, земский деятель, меценат, основатель Пермского музыкального кружка. Ученик А. Г. Рубинштейна, К. Шуберта и И. Зейферта, играл на нескольких музыкальных инструментах, концертировал в камерных оркестрах, дирижировал оперными спектаклями в Перми, собрал прекрасную музыкальную библиотеку. Его усилиями в 1870 г. в Перми впервые была поставлена опера «Жизнь за царя» М. И. Глинки, любимое произведение в семействе Дягилевых на протяжении нескольких последующих поколений. В 1887 г. участвовал в организации и проведении «русских исторических концертов» (эту идею, но в расширенном виде, осуществил два десятилетия спустя его племянник, С. П. Дягилев, в музыкальном воспитании которого Иван Павлович принимал непосредственное участие).

Женат первым браком на Марии Николаевне Рокотовой, кузине В. Д. Философова, который был ее опекуном. От нее имел пятерых детей (трех сыновей и двух дочерей). Потомки его сына Дмитрия Ивановича живут в Москве (внуки и правнуки). Вторым браком женат на Александре Максимовне Струевой. Детей не было.

Дягилева Мария Павловна (12.IV.1840 — после 1912) (см. № 24) — третья из детей Анны Ивановны и Павла Дмитриевича. Воспитывала осиротевшего С. П. Дягилева в 1872—1874 гг. Первым браком — за Георгием Даниловичем Корибут-Кубитовичем, от которого имела двоих сыновей и дочь. Один из них — Павел Георгиевич Корибут-Кубитович («Павка»), юрист по образованию, оставался на протяжении всей жизни С. П. Дягилева единственным родственником, постоянно находившимся при нем, в том числе и в эмиграции. Он был также и единственным из родственников, участвовавшим в похоронах С. П. Дягилева (см. о П. Г. Корибут-Кубитовиче: *Лифарь С.* Дягилев. СПб., 1993 — по именному указателю). Вторым браком Мария Павловна была за Иваном Луньяком, профессором Новороссийского университета. От этого брака имела сына — Андрея.

Дягилева Наталья Павловна (19.X.1842 — 10.III.1906) (см. № 25) — четвертая из детей Анны Ивановны и Павла Дмитриевича. От первого брака с Александром Ивановичем Антиповым (родственником П. И. Чайковского) имела трех дочерей. Потомки (внуки и правнуки) третьей дочери Натальи Павловны — Александры Александровны Олышевой — проживают в настоящее время в Чебоксарах и Нижнем Новгороде. От второго брака с Николаем Николаевичем Кубитовичем, юристом, прокурором, имела трех сыновей.

Дягилев Михаил Павлович (23.IV.1844—20.XII.1877) (см. № 26) — пятый из детей Анны Ивановны и Павла Дмитриевича; юрист. Жил и умер в Перми. Похоронен рядом с родителями. Был женат на Зинаиде Александровне Арсеньевой, детей не имел.

Дягилев Павел Павлович (30.V.1848—20.VII.1914) (см. № 28) — четвертый сын (седьмой из детей) Анны Ивановны и Павла Дмитриевича. Окончил Первую петербургскую гимназию, затем Николаевское кавалерийское училище, откуда в 1867 г. произведен корнетом в лейб-гвардии Кавалергардский полк. В 1878 г. — полковник, в 1894 г. — генерал-майор, в 1907 г. вышел в отставку с мундиром и пенсией. В 1871 г. женился на Евгении Николаевне Евреиновой (1848—1872), от которой имел сына — Сергея Павловича Дягилева. Вторым браком женат на Елене Валерьяновне Панаевой. От этого брака имел двух сыновей — Валентина и Юрия. Умер и похоронен в Петергофе. Обладая прекрасным голосом (тенором) и будучи одаренным музыкантом-любителем, все свободное от военной службы время отдавал музыкальным занятиям, участвуя в домашних музыкальных спектаклях в концертах. Обладал безупречным музыкальным вкусом и обширными музыкальными знаниями. О послужном списке П. П. Дягилева см.: Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908 / Сост. под ред. С. Панчулидзева. СПб., 1908. С. 258.

Дягилев Николай Павлович (11.XII.1851—18.II.1897) (см. № 29) — пятый сын (восьмой из детей) Анны Ивановны и Павла Дмитриевича; юрист по образованию. Женат на Надежде Эдуардовне Фохт; имел дочь Евгению, названную так в честь покойной Евгении Николаевны Евреиновой, первой жены Павла Павловича Дягилева, и сына Николая, умершего в детском возрасте.

Дягилева Юлия Павловна (19.II.1855 — после 1929, Франция) (см. № 30) — младшая дочь Анны Ивановны и Павла Дмитриевича. Вышла замуж за Петра Дмитриевича Паренсова (1843—1914), известного военного деятеля, генерала, участника русско-турецкой войны 1877—1878 гг., военного министра Болгарии, впоследствии видного военного писателя. П. Д. Паренсов скончался 25 августа 1914 г., похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. Могила сохранилась. Юлия Павловна и Петр Дмитриевич имели единственную дочь Марию (3.XI.1874—1942, Франция), артистку Александринского театра в Петербурге. После 1917 г. правительство Болгарии прислало Юлии Павловне и Марии Петровне Паренсовым вызов и приглашение на жительство; позднее они переехали во Францию.

Дягилев Сергей Павлович (19.III.1872—19.VIII.1929) (см. № 59) — старший сын Павла Павловича Дягилева (от брака с Е. Н. Евреиновой). Известный деятель русской культуры, «великий импресарио», основатель знаменитых «Русских сезонов в Париже». Литература о нем обширна как в России, так и за рубежом.

Дягилев Валентин Павлович (7.VII.1875—август 1929) (см. № 60) — второй сын Павла Павловича Дягилева (от брака с Е. В. Панаевой). Закончил Александровский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. В 1903 г. закончил Академию Генерального штаба. Во время Первой мировой войны служил на Юго-Западном фронте, участвовал в Брусиловском прорыве. В 1918 г. зачислен как военспец в Красную Армию. Преподавал в высших военных училищах. Профессор военной истории. В 1927 г. арестован, обвинен в контрреволюционном заговоре и посажен в Соловецкий лагерь особого назначения. Расстрелян в конце августа 1929 г.

Валентин Павлович тесно общался с С. П. Дягилевым вплоть до его отъезда за границу, помогая в организации выставок. Получил хорошее музыкальное образование, по семейной традиции пел и играл на различных му-

зыкальных инструментах. Был женат на Александре Алексеевне Пейкер (25.IX.1877—27.VI.1941). Имел пятерых детей — четырех сыновей и дочь Анну, умершую в младенчестве. Два старших сына — Павел и Алексей, блестяще закончившие Пажеский корпус к моменту революции, — в 1918 г. втайне от родителей ушли в войска Юденича, осаждавшие Петроград, и оба погибли. Об оставшихся двух сыновьях, Сергее и Василии, говорится ниже.

Дягилев Юрий Павлович (13.V.1878—1957) (см. № 61) — третий сын Павла Павловича Дягилева (от брака с Е. В. Панаевой). Учился там же, где и его брат Валентин Павлович. С 1897 по 1903 г. служил в Казачьих частях Петербурга, затем в области Войска Донского, в 1905—1907 гг. снова в Петербурге, после чего вышел в отставку в звании сотника лейб-гвардии Казачьего полка. Играл на нескольких музыкальных инструментах. Занимался художественной критикой. Печатался под псевдонимом «Юрий Череда» в отделе хроники журнала «Мир искусства» и в журналах «Новый путь», «Новое время», «Золотое руно». Женился на Татьяне Андреевне Луговской. Выйдя в отставку, занялся организацией Кустарного музея в Петербурге и стал его первым заведующим. Во время гражданской войны и позднее работал землеустроителем в Новгородской губернии. В конце 1920-х гг. подвергся репрессиям, был отправлен в ссылку в Среднюю Азию, где и умер в 1957 г. в Ташкенте. Имел единственного сына Дмитрия (4.V.1906 — 1983), священника.

Дягилев Сергей Валентинович (25.II.1911—13.VIII.1967) (см. № 96) — сын Валентина Павловича и Александры Алексеевны. Окончил «Анненшуле» в Петербурге, музыкальную студию Лилиной по классу виолончели у профессора Б. А. Струве. После ареста отца и высылки матери в 1927 г. остался вдвоем с братом Василием. В 1935 г. поступил на теоретический факультет Ленинградской консерватории. В апреле 1937 г. был арестован, приговорен к расстрелу, замененному на десять лет лагерей и последующую пожизненную ссылку с поражением в гражданских правах. Отбывал срок в Норильских лагерях. В 1945 г., когда в лагерях разрешили устраивать самодеятельные оркестры и спектакли, организовал симфонический оркестр из числа заключенных музыкантов-профессионалов; ставил оперные спектакли. В 1936 г. женился на Милице Владимировне Степановой, которая приехала к нему в Норильск в 1947 г. с дочерью Еленой, родившейся после ареста отца. В 1955 г. Сергей Валентинович с женой и уже двумя дочерьми (вторая дочь Мария родилась в Норильске в 1948 г.) переехал в Иркутск, где работал дирижером в Театре музыкальной комедии. В 1957 г. был реабилитирован, в 1958 г. семья вернулась в Ленинград. Здесь С. В. Дягилев начал преподавать в Музыкальном училище им. М. П. Мусоргского, а затем работал дирижером симфонического оркестра при отделе музыкальных ансамблей Главного управления культуры Ленгорисполкома. Был знаком с Д. Д. Шостаковичем, М. В. Юдиной, Г. В. Свиридовым, отмечавшими его необычайную одаренность, глубокую музыкальную и общую культуру. В 1960 г., получив разрешение благодаря их ходатайствам, он с отличием закончил Ленинградскую консерваторию.

Дягилев Василий Валентинович (р. 13.XII.1913) (см. № 97) — младший сын Валентина Павловича и Александры Алексеевны. После ареста отца и ссылки матери подвергался репрессиям. В начале войны окончил Первый ленинградский медицинский институт и сразу ушел на фронт, где был хирургом в действующей армии до конца войны. До выхода на пенсию служил в армии в качестве военного врача. Защитил кандидатскую диссертацию в

области неврологии. Унаследовав дягилевскую одаренность к музыке, играет на нескольких музыкальных инструментах. Закончил музыкальное училище по классу фагота, некоторое время преподавал в музыкальном училище, совмещая это со своей основной специальностью врача. В течение многих лет играл в симфонических оркестрах. После демобилизации живет в Костроме. Женат на Наталье Ивановиче Кораблевой. Имеет сына Павла.

Дягилева Елена Сергеевна (р. 15.VIII.1937) (см. № 107) — старшая дочь Сергея Валентиновича и Милицы Владимировны; родилась в Новгороде, куда ее мать скрылась после ареста мужа. Во время Великой Отечественной войны она с матерью оказалась в немецких трудовых лагерях сначала в Прибалтике и Восточной Пруссии, затем в пригороде Берлина, где и были освобождены Советской Армией. Окончив школу в Норильске, куда после войны к мужу поехала М. В. Дягилева, а затем Ленинградский педагогический институт им. Герцена, преподавала английский язык в Музыкальном училище при Ленинградской консерватории. Продолжает заниматься преподавательской деятельностью, занимается изысканиями по истории рода Дягилевых. Была замужем за Александром Михайловичем Красовицким. По желанию отца сохранила фамилию Дягилева, перешедшую ее сыну Сергею.

Дягилева Мария Сергеевна (р. 5.XII.1948) (см. № 108) — младшая дочь Сергея Валентиновича и Милицы Владимировны; родилась в Норильске. Получила профессиональное музыкальное образование, закончив Музыкальное училище при Ленинградской консерватории. В 1973 г. вышла замуж за Александра Эдуардовича Ваховского — накануне принятия им сана священника. В настоящее время живет в Тихвине, управляя церковным хором в соборе, где служит о. Александр Ваховский. Имеют четырех детей: Ксению (1974 г. р.), Анастасию (1977 г. р.), Николая (1978 г. р.) и Федора (1983 г. р.).

Дягилев Павел Васильевич (р. 1955) (см. № 111) — сын Василия Валентиновича Дягилева. Закончил музыкальное училище по классу гобоя. Успешно занимается живописью. Женат на Тамаре Александровне Большаковой, имеет четырех детей: Юлию (р. 1981), Дмитрия (р. 1983), Татьяну (р. 1985), Сергея (р. 1990).

Дягилев Сергей Александрович (р. 5.VIII.1967) (см. № 117) — сын Елены Сергеевны Дягилевой; музыкант. Закончил Музыкальное училище при Ленинградской консерватории по классу композиции. Учится в Петербургской консерватории. Женат на Ирине Борисовне Парфеевой, имеет троих сыновей: Александра (р. 18.IV.1991), близнецов Бориса и Глеба (р. 6.VIII.1996).

РОДОСЛОВНАЯ ПАНАЕВЫХ

№ отцов (матерей)

I

1. Панаев Андрей (кон. XVI—первая половина XVII вв.)

II

2. Панаев Петр (1602—?) 1
жена: Веревкина Ольга

III

3. Панаев Иван (1625—?) 2
жена: Буйносова-Ростовская Мария Александровна, княжна

IV

4. Панаев Григорий (1662—?) 3
жена: Строганова Анна

V

5. Панаев Андрей (1695—1717) 4
жена: Кошкина Анна Федоровна

VI

6. Панаев Иван (1717—1796) 5
жена: Синельникова Евдокия Михайловна

VII

	№ отцов (матерей)
7. Панаев Иван (1753—1796)	
жена: Страхова Надежда Васильевна	
(племянница Г. Р. Державина)	6
8. Панаева Елена (1756—17..)	
муж: Черкасов Лев Иванович	

VIII

9. Панаев Николай (1785—?)	
10. Панаев Иван (1787—1839)	
жена: Холдубашева Мария Лукьяновна	
11. Панаев Александр (1788—1868)	7
жена: Лалаева Елена Матвеевна	
12. Панаев Владимир (1792—1859)	
жена: Жмакина Прасковья Александровна	
13. Панаев Петр (1796—?)	

IX

14. Панаев Иван (1812—1862)	10
жена: Брянская (Головачева) Авдотья Яковлевна	
15. Панаев Илиодор (1819—?)	
жена: Риккер Юлия Ивановна	
16. Панаев Аркадий (1821—1889)	
жена: Одинцова Вера Николаевна	
17. Панаев Ипполит (1822—?)	11
18. Панаев Валерьян (1824—1899)	
жена: Мельгунова Софья Михайловна	
19. Панаев Кронид (1830—?)	
жена: Ризенкампф Александра Егоровна	
20. Панаев Александр (1825—1849)	
21. Панаев Николай (1826—?)	
22. Панаев Дмитрий. Умер младенцем	12
23. Панаев Сергей. Умер младенцем	
24. Панаев Петр (1832—1874)	
25. Панаев Павел (1834—?)	13

X

26. Панаев Ахиллес (1862—1919). Скрипач, дирижер	15
жена: Завотская Варвара Васильевна	

	№ отцов (матерей)
27. Панаев Борис (1878—1914) Погиб в Первую мировую войну в Галиции. 28. Панаев Гурий (1880—1914) Погиб в Первую мировую войну в Галиции. 29. Панаев Лев (1882—1915) Погиб в Первую мировую войну в Галиции. 30. Панаев Платон (1884—1918) жена: Георгиевская Елена Борисовна	16
31. Панаев Александр 32. Панаева Ольга муж: Полежаев	17
33. Панаева Елена (1852—1919) Автор мемуаров. муж: Дягилев Павел Павлович (см. «Родословную Дягилевых» № 28) Далее см. «Родословную Дягилевых» 34. Панаева Александра (1853—1942). Певица. муж: Карцов Георгий Павлович 35. Панаева Валентина (1855—1875) муж: Шуленбург Иван Карлович, граф.	18
36. Панаев Кронид (1862—?) 37. Панаев Юрий 38. Панаева Надежда (1867—?) 39. Панаев Николай (1868—?) 40. Панаева Вера (1871—?)	19

XI

41. Панаева Нина (1918—?) муж: Варшавский Константин Маркович	30
42. Панаева Вера муж: Воронец	36
43. Карцова Ольга (1885—?) 44. Карцов Павел (1892—1914) 45. Карцова Татьяна (1894—1942)	34
46. Шуленбург Сергей (1875—?)	35

XII

47. Шуленбург Михаил (1903—?)	46

ПОЯСНЕНИЯ

Родословная Панаевых составлена на основании разысканий Е. В. Дягилева (РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 7, л. 49—51). Н. В. Гербель передает следующее предание о Панаевых: «Панаевы ведут свой род от тех новгородцев, которые, волею грозного Иоанна, исторгнуты были из родного края и поселены в восточных пределах России. Там вместо прежнего прозвания Паналимовых стали они писаться Панаевыми, может быть, потому, говорит предание, что породнились с одним из сподвижников Ермака, есаулом Паном, действовавшим, как известно, на берегах Туры и Тобола» (*Гербель Н. В.* Русские поэты в биографиях и образцах. СПб., 1873. С. 235).

Сведения о роде Панаевых содержатся в книге А. Шульгина «Родословная дворян Панаевых. По официальным и семейным источникам» (СПб., 1894). См. также: *Руммель В. В., Голубцов В. В.* Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1887. Т. 2. С. 242—246; *Бобринский А.* Дворнякские роды, внесенные в общий гербовник всероссийской империи. СПб., 1890. Ч. 2. С. 443. Род Панаевых внесен в XI часть (№ 107) — неизданную — «Общего гербовника дворянских родов всероссийской империи». См.: Указатели к высочайше утвержденным Общему гербовнику дворянских родов всероссийской империи и Гербовнику дворянских родов Царства Польского / Сост. В. Лукомский и С. Тройницкий. СПб., 1910. С. 80.

Панаев Иван Андреевич (1717—1796) (см. № 6) — воевода в Туринске и председатель Верхнего надворного суда Тобольского наместничества.

Панаев Иван Иванович (1753—1796) (см. № 7) — на военной службе числится с 9 ноября 1763 г. Флигель-адъютант, участвовал в польской кампании. Пермский губернский прокурор (1786 г.). Известный масон и писатель. Помещик Лаишевского уезда.

Панаев Александр Иванович (1788—1868) (см. № 11) — воспитывался в Казанском университете, служил в Уланском его императорского высочества великого князя Константина Павловича полку. Участвовал в кампании 1812 г., за сражение под Вязьмой награжден золотой саблей с надписью «За храбрость». Был женат на Елене Матвеевне Лалаевой, погребенной в Валдайском Иверском монастыре.

Панаев Валерьян Александрович (1824—1899) (см. № 18) — инженер путей сообщения. По окончании Корпуса инженеров путей сообщения в чине поручика состоял на службе при Николаевской железной дороге, изучал затем эксплуатацию и организацию подвижного состава железной дороги за границей, строил Грушевскую железную дорогу и один из участков Курско-Киевской (в качестве подрядчика и ответственного перед предпринимателями и правительством инженера). По вопросам экономической политики железных дорог написал несколько брошюр на русском и французском языках, издал книги «Восточный вопрос: Собрание статей. Посвящается воинам нынешней борьбы» (СПб., 1878), «Финансовые и экономические вопросы» (СПб., 1878) и др. Автор «Воспоминаний», публиковавшихся в 1893—1903 гг. в «Русской старине» (см. сноску № 14 главы четвертой II части). Выстроил в Петербурге так называемый «Панаевский театр». В 1858, 1859 и 1861 гг. встречался с А. И. Герценом в Лондоне. Его перу принадлежит изданная А. И. Герценом и Н. П. Огаревым книга «Об освобождении крестьян в России» (Лондон, 1858). Был женат на Софье Михайловне Мельгу-

новой (1830—1912). Имел трех дочерей. См. о В. А. Панаеве: Герцен в воспоминаниях современников / Сост., вступ. статья и коммент. В. А. Путинцева. М., 1956. С. 400—401.

Панаева Елена Валерьяновна (14.X.1852—6.VI.1919) (см. № 33) — дочь В. А. Панаева. Автор записок о роде Дягилевых. Замужем за Павлом Павловичем Дягилевым.

Панаева Александра Валерьяновна (1853—1942) (см. № 34) — дочь В. А. Панаева. Певица, ученица Полины Виардо. Ее слушали Тургенев, Флобер, Золя. П. И. Чайковский посвятил ей семь романсов (опус 47, 1880 г.). Ей посвящено более тридцати стихотворений А. Н. Апухтина. Ценителями ее таланта были братья А. и Н. Рубинштейны, Ф. М. Достоевский, Э. Ф. Направник, А. Мазини, Ф. И. Стравинский. Ее оперная карьера была блестящей, но кратковременной. С громадным успехом она дебютировала в Ницце в операх «Фауст» Шарля Гуно и «Гамлет» Тома. Была первой исполнительницей партии Татьяны («Евгений Онегин» П. И. Чайковского) в любительском спектакле в доме Ю. Ф. Абаза, жены министра. Премьера состоялась 2 марта 1879 г. Присутствовал ограниченный круг лиц, только по приглашению — представители высшего света. С большим успехом пела несколько сезонов за границей, в Москве и в Петербурге; неоднократно выступала при царском дворе; в 1887 г. участвовала в одном концерте вместе с П. И. Чайковским в Петербургском дворянском собрании.

Написала воспоминания о П. И. Чайковском, которые передала в музей его имени в Клину (см.: *Панаева-Карцова А. В.* Воспоминания о П. И. Чайковском // Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1973. С. 140—161). Имела большое влияние на формирование музыкальных вкусов С. П. Дягилева. Благодаря ей состоялись знакомства Сергея Павловича с Ш. Гуно, Э. Золя, А. Мазини, Ф. Таманьо, А. Котоньи, А. Вержбиловичем и др. Занималась вокальной техникой с Сергеем Павловичем.

Вышла замуж за кавалергарда Георгия Павловича Карцова, родственника П. И. Чайковского. Имела троих детей: Ольгу (1885 г.), Татьяну (1894 г.) и Павла (1892—1914), погибшего в Первую мировую войну. В советское время перешла на педагогическую работу, которую вела до самой смерти. Скончалась в блокадном Ленинграде вместе с дочерью Татьяной.

Панаева Валентина Валерьяновна (1855—1875) (см. № 35) — младшая дочь В. А. Панаева. По воспоминаниям всех родственников, отличалась редкой красотой. Умерла в родах, оставив сына Сергея Ивановича Шуленбурга. Замужем была за графом Иваном Карловичем Шуленбургом (1850—1891), поручиком Кавалергардского полка. В 1875 г. И. К. Шуленбург после смерти жены уволился из полка по домашним обстоятельствам. Жил в своем имении в Новгород-Северском уезде; был уездным предводителем дворянства (см. о нем: Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908 / Сост. под ред. С. Панчулидзева. СПб., 1908. С. 276).

РОДОСЛОВНАЯ ЛИТКЕ

		№ отцов (матерей)
I		
1.	Литке Петр Иванович жена: Энгель Анна. Дочь врача Александра I.	
II		
2.	Литке Наталья муж: Сульменев Иван Саввич (см. «Родословную Сульменевых» № 6)	1
3.	Литке Анна муж: Гирс Карл	1
4.	Литке Евгений	1
5.	Литке Елизавета муж: Розен, барон.	1
6.	Литке Федор Граф. Мореплаватель, географ. жена: Браун Юлия	1
III		
7.	Сульменева Анна муж: Дягилев Павел Дмитриевич (см. «Родословную Дягилевых» № 13)	2
8.	Гирс Александр	3
9.	Гирс Николай жена: Кантакузина Ольга Егоровна	3
10.	Гирс Федор	3
11.	Литке Константин жена: Ребиндер Адина	6
12.	Литке Николай жена: Шоберт Амалия	6
IV		
13.	Гирс Александр жена: Левицкая Полина (Прасковья) Сергеевна	8

ПОЯСНЕНИЯ

Литке являются типичными представителями немецких выходцев, находящихся на службе Российской империи. Графское достоинство Ф. П. Литке и его потомству было пожаловано в 1866 г. Александром II. См.: *Бобринский А.* Дворянские роды, внесенные в общий гербовник всероссийской империи. СПб., 1890. Ч. 2. С. 713. Род Литке внесен в XII часть (№ 27) — неизданную — «Общего гербовника дворянских родов всероссийской империи». См.: Указатели к высочайше утвержденным Общему гербовнику дворянских родов всероссийской империи и Гербовнику дворянских родов Царства Польского / Сост. В. Лукомский и С. Тройницкий. СПб., 1910. С. 63.

Литке Федор Петрович (1797—1882) (см. № 6) — граф, русский мореплаватель и географ, адмирал, президент императорской Академии Наук. Участвовал в кругосветном плавании В. М. Головина. Командовал шлюпом «Сенявин» в кругосветной экспедиции, во время которой описал западное побережье Берингова моря и открыл в нем ряд островов. Один из создателей Русского географического общества. В его честь назван ряд географических объектов на Новой Земле, несколько островов, мысов, проливов, течений и т. д. Ф. П. Литке приходится дядей по матери Анне Ивановне Дягилевой (бабушке С. П. Дягилева). В публикуемых воспоминаниях везде называется «дедушка» или «дядюшка Литке». О Ф. П. Литке см.: *Добровольский А. Д.* Плавания Ф. П. Литке. М., 1948; *Алексеев А. И.* Федор Петрович Литке. М., 1970.

Гирс Александр Карлович (1815—1880) (см. № 8) — видный государственный чиновник. Окончил Царскосельский лицей. Служил в Министерстве государственных имуществ и в Министерстве внутренних дел. Участвовал в подготовке и проведении реформы по освобождению крестьян. О А. К. Гирсе см.: Русский биографический словарь. М., 1916. Т. 5: Герберский-Гогенлоэ. С. 230—233; Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1893. Т. 8, кн. 16. С. 760—761.

Гирс Николай Карлович (1820—1895) (см. № 9) — дипломат, министр иностранных дел (1882—1895). Фактически руководил министерством с 1878 г. (со времени болезни канцлера А. М. Горчакова, однокашника по Лицею А. С. Пушкина). О Н. К. Гирсе см.: Советская историческая энциклопедия. М., 1963. Т. 4. С. 454; Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1893. Т. 8, кн. 16. С. 761.

РОДОСЛОВНАЯ СУЛЬМЕНЕВЫХ

		№ отцов (матерей)
	I	
1. Сульменев Степан Дмитриевич		
	II	
2. Сульменев Евстифей		1
	III	
3. Сульменев Филимон		2
	IV	
4. Сульменев Евдоким		3
	V	
5. Сульменев Савва жена: Батаева Екатерина Ильинична		4
	VI	
6. Сульменев Иван (1770—1851) жена: Литке Наталья Петровна (см. «Родословную Литке» № 2) 7. Сульменев Василий 8. Сульменев Алексей		5

VII

	№ отцов (матерей)
9. Сульменева Надежда (1813—1850) муж: Быков	6
10. Сульменева Екатерина (1814—1900)	6
11. Сульменев Николай (1815—1876) В монашестве — Никанор	6
12. Сульменев Петр (1817—1901) жена: Полторацкая Настасья Константиновна	6
13. Сульменева Анна (1818—1888) муж: Дягилев Павел Дмитриевич (см. «Родословную Дягилевых» № 13)	6
14. Сульменева Наталья (1823—1904)	6

VIII

15. Сульменев Петр 12

IX

16. Сульменев Роман 15

X

17. Сульменев Борис 16

ПОЯСНЕНИЯ

Разыскания Е. В. Дягилевой по родословной Сульменевых находятся в Рукописном отделе Института русской литературы (ф. 102, ед. хр. 7, л. 46—48). Как следует из ее материалов, Сульменевы внесены Казанским депутатским собранием в VI-ю часть Дворянской родословной книги. «Существует преданье, что Сульменевы происходят от татарского князя Сулеймана», — писала Е. В. Дягилева (л. 46об.).

Мемуаристка скопировала «Записку» Ивана Саввича Сульменева о своем роде: «Род Сульменевых по гербовнику состоит во втором томе под статьей князей Голицыных. Предок наш значится в числе бояр в подписках грамот, изданных покойным канцлером Румянцевым, на что имелись в роде нашем документы, доказывающие прямое наше происхождение от сих предков, но бывшего <в> 1773 году августа 6-го пожаром в Пронском имении нашем в селе Панкине, происшедшем в самом доме, истребившем все бывшее в оном, как имущество, так и документы, о чем <в то же> время донесено было как в бывшую Пронскую воеводскую канцелярию, так и в Московский правительствующий Сенат. По последующему же высочайшему повелению ее величества блаженной памяти императрицы Екатерины Великой о составлении дворянских родов бывшее Рязанское [1] депутатское собрание, по представле-

[1] Обращают на себя внимание разночтения в материалах Е. В. Дягилевой по поводу названия губернии — Рязанское и Казанское депутатское собрание.

нию родителем моим надворным советником Саввою Евдокимовичем Сульменевым отысканных в долгом имении документов и по известности многим господам депутатам о роде нашем и о владении предками нашими, и показаниям Саввою Евдокимовичем Сульменевым недвижимого имении, состоящего в земле и крестьянах, депутатское собрание выдало ему, Сульменеву, грамоту от 20 февраля 1794 года за № 230-м со внесением рода нашего в 6-ю часть родословной книги» (РО ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 7, л. 47об.—48).

Род Сульменевых внесен в XII часть (№ 60) — неизданную — «Общего гербовника дворянских родов всероссийской империи». См.: Указатели к высочайше утвержденным Общему гербовнику дворянских родов всероссийской империи и Гербовнику дворянских родов Царства Польского / Сост. В. Лукомский и С. Тройницкий. СПб., 1910. С. 100.

Сульменев Иван Саввич (1770—1851) (см. № 6) — вице-адмирал, член морского Генерал-Аудиториата и Совета Государственного Контроля. Жалован орденами св. Георгия IV класса, св. Владимира II степени, большого креста св. Анны I степени, украшенного короной, и Белого орла. Имел знак беспорочной службы за шестьдесят лет, золотую шпагу с надписью «За храбрость», военную медаль 1812 года. Женат на Наталье Петровне Литке, сестре известного мореплавателя-географа. Имел четырнадцать человек детей; доживших до зрелого возраста — шесть человек (четыре дочери и два сына). См. о нем: Энциклопедия военных и морских наук / Сост. под ред. Леера. СПб., 1894. Т. 7, вып. 1. С. 355—356; Общий морской список. СПб., 1890. Ч. 5: Царствование Екатерины II. С—Ѳ. С. 150—152.

Сульменев Николай Иванович (1815—1876) (см. № 11) — сын И. С. Сульменева. Окончил Морской кадетский корпус. В 1840 г. произведен в лейтенанты. В 1845—1846 гг. на корвете «Князь Варшавский» совершил плавание из Кронштадта в Средиземное море. Во время Крымской войны (1853—1856) находился на защите Кронштадта. Уволен со службы 15 октября 1856 г. Постригся в монахи с именем Никанор. См.: Общий морской список. СПб., 1900. Ч. 11: Царствование Николая I. Н—С. С. 650—651.

Сульменев Петр Иванович (1817—1901) (см. № 12) — сын И. С. Сульменева. Окончил Морской кадетский корпус. Плавал в Балтийском море. В 1852 г. — адъютант главного командира Кронштадтского порта. С 1856 г. — начальник второго отделения Гидрографического департамента Морского министерства. В 1867 г. произведен в генерал-майоры. См.: там же. С. 651—652.

РОДОСЛОВНАЯ МЕЛЬГУНОВЫХ И КВАШНИНЫХ-САМАРИНЫХ

I	№ отцов (матерей)

1. Чириков Петр
жена: Олсуфьева Анна Матвеевна

II

2. Чирикова Екатерина 1
муж: Квашнин-Самарин Александр Васильевич
Суворовский генерал.

III

3. Квашнина-Самарина Наталья
муж: Фроловский Иван Петрович
4. Квашнина-Самарина Софья . . . 2
5. Квашнина-Самарина Анна
муж: Мельгунов Михаил Васильевич

(№ 3–5 объединены скобкой: отец № 2)

IV

6. Фроловский Александр 3
жена: Гук Оттилия Ефимовна
(дочь архитектора К. А. Тона)
7. Мельгунова Софья (1830—1912) 5
муж: Панаев Валерьян Александрович
(см. «Родословную Панаевых» № 18)

V

№ отцов (матерей)

8. Фроловский Николай 6
жена: Чернявская Екатерина Николаевна

VI

9. Фроловская Наталья 8
муж: Андреев Федор Константинович

ПОЯСНЕНИЯ

Род Мельгуновых внесен в I часть (№ 65) «Общего гербовника дворянских родов всероссийской империи, начатого в 1797 году» (СПб., <1803>). В гербовнике сказано: «Фамилия Мельгуновых происходит от Яна Минигалева, выехавшего в Россию из Польши, коему по крещении дано имя Иван Мельгунов. Потомки его служили Российскому престолу дворянские службы, и жалованы были от государей в 7105/1597-м и других годах поместьями, а некоторые и знатными чинами и орденами. Все сие доказывается хранящимися в Герольдии копиями с грамот, жалованных от государей Мельгуновым на поместья и родословною сего рода».

Квашнины-Самарины внесены во II часть (№ 39) «Общего гербовника»: «Род Квашниных происходит от выехавшего в 6840/1332 году к великому князю Иоанну Даниловичу Калите из Литвы мужа честна Нестера Рябеца. Внук сего Нестера, Иван Родионович Квашня, имел правнука Степана Родионовича Самару. Потомки их Квашнины-Самарины российскому престолу служили в боярах, стольниками, окольничими и в иных знатных чинах и жалованы были от государей поместьями. Все сие доказывается сверх Бархатной книги родословною Квашниных-Самариных».

Указатель имен [1]

[1] Курсивом выделены страницы, где то или иное имя упоминается в научном аппарате издания (заметка «От редактора», комментарии, родословные таблицы); прямым шрифтом — страницы воспоминаний Е. В. Дягилевой.

Кабинет П. Д. Дягилева. Впоследствии кабинет Е. В. Дягилевой

Спальня П.Д.Дягилева. Впоследствии спальня П. П. и Е. В. Дягилевых

Рабочая комната. Впоследствии детская детей П. П. и Е. В. Дягилевых

Проход

Комната дворецкого. Впоследствии — няни Дуни

Спальня А. И. Дягилевой. Впоследствии кабинет П. П. Дягилева

Уборная А.И.Дягилевой. Впоследствии уборная П.П.Дягилева

Буфет

Лестница вниз

Про-ход

К о р и д о р

Запасная комната. Впоследствии — гувернантки

Гостиная

Тем-ная ком-ната

Столовая

Внутренний дворик

Запасная комната. Впоследствии — классная

Зало

Передняя

К о р и д о р

Продолжение коридора

По — ло — ви — на Ивана Павловича Дягилева

Комната Мити Дягилева

Впоследствии комната С.П. Дягилева

Комната Коли Дягилева. Впоследствии — гувернера

В.К. <Не расшиф-ровано>

План пермского дома. Выполнен тринадцатилетним Валентином Павловичем Дягилевым (Линчиком)

СОДЕРЖАНИЕ

Елена Валерьяновна Дягилева

СЕМЕЙНАЯ ЗАПИСЬ О ДЯГИЛЕВЫХ

Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российской Академии наук

Редактор издательства *Т. Г. Иванова*
Художник *Ю. П. Амбросов*
Технический редактор *Н. Ф. Соколова*
Корректор *С. А. Батюто*
Компьютерная верстка *Л. В. Соловьевой*

ЛР № 061824 от 23.11.92 г.
Сдано в набор 23.06.97. Подписано к печати 3.01.98.
Формат 70 × 90 1/16. Гарнитура Школьная.
Бумага офсетная пл. 80 г/м^2 Санкт-Петербургской
бумажной фабрики Гознак. Печать офсетная. Печ. л. 18.
Уч.-изд. л. 19. Тираж 2000. Зак. № 3384.

Издательство «Дмитрий Буланин»

Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12



